

НФ

СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЫПУСК 34



СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ
ВЫПУСК 34





СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЫПУСК 34

**ИЗДАТЕЛЬСТВО •ЗНАНИЕ•
МОСКВА 1991**

ББК 84
С23

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Э. А. Араб-оглы
И. В. Бестужев-Лада
Е. Л. Войсиунский
Вл. Гаков
Г. М. Гречко
В. П. Демьянов
М. Б. Новиков
Е. И. Парнов

Сборник научной фантастики. Вып. 34 / Сост
С 23 Зарецкая М. А., Чуткова Л. А. — М.: Знание, 1991 —
240 с.

3 руб.

1 000 000 экз

Авторы, чьи произведения составили настоящий сборник, каждый по-своему говорят об одном: какие шаги нужно предпринять, чтобы сохранить нашу планету здоровой. Заботой о судьбе Земли проникнуты произведения К. Булычева, А. и Б. Стругацких, Д. Биленкина. В разделе зарубежной фантастики представлены рассказы М. Коуни, Р. Сяверберга, Б. Эрикеса, Н. Георгнидиса. В разделе «Публицистика» помещена статья Е Парнова «Воспоминания о конце света. Атомный век и уроки прошлого».

Книга рассчитана на широкий круг читателей

С $\frac{4701000000 - 084}{073\{02\} - 91}$ 54 — 90

ББК 84

© Издательство «Знание» 1994 г

От составителей

...стали говорить про то, какой будет скоро материальный прогресс, как — электричество и т. п. И мне жалко их стало, и я им стал говорить, что я жду и мечтаю, и не только мечтаю, но и стараюсь о другом единственно важном прогрессе — не электричества и летания по воздуху, а о прогрессе братства, единения, любви...

Л. Н. Толстой. *Дневник*,
25 апреля 1895 г

Не случайно вынесены эпитафией эти взволнованные, пророческие, идущие из глубины души Л. Н. Толстого слова, записанные им в «Дневнике» более ста лет назад. Под этими словами могли, думаем, подписаться сейчас многие, особенно те, кому видны последствия эпохи НТР, кто страдает от дефицита человечности.

Ученые, писатели предостерегают, просят внять голосу разума и задуматься над тем, что в недалеком будущем вся наша цивилизация может погибнуть. Что нас ожидает? Причин для опасений можно перечислить множество. Но мы коснемся здесь основных: ядерной и экологической катастрофы.

Не только голос Толстого остался «гласом вопиющего в пустыне». Известен манифест Рассела — Эйнштейна, подписанный учеными, участниками Пагуошского движения, тридцать лет назад. Этот документ направлен против использования ядерного оружия и против «логики ядерной эры». В нем прозвучали проникновенные слова: «Мы обращаемся как люди к людям: помните о том, что вы принадлежите к роду человеческого, и забудьте обо всем остальном. Если вы сможете сделать это, перед вами открыт путь в новый рай, если нет, перед вами опасность всеобщей гибели...» Угроза «всеобщей гибели» остается. Слишком много законов природы мы нарушаем... И за это приходится расплачиваться.

Не единожды встречается в печати, в разговорах людей страшное слово «апокалипсис». Недавно даже всплыл из небытия его текст:

«Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод.

Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькие».

(Откровение святого Иоанна Богослова).

Через несколько дней после аварии на Чернобыльской АЭС разнесся слух о связи между текстом Апокалипсиса и названием города («чернобыль» — по-украински полынь), о связи черного ангела с разрушением четвертого энергоблока. А ведь были люди, которые предвидели появление ядерного апокалипсиса и пробовали предотвратить грядущую катастрофу. Мы знаем, какие отписки получали они из Академии наук и к каким последствиям это привело. Ущерб от одного только Чернобыля исчисляется миллиардами рублей. О потерях нравственных, социально-экономических, социально-психологических уже не говорится. Уместно привести здесь обличающие бюрократию слова, сказанные однажды Олегом Гончаром: «Современная наука при ее фантасти-

ческим, не всегда контролируемым и, может, не до конца познанным могуществом не должна быть слишком самонадеянной, не должна пренебрегать мнением общественности... Узковедомственные интересы сплошь и рядом мы ставим выше интересов общества, мнение населения насчет целесообразности ведомственных новостроек никто и никогда не спрашивает, узколобый, обураваемый гигантоманией чиновник талдычит, что «наука требует жертв».

Чернобыльская катастрофа показала ту опасность, которая заключена в энергии разбушевавшегося атома. Можно представить себе, что ожидает земной шар, если будет взорвано все накопленное ядерное оружие...

В один ряд с борьбой против ядерной угрозы все чаще ставятся вопросы экологического выживания. Нужно всерьез задуматься над тем, что мы делаем со здоровьем планеты. Давайте подытожим, где человек из-за своей нерачительной деятельности уже выступил разрушителем (и продолжает выступать).

Итак, известно, что с каждым годом сокращаются площади лесов, растут пустыни, повышается уровень содержания углекислого газа в атмосфере. Биологическое разнообразие видов животных уменьшается. А загрязненность морей приобретает просто катастрофические размеры. Тут еще и химическое загрязнение воздуха и почвы. Какая бесхозяйственность в нашем общем доме! Все, вместе взятые, достижения НТР отнюдь не компенсируют вред, приносимый промышленными отходами и другими нарушениями в среде обитания. Это экологическое неблагополучие властно диктует принятие срочных мер по спасению нашей планеты.

А теперь посмотрим — есть ли какая-то надежда, что человек-разрушитель станет наконец человеком-созидателем?

Ученые многих стран проводят научные дискуссии, совершают совместные экспедиции. Загрязнение окружающей среды не признает национальных границ. «Защитники» природы разных стран объединяют свои усилия, чтобы сообща решать проблему экологической безопасности. Уже создана международная программа наблюдения и оценки переноса на большие расстояния загрязняющих воздух веществ — для этой цели открыты измерительные станции, работают международные центры.

Наверное, нужно призвать ученых к личной ответственности да и просто призвать к совести всех, кто причастен к прогрессу науки и техники.

Пора объединить свои силы и писателям-фантастам, говорящим об огромной опасности того, что может привести к гибели человечества. И не мешало бы прислушаться к их взволнованному голосу, призывающему к единению против угрозы апокалипсиса, к братству и любви.

И конечно, важно, чтобы произведения писателей-фантастов не только показывали ужас возможной катастрофы, но и, главное, говорили бы об «экологии духа», предлагали реальные пути выживания...

Попытка этого сделана в данном сборнике — в произведениях, написанных в разное время, но не утративших свою актуальность.

Сейчас во многих изданиях страны выходит большое количество сборников, посвященных глобальным проблемам современности. Не соперничая ни с одним из таких сборников, мы предлагаем читателям свой вариант литературного предостережения против апокалипсиса.

Центральное произведение сборника, его камертон — повесть А. и Б. Стругацких «Гадкие лебеди», — написана в конце шестидесятых годов. Повесть неоднократно издавалась за рубежом, и только в 1988 го-

ду была напечатана в журнале «Даугава», а в 1989 году вошла в сборник «Хромая судьба» («Орбита», Московский филиал).

Излишне говорить здесь о степени популярности этих авторов. Может, эта популярность происходит и оттого, что Стругацкие всегда находились (и находятся!) как бы в центре главных событий современности и в основном отражали насущные вопросы общественной жизни. Не только отражали, но и преломляли с помощью сатиры разные грани социальной несправедливости. Мы сейчас не будем говорить о всем творчестве Стругацких, а возьмем лишь один период: тот временной отрезок, в который была написана повесть «Гадкие лебеди». Вот как написал в исследовании творчества писателей-фантастов критик М. Амосин в статье «Далеко ли до будущего?»*: «...в середине и конце 60-х годов Стругацкие поднимают вопросы, актуальные и для того времени, но особенно громко резонирующие сегодня, — вопросы демократизации общественной жизни, раскрепощения творческой энергии народа. Они ведут борьбу с самыми различными проявлениями косности, социальной рутины. Они берут «социальный интеграл» конформизма, эгоизма, безответственности, они рассматривают эти явления «под знаком вечности» и обнажают их несовместимость с идеалами коммунизма, с родовыми интересами человечества». В произведении возникает калейдоскоп гротескных ситуаций, обличаются негативные явления нашей тогдашней жизни.

Можно еще и дальше говорить о злободневности и актуальности их прозы, но вы можете спросить: какая же связь их произведения с экологическими проблемами? Самая прямая. Достаточно только прочесть повесть и понять, что новый мир, который пробуют создать инопланетяне, основывается на желании вернуть людям их духовное содержание; они лечат людей, пытаются защитить «экологию духа».

Краткая биографическая справка: Аркадий Натанович Стругацкий родился в 1925 году, а его брат, Борис Натанович, — в 1933 году. А. Стругацкий — японист, работал редактором; Б. Стругацкий — математик, был сотрудником Пулковской обсерватории.

А реальные последствия непродуманного отношения к среде обитания вы найдете в новом рассказе Кира Булычева «Спасите Галю». Может, кто-то по легкомыслию примет этот рассказ лишь за пародию на роман А. и Б. Стругацких «Пикник на обочине». Но нам хочется уверить от этого вывода. Вчитайтесь в текст! О многом важном говорится в этом рассказе. Это рассказ-раздумие, рассказ-предупреждение.

Кир Булычев (Игорь Всеволодович Можейко) родился в Москве в 1934 году. Он историк, работает в Институте востоковедения АН СССР, является членом Географического общества. В научном мире И. В. Можейко известен своими трудами по истории Юго-Восточной Азии, докторская диссертация его была посвящена буддизму. Но большую популярность принесло ему литературное творчество. Фантастические произведения Кир Булычев начал писать с 60-х годов, и героиня его первой повести «Девочка, с которой ничего не случится» сразу же завоевала сердца юных читателей. Рассказы об Алисе смешны, увлекательны, умны.

Более 10 книг Кира Булычева адресованы взрослому читателю. Во многих фантастических произведениях часто сатирически высвечиваются негативные стороны жизни. В 1982 году Киру Булычеву присуждена Государственная премия СССР.

* Невз. — 1988. — № 2. — С. 153—160.

Зарубежная фантастика представлена в сборнике рассказами Майкла Коуни, Бруно Энрикеса, Неархоса Георгиадиса и Роберта Силверберга.

Майкл Коуни родился в Англии в 1932 году, образование получил в Бирмингеме. Свои фантастические произведения начал публиковать в 1971 году. Сейчас он автор 15 романов и многих рассказов.

В 1976 году его роман «Бронтомах» был признан лучшим фантастическим романом года в Великобритании. В настоящее время Майкл Коуни живет в Канаде, продолжает успешно работать, принимал участие в создании Ассоциации писателей-фантастов Британской Колумбии. Это один из самых заметных писателей среди англо-американских фантастов. Сам Майкл Коуни так выражает свое кредо: «Я ставил своей целью создание совершенно иного типа фантастики, фантастики, в которой наука и характер людей сливались бы таким образом, что развязка истории являлась бы результатом развития характеров действующих лиц и их реакции на научные (и более широко — социальные) предположки, а не просто финалом, обусловленным самой научной предположкой».

Кубинский автор Бруно Энрикес родился в 1947 году. По образованию он геофизик, занимается проблемами физики окружающей среды. Он является одним из основателей литературного цеха имени Оскара Уртадо. Рассказы Бруно Энрикеса, а также его научные статьи печатаются во многих кубинских журналах. В 1978 году его книга «Приключение в лаборатории», откуда и взят рассказ «Воскрешение», была отмечена на конкурсе им. Давида. В 1982 году на этом же конкурсе подобного успеха удостоено и его произведение «Точка соприкосновения». Большинство рассказов Бруно Энрикеса посвящены одной теме: нужно помочь людям планеты совместными усилиями сделать Землю здоровой, а человеческие отношения прекрасными.

Критическое осмысление действительности свойственно кипрскому писателю Неархосу Георгиадису. Во многих его произведениях камертоном звучит тревожная мысль о безжалостности современного общества, где истинные чувства подчас испытывают только роботы. Неархос Георгиадис родился в городе Морфу в 1944 году, учился в Афинах, получил диплом юриста. Много сил отдает литературной критике, журналистике и публицистике, издает в Никозии литературно-художественный журнал «Новый», плодотворно работает на телевидении Кипра. Он автор нескольких сборников научно-фантастических рассказов.

Цикл зарубежной фантастики завершает рассказ известного американского писателя-фантаста Роберта Силверберга «Ветер и дождь».

Роберт Силверберг родился в 1935 году в Нью-Йорке, свой первый фантастический рассказ опубликовал в 19 лет, а первый роман — в 21 год. Он автор более 60 фантастических романов, 22 сборников рассказов, редактор 60 антологий. В 1967—1968 годах Р. Силверберг избран президентом Американской ассоциации фантастов. Он лауреат двух премий «Хьюго», пяти премий «Небьюла» и обладатель многих других наград, присуждаемых за высокие достижения в жанре фантастики.

Многие критики считают произведения Роберта Силверберга американской классикой. Советским читателям фантаст знаком по рассказам, опубликованным в периодических изданиях и сборниках.

В разделе «Публицистика» помещена статья Еремея Парнова «Воспоминания о конце света. Атомный век и уроки прошлого».

Можно не представлять Еремея Парнова. Читателям хорошо известны как совместное творчество его с М. Емцевым, так и произведения, написанные без соавторства. Еремей Парнов родился в 1935 году, он кандидат химических наук, в своих произведениях стремится рас-

крыть нерешенные наукой проблемы, придает повествованию политическую остроту, резкую антифашистскую направленность. Е. Парнов является президентом Европейского общества писателей-фантастов (Еврокона).

Мы умышленно не упомянули об одном авторе и о произведении, включенном в сборник, — о рассказе Д. Биленкина «Уик-энд». В светлой миниатюре писатель рисует Землю, лишенную озонового слоя и поэтому пронизываемую ультрафиолетовым излучением. Люди на планете еще живут, но вынуждены прятаться от опасных лучей солнца. (Какое предвидение!) К сожалению, Дмитрий Александрович Биленкин рано ушел из жизни. Он умер в августе 1988 года, прожив всего 55 лет и оставив потомкам сборники своих произведений. Условно идейное содержание их можно было бы охарактеризовать так: «истинны те творческие искания, в результате которых побеждает человеческий разум и доброта».

И прежде чем вы прочтете его рассказ, который автор даже не увидел в напечатанном виде, и услышите призыв: «Остановитесь!» (можно его считать своеобразным завещанием человечеству), послушайте воспоминания о нем его товарища, Кира Булычева. Пусть эти слова будут нашей памятью писателю, который к тому же был постоянным членом редколлегии сборников издательства «Знание».

«Дмитрий Александрович Биленкин...

Все бывало. Он и смеялся, и сердился, и мучился от несправедливости. А в памяти останется его спокойствие, умение владеть собой и талант объективности. Он сидит, поглаживая бороду, среди кипения страстей и споров, а потом, уловив паузу, негромко заговорит. И вдруг понимаешь, что страсти были преувеличенными и споры — разрешимыми.

Как у всякого недюжинного человека, у него были и друзья и враги. Но никто не мог позволить себе неуважения к Дмитрию Биленкину.

Он изменялся, рос, но не изменял себе и людям. Даже своей профессией, избранной еще в школе, он до конца жизни не изменил. Это может показаться парадоксом, потому что формально Биленкин стал профессионалом трижды. Он был по образованию геологом, затем долго работал журналистом, в последние двадцать с лишним лет стал известным писателем. И в то же время это была одна профессия, лишь понимаемая широко. Биленкин стал геологом, потому что хотел понять Землю и, изучая, помогать ей. Он ушел в журналистику, работал в «Комсомольской правде», в «Вокруг света», потому что, оставаясь исследователем и путешественником, хотел донести до других свое понимание нашего мира.

Он стал писать фантастические рассказы, потому что это был еще один, и самый действенный для него, способ говорить о той же Земле, о ее сути и ее судьбе.

Он всегда современен в своих книгах; где бы ни происходило там действие — в дальних галактиках или в далеких временах, он говорил о нашем дне и нашей планете.

Став ученым, потом журналистом, потом писателем, Биленкин остался рус ким просветителем, обращавшимся не только к разуму, но и к совести читателя.

Мало знавшим его он казался замкнутым и молчаливым. На самом деле он был в постоянном общении с людьми — будь то друзья по путешествиям, молодые писатели, которых он опекал, или миллионы читателей во многих странах мира, где изданы его книги, и символично, что последняя повесть, увидевшая свет незадолго до его смерти, называется «Сила сильных».

■ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Аркадий Стругацкий,
Борис Стругацкий

Гадкие лебеди

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда Ирма вышла, аккуратно притворив за собой дверь, худая, длинноногая, по-взрослому вежливо улыбаясь большим ртом с яркими, как у матери, губами, Виктор принялся старательно раскуривать сигарету. «Это никакой не ребенок, — думал он ошеломленно. — Дети так не говорят. Это даже не грубость, это — жестокость, и даже не жестокость, а просто ей все равно. Как будто она нам тут теорему доказала — просчитала все, проанализировала, деловито сообщила результат и удалилась, подрагивая косичками, совершенно спокойная». Превозмогая неловкость, Виктор посмотрел на Лолу. Лицо ее шло красными пятнами, яркие губы дрожали, словно она собиралась заплакать, но она, конечно, и не думала плакать, она была в бешенстве.

— Ты видишь? — сказала она высоким голосом. — Девчонка, соплячка... Дрян! Ничего святого, что ни слово — то оскорбление, будто я не мать, а половая тряпка, о которую можно вытирать ноги. Перед соседями стыдно! Мерзавка, хамка...

«Да, — подумал Виктор, — и с этой женщиной я жил, я гулял с нею в горах, я читал ей Бодлера, и трепетал, когда прикасался к ней, и помнил ее запах... кажется, даже дрался из-за нее. До сих пор не понимаю, что она думала, когда я читал ей Бодлера? Нет, это просто удивительно, что мне удалось от нее удрать. Уму непостижимо, и как это она меня выпустила? Наверное, я тоже был не сахар. Наверное, я и сейчас не сахар, но тогда я пил еще больше, чем сейчас, и к тому же полагал себя большим поэтом».

— Тебе, конечно, не до того, куда там, — говорила Лоло. — Столичная жизнь, всякие балерины, артистки... Я все знаю. Не воображай, что мы здесь ничего не знаем. И деньги твои бешенные, и любовницы, и бесконечные скандалы... Мне это, если хочешь ты знать, безразлично, я тебе не мешала, ты жил, как хотел...

«Вообще ее губит то, что она очень много говорит. В девицах она была тихая, молчаливая, таинственная. Есть такие девицы, которые от рождения знают, как себя вести. Она знала. Вообще-то она и сейчас ничего, когда сидит, выставив колени, или заложит вдруг руки за голову и потянется. На провинциального адвоката это должно действовать чрезвычайно... — Виктор представил себе уютный вечерок: этот

столик придвинут к тому вон дивану, бутылка, шампанское шипит в фужерах и сам адвокат, запакованный в крахмал, галстук бабочкой. Все, как у людей, и вдруг входит Ирма... — Кошмар, — подумал Виктор. — Да она несчастная женщина...»

— Ты сам должен понимать, — говорила Лола, — что дело не в деньгах, что не деньги сейчас все решают. — Она уже успокоилась, красные пятна пропали. — Я знаю, ты по-своему честный человек, взбалмошный, разболтанный, но не злой. Ты всегда помогал нам, и в этом отношении никаких претензий я к тебе не имею. Но теперь мне нужна не такая помощь... Счастливой назвать я себя не могу, но и несчастной тебе тоже не удалось меня сделать. У тебя своя жизнь, а у меня — своя. Я, между прочим, еще не старуха, у меня еще многое впереди...

«Девочку придется забрать, — подумал Виктор. — Она уже все, как видно, решила. Если оставить Ирму здесь, в доме начнется ад крошечный... Хорошо, а куда я ее дену? Давай-ка честно, — предложил он себе. — Только честно. Здесь надо честно, это не игрушки... — Он очень честно вспомнил свою жизнь в столице. — Плохо, — подумал он. — Можно, конечно, взять экономку. Значит, снять постоянную квартиру... Да не в этом же дело: девочка должна быть со мной, а не с экономкой... Говорят, дети, которых воспитали отцы, — это самые лучшие дети. И потом она мне нравится, хотя она очень странная девочка. И вообще я должен. Как честный человек, как отец. И я виноват перед нею. Но это все литература. А если все-таки честно? Если честно — боюсь. Потому что она будет стоять передо мной, по-взрослому улыбаясь большим ртом, и что я ей сумею сказать? Читай, больше читай, каждый день читай, ничем тебе больше не нужно заниматься, только читай. Она это и без меня знает, а мне и сказать ей нечего. Поэтому и боюсь... Но и это еще не совсем честно. Не хочется мне, вот в чем дело. Я привык один. Я люблю один. Я не хочу по-другому... Вот как это выглядит, если честно. Отвратительно выглядит, как и всякая правда. Цинично выглядит, себялюбиво, гнусненько. Честно».

— Что же ты молчишь? — спросила Лола. — Ты так и собираешься молчать?

— Нет-нет, я слушаю тебя, — поспешно сказал Виктор.

— Что ты слушаешь? Я уже полчаса жду, когда ты соизволишь отреагировать. Это же не только мой ребенок, в конце концов...

«А с нею тоже надо честно, — подумал Виктор. — Вот уж с нею мне совсем не хочется честно. Она, кажется, вообразила себе, что такой вопрос я могу решить тут же, не сходя с места, между двумя сигаретами».

— Пойми, — сказала Лола, — я ведь не говорю, чтобы ты взял ее на себя. Я же знаю, что ты не возьмешь, и слава богу, что не возьмешь, ты ни на что такое не годен. Но у тебя же есть связи, знакомства, ты все-

таки довольно известный человек — помоги ее устроить! Есть же у нас какие-то привилегированные учебные заведения, пансионы, специальные школы. Она ведь способная девочка, у нее к языкам способности, и к математике, и к музыке...

— Пансион,— сказал Виктор. — Да, конечно... Пансион. Сиротский приют...Нет-нет, я шучу. Об этом стоит подумать.

— А что тут особенно думать? Любой был бы рад устроить своего ребенка в хороший пансион или в специальную школу. Жена нашего директора...

— Слушай, Лола,— сказал Виктор,— это хорошая мысль, я попытаюсь что-нибудь сделать. Но это не так просто, на это нужно время. Я, конечно, напишу...

— Напишу! Ты весь в этом. Не писать надо, а ехать, лично просить, пороги обивать! Ты же все равно здесь бездельничаешь! Все равно только пьянствуешь и путаешься с девками. Неужели так трудно для родной дочери...

«О черт,— подумал Виктор,— так ей все и объясни». Он снова закурил, поднялся и прошелся по комнате. За окном темнело, и по-прежнему лил дождь, крупный, тяжелый, неторопливый — дождь, которого было очень много и который явно никуда не торопился.

— Ах, как ты мне надоел! — сказала Лола с неожиданной злостью. — Если бы ты знал, как ты мне надоел...

«Пора идти,— подумал Виктор. — Начинается священный материнский гнев, ярость покинутой и все такое прочее. Все равно ничего я сегодня ей не отвечу. И ничего не стану обещать».

— Ни в чем на тебя нельзя положиться,— продолжала она. — Негодный муж, бездарный отец... модный писатель, видите ли! Дочь родную воспитать не сумел... Да любой мужик понимает в людях больше, чем ты! Ну что мне теперь делать? От тебя же никакого проку. Я одна из сил выбиваюсь, не могу ничего. Я для нее нуль, для нее любой мокрец в сто раз важнее, чем я. Ну ничего, ты еще спохватишься! Ты ее не учишь, так они ее научат! Дождешься еще, что она тебе будет в рожу плевать, как мне...

— Брось, Лола,— сказал Виктор, морщась. — Ты все-таки, знаешь, как-то... Я отец, это верно, но ты же мать... Все у тебя кругом виноваты...

— Убирайся! — сказала она.

— Ну вот что,— сказал Виктор,— ссориться с тобой я не намерен. Решать с бухты-барахты я тоже ничего не намерен. Буду думать. А ты...

Теперь она стояла, выпрямившись, и прямо-таки дрожала, предвкушая упрек, готовая с наслаждением кинуться в свару.

— А ты,— спокойно сказал он,— постарайся не нервничать. Что-нибудь придумаем. Я тебе позвоню.

Он вышел в прихожую и натянул плащ. Плащ был еще мокрый. Виктор заглянул в комнату Ирмы, чтобы попрощаться, но Ирмы не

было. Окно было раскрыто настежь, о подоконник хлестал дождь. На стене красовался транспарант с надписью большими красивыми буквами: «Прошу никогда не закрывать окно». Транспарант был мятый, с надрывами и темными пятнами, словно его неоднократно срывали и топтали ногами. Виктор прикрыл дверь.

— До свидания, Лола,— сказал он.

Лола не ответила.

На улице было уже совсем темно. Дождь застучал по плечам, по капюшону. Виктор ссутулился и сунул руки поглубже в карманы. «Вот в этом скверике мы в первый раз поцеловались,— думал он. — А вот этого дома тогда еще не было, а был пустырь, а за пустырем — свалка, там мы охотились с рогатками на кошек. В городе была чертова уйма кошек, а сейчас я что-то ни одной не видел... И ни черта мы тогда не читали, а вот у Ирмы полная комната книг. Что такое была в мое время двенадцатилетняя девочка? Конопатое хихикающее существо, бантики, куклы, картинки с зайчиками и Белоснежками, всегда парочками-троечками: шу-шу-шу, кульки с ирисками, испорченные зубы. Чистюли, ябеды, а самые лучшие из них — точно такие же, как мы: коленки в ссадинах, дикие рысьи глаза и пристрастие к подножкам... Времена новые наконец наступили, что ли? Нет,— подумал он. — Это не времена. То есть и времена, конечно, тоже... А может быть, она у меня вундеркинд? Случаются же вундеркинды. Я — отец вундеркинда. Почетно, но хлопотно, и не столько почетно, сколько хлопотно, да в конце концов и не почетно вовсе... А вот эту улочку я всегда любил, потому что она самая узкая. Так, а вот и драка. Правильно, у нас без этого нельзя, мы без этого никак не можем. Это у нас испокон веков. И двое на одного...»

На углу стоял фонарь. У границы освещенного пространства мокнул автомобиль с брезентовъ ч верхом, а рядом с автомобилем двое в блестящих плащах пригибали к местовой третьего — в черном и мокром. Все трое с натугой и неуклюже топтались по булыжнику. Виктор приостановился, затем подошел поближе. Непонятно было, что тут, собственно, происходит. На драку не похоже: никто никого не бьет. На возню от избытка молодых сил не похоже тем более — не слышно азартного гиканья и жеребьячьего ржания... Третий в черном вдруг вырвался, упал на спину, и двое в плащах сейчас же повалились на него. Тут Виктор заметил, что дверцы машины распахнуты, и подумал, что этого черного либо недавно вытащили оттуда, либо пытаются туда запихнуть. Он подошел вплотную и рывкнул:

— Отставить!

Двое в плащах разом обернулись и несколько мгновений смотрели на Виктора из-под надвинутых капюшонов. Виктор заметил только, что они молодые и что рты у них разинуты от напряжения. Затем они с невероятной быстротой нырнули в автомобиль, стукнули дверцы,

машина взревела и умчалась в темноту. Человек в черном медленно поднялся, и, разглядев его, Виктор отступил на шаг. Это был больной из лепрозория — «мокрец», или «очкарик», как их звали за желтые круги вокруг глаз, — в плотной черной повязке, закрывающей нижнюю половину лица. Он мучительно тяжело дышал, страдальчески задрал остатки бровей. По лысой голове стекала вода:

— Что случилось? — спросил Виктор.

Очкарик смотрел не на него, а мимо, глаза его выкатились. Виктор хотел обернуться, но тут его с хрустом ударило в затылок, и когда он очнулся, то обнаружил, что лежит лицом вверх под водосточной трубой. Вода хлестала ему в рот, она была тепловатая и ржавая на вкус. Отплевываясь и кашляя, он отодвинулся и сел, прислонившись спиной к кирпичной стене. Вода, набравшаяся в капюшон, полилась за воротник и поползла по телу. В голове гудели и звенели колокола, трубили трубы и били барабаны. Сквозь этот шум Виктор разглядел перед собою худое темное лицо. «Знакомое. Где-то я его видел... Еще до того, как у меня лязгнули челюсти...» Он подвигал языком, пошевелил челюстью. Зубы были в порядке. Мальчик набрал под трубой пригоршню воды и плеснул ему в глаза.

— Милый, — сказал Виктор, — хватит.

— Мне показалось, что вы еще не очнулись, — сказал мальчик серьезно.

Виктор осторожно засунул руку под капюшон и ощупал затылок. Там была шишка — ничего страшного, никаких раздробленных костей, даже крови не было.

— Кто же это меня? — задумчиво спросил он. — Надеюсь, не ты?

— Вы сами сможете идти, господин Банев? — спросил мальчик. — Или позвать кого-нибудь? Видите ли, для меня вы слишком тяжелый. Виктор вспомнил, кто это.

— Я тебя знаю, — сказал он, — ты Бол-Кунац, приятель моей дочки.

— Да, — сказал мальчик.

— Вот и хорошо. Не надо никого звать и не надо никому говорить.

А давай-ка немножко посидим и опомнимся.

Теперь он разглядел, что с Бол-Кунацем тоже не все в порядке. На щеке у него темнела свежая ссадина, а верхняя губа припухла и кровоточила.

— Я все-таки кого-нибудь позову, — сказал Бол-Кунац.

— Стоит ли?

— Видите ли, господин Банев, мне не нравится, как у вас дергается лицо.

— В самом деле? — Виктор ощупал лицо. Лицо не дергалось. — Это тебе только кажется... Так. А теперь мы встанем. Что для этого необходимо? Для этого необходимо подтянуть под себя ноги... — Он подтянул под себя ноги, и ноги показались ему не совсем своими. —

Затем, слегка оттолкнувшись от стены, перенести центр тяжести таким образом... — Ему никак не удавалось перенести центр тяжести что-то мешало. «Чем же это меня? — подумал он. — Да ведь как ловко...»

— Вы наступили себе на плащ, — сообщил мальчик, но Виктор уже сам разобрался со своими руками и ногами, со своим плащом и оркестром под черепом.

Он встал. Сначала пришлось придерживать за стенку, но потом дело пошло лучше.

— Ага, — сказал он, — значит, ты меня тащил оттуда до этой трубы. Спасибо.

Фонарь стоял на месте, но не было ни машины, ни очкарика. Никого не было. Только маленький Бол-Кунац осторожно гладил свою ссадину мокрой ладонью.

— Куда же они все делись? — спросил Виктор.

Мальчик не ответил.

— Я тут один лежал? — спросил Виктор. — Вокруг никого больше не было?

— Давайте я вас провожу, — ответил Бол-Кунац — куда вам лучше идти? Домой?

— Погоди, — сказал Виктор. — Ты видел, как они хотели схватить очкарика?

— Я видел, как вас ударили, — сказал Бол-Кунац.

— Кто?

— Я не разглядел. Он стоял спиной.

— А ты где был?

— Видите ли, я лежал тут, за углом...

— Ничего не понимаю, — сказал Виктор, — или у меня с головой что-то... Почему ты, собственно, лежал за углом? Где ты живешь?

— Видите ли, я лежал, потому что меня ударили еще раньше. Не тот, который ударил вас, а другой.

— Очкарик?

Они медленно шли, стараясь держаться мостовой, чтобы на них не лило с крыши.

— Нет, — ответил Бол-Кунац, подумав. — По-моему, они все были без очков.

— О господи, — сказал Виктор. Он полез рукой под капюшон и пощупал шишку. — Я говорю о прокаженном, их называют очкариками. Ну знаешь, из лепрозория? Мокрецы...

— Не знаю, — сдержанно произнес Бол-Кунац. — По-моему, они все были вполне здоровы.

— Ну-ну! — сказал Виктор. Он ощутил некоторое беспокойство и даже остановился. — Ты что же, хочешь меня уверить, что там не было прокаженного? С черной повязкой, весь в черном...

— Это никакой не прокаженный! — с неожиданной запальчивостью сказал Бол-Кунац. — Он поздоровее вас...

Впервые в этом мальчике обнаружилось что-то мальчишеское и сейчас же исчезло.

— Я не совсем понимаю, куда мы идем, — помолчав, сказал он прежним серьезным до бесстрастности тоном. — Сначала мне показалось, что вы направляетесь домой, но теперь я вижу, что мы идем в противоположную сторону.

Виктор все стоял, глядя на него сверху вниз. «Два сапога — пара, — подумал он. — Все просчитал, проанализировал и деловито решил не сообщать результата. Так он мне и не расскажет, что здесь было. Интересно, почему? Неужели уголовщина? Нет, не похоже. Или все-таки уголовщина? Новые, знаете ли, времена... Чепуха, знаю я нынешних уголовников...»

— Все правильно, — сказал он и двинулся дальше. — Мы идем в гостиницу, я там живу.

Мальчик, прямой, строгий и мокрый, шагал рядом. Преодолев некоторую нерешительность, Виктор положил руку ему на плечо. Ничего особенного не произошло — мальчик стерпел. Впрочем, он, вероятно, просто решил, что его плечо понадобилось в утилитарных целях, как подпорка для травмированного.

— Должен тебе сказать, — самым доверительным тоном сообщил Виктор, — что у вас с Ирмой очень странная манера разговаривать. Мы в детстве говорили не так.

— Правда? — вежливо спросил Бол-Кунац. — И как же вы говорили?

— Ну, например, этот твой вопрос у нас звучал бы так: «Чиво?» Бол-Кунац пожал плечами:

— Вы хотите сказать, что это было бы лучше?

— Упаси бог! Я хочу только сказать, что это было бы естественнее.

— Именно то, что наиболее естественно, — заметил Бол-Кунац, — менее всего подходит человеку.

Виктор ощутил какой-то холод внутри. Какое-то беспокойство. Или даже страх. Словно в лицо ему расхохоталась кошка.

— Естественное всегда примитивно, — продолжал между тем Бол-Кунац. — А человек — существо сложное, естественность ему не идет. Вы меня понимаете, господин Банев?

— Да, — сказал Виктор. — Конечно.

Было нечто удивительно фальшивое в том, как отечески он держал руку на плече этого мальчика, который не мальчик. У него даже заныло в локте. Он осторожно убрал руку и сунул в карман.

— Сколько тебе лет? — спросил он.

— Четырнадцать, — рассеянно ответил Бол-Кунац.

— А-а...

Любой мальчик на месте Бол-Кунаца непременно заинтересовался бы этим раздражающе-неопределенным «а-а», но Бол-Кунац был не из любых мальчиков. Его не занимали интригующие междометия. Он размышлял над соотношением естественного и примитивного в природе и обществе. Он жалел, что ему попался такой неинтеллигентный собеседник, да еще ударенный по голове...

Они вышли на Проспект Президента. Здесь было много фонарей, и попадались прохожие, торопливые, согнутые многодневным дождем мужчины и женщины. Здесь были освещенные витрины и озаренный неоновым светом вход в кинотеатр, где под навесом толпились очень одинаковые молодые люди неопределенного пола в блестящих плащах до пят. И над всем этим сквозь дождь сияли золотые и синие заклинания: «Президент — отец народа», «Легионер Свободы — верный сын Президента», «Армия — наша грозная слава»...

Они по инерции шли по мостовой, и проехавший автомобиль, рывкнув сигналом, загнал их на тротуар и окатил грязной водой.

— А я думал, тебе лет восемьдесят, — сказал Виктор.

— Чиво-чиво? — противным голосом спросил Бол-Кунац, и Виктор облегченно засмеялся. Все-таки это был мальчик, обыкновенный нормальный вундеркинд, начитавшийся Гейбора, Зурзмансора, Фромма и, может быть, даже осиливший Шпенглера.

— У меня в детстве был приятель, — сказал Виктор, — который затеял прочитать Гегеля в подлиннике и прочитал-таки, но сделался шизофреником. Ты в свои годы, безусловно, знаешь, что такое шизофреник.

— Да, знаю, — сказал Бол-Кунац.

— И ты не боишься?

— Нет.

Они подошли к отелю, и Виктор предложил:

— Может быть, зайдешь ко мне, обсохнешь?

— Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти. Во-первых, я должен вам еще кое-что сказать, а во-вторых, мне надо поговорить по телефону. Вы разрешите?

Виктор разрешил. Они прошли сквозь вращающуюся дверь мимо швейцара, снявшего перед Виктором фуражку, мимо богатых статуй с электрическими свечами в совершенно пустой вестибюль, пропитанный ресторанными запахами, и Виктор ощутил привычный подъем в предвкушении наступающего вечера, когда можно будет пить и безответственно болтать и отодвинуть локтем на завтра то, что раздражающе насадало сегодня; в предвкушении Юла Голема и доктора Р. Квадриги, и, может быть, еще с кем-нибудь познакомлюсь, и, может быть, что-нибудь случится — драка или сюжет вдруг заиграет, — и закажу-ка я сегодня миноги, и пусть все будет хорошо, а последним автобусом поеду к Диане.

Пока Виктор брал ключи у портье, за его спиной происходил разговор. Бол-Кунац разговаривал со швейцаром. «Ты зачем сюда вперся?» — шипел швейцар. «У меня разговор с господином Баневым». — «Я тебе покажу разговор с господином Баневым», — шипел швейцар. — «Шляешься по ресторанам...» — «У меня разговор с господином Баневым», — повторял Бол-Кунац, — ресторан меня не интересует». — «Еще бы тебя, щенка, ресторан интересовал... Вот я тебя отсюда вышвырну...» Виктор взял ключ и обернулся.

— Э... — сказал он. Он опять забыл имя швейцара. — Парнишка со мной, все в порядке.

Швейцар ничего не ответил, лицо у него было недовольное.

Они поднялись в номер. Виктор с наслаждением сбросил плащ и наклонился, чтобы расшнуровать сырые ботинки. Кровь прилила к голове, и он ощутил изнутри болезненные редкие толчки в то место, где был желвак, тяжелый и круглый, как свинцовая лепешка. Он сразу выпрямился и, придерживаясь за косяк, стал сдирать ботинок, упершись в задник носком другой ноги. Бол-Кунац стоял рядом, с него капало.

— Раздевайся, — сказал Виктор. — Повесь все на радиатор, сейчас я дам полотенце.

— Разрешите, я позвоню, — сказал Бол-Кунац, не двигаясь с места.

— Валяй. — Виктор содрал второй ботинок и в мокрых носках ушел в ванную. Раздеваясь, он слышал, как мальчик негромко разговаривает, спокойно и неразборчиво. Только однажды он отчетливо и громко произнес: «Не знаю». Виктор оберся полотенцем, накинул халат и, достав чистую купальную простыню, вышел в комнату.

— Вот тебе, — сказал он и тут же увидел, что это ни к чему. Бол-Кунац по-прежнему стоял у дверей, и с него по-прежнему капало.

— Благодарю вас, — сказал он, — видите ли, мне надо идти. Я хотел бы еще только...

— Простудишься, — сказал Виктор.

— Нет, не беспокойтесь, благодарю вас. Я не простужусь. Я хотел бы еще только выяснить с вами один вопрос. Ирма вам ничего не говорила?

Виктор бросил простыню на диван, присел на корточки перед баром и вытащил бутылку и стакан.

— Ирма мне много чего говорила, — ответил он довольно мрачно. Он налил в стакан на палец джину и долил немного воды.

— Она не передавала вам наше приглашение?

— Нет. Приглашений она мне не передавала. На, выпей.

— Благодарю вас, не нужно. Раз она не передавала, то передам я. Мы хотели бы встретиться с вами, господин Банев.

— Кто это — мы?

— Гимназисты. Видите ли, мы читали ваши книги и хотели бы задать вам несколько вопросов.

— Гм,— сказал Виктор с сомнением. — Ты уверен, что это будет интересно всем?

— Я думаю — да.

— Все-таки я пишу не для гимназистов,— напомнил Виктор.

— Это неважно,— сказал Бол-Кунац с мягкой настойчивостью. — Вы согласились бы?

Виктор задумчиво покрутил в стакане прозрачную смесь.

— Может быть, все-таки выпьешь? — спросил он. — Лучшее средство от простуды. Нет? Ну тогда выпью я. — Он осушил стакан. — Хорошо, я согласен. Только никаких афиш, объявлений и прочего. Узкий круг. Вы и я... Когда?

— Когда вам будет удобно. Лучше бы на этой неделе. Утром.

— Скажем, через два дня. Только не очень рано. Скажем, в пятницу в одиннадцать. Это подойдет?

— Да. В пятницу в одиннадцать. В гимназии. Вам напомнить?

— Обязательно,— сказал Виктор. — О раутах, суарэ и банкетах, а также о митингах, встречах и совещаниях я всегда стараюсь забыть.

— Хорошо, я напомним,— сказал Бол-Кунац. — А теперь я с вашего разрешения пойду. До свидания, господин Банев.

— Постой, я тебя провожу,— сказал Виктор. — Как бы тебя этот... швейцар не обидел. Что-то он сегодня не в духе, а швейцары знаешь какой народ...

— Благодарю вас, не беспокойтесь,— возразил Бол-Кунац. — Это мой отец.

И он вышел. Виктор налил себе еще на палец джину и повалился в кресло. «Так,— подумал он. — Бедный швейцар. Как же его зовут? Неудобно даже, все-таки мы с ним товарищи по несчастью, коллеги. Надо будет с ним поговорить, обменяться опытом. Он, наверное, опытнее... Какая, однако, концентрация вундеркиндов в моем родном промозглом городишке. Может быть, это от повышенной влажности... — Он откинул голову и сморщился от боли. — Вот гад, чем это он меня все-таки? — Он ощупал желвак. — Похоже на резиновую дубинку. Впрочем, откуда мне знать, как это бывает от резиновой дубинки? Как бывает от современного стула в «Жареном Пегасе» — это я знаю. Как бывает от автоматного приклада или, например, от рукоятки пистолета — я тоже знаю. От бутылки из-под шампанского и от бутылки с шампанским... Надо будет спросить Голема... Вообще странная какая-то история, хорошо бы в ней разобраться...» И он стал разбираться в этой истории, чтобы отогнать всплывшую вторым планом мысль об Ирме, о необходимости от чего-то отказываться и как-то себя ограничивать или куда-то кому-то писать, кого-то просить... «Извини, что беспокою тебя, старина, но тут у меня объявилась дочка двенадцати с лишним

лет, очень славная девочка, но мать у нее дура и отец тоже дурак, так вот надобно ее пристроить куда-нибудь подальше от глупых людей...» «Не хочу я сегодня об этом думать, завтра подумаю. — Он посмотрел на часы. — Хватит думать вообще. Хватит»

Он поднялся и стал одеваться перед зеркалом. «Брюхо растет, вот дьявол, и откуда бы у меня быть брюху? Такой всегда был сухощавый, жилистый человек... Даже и не брюхо, собственно, — благородное трудовое чрево от размеренной жизни и хорошей пищи, — а так, брюшко какое-то паршивенькое, оппозиционерский животик. У господина Президента небось не такой. У господина Президента небось благородный, обтянутый черным лоснящийся дирижабль...» Повязывая галстук, он подвинул лицо к зеркалу и вдруг подумал, как выглядело это уверенное крепкое лицо, столь обожаемое женщинами известного сорта, некрасивое, но мужественное лицо бойца с квадратным подбородком, как оно выглядело к концу исторической встречи. «Лицо господина Президента, тоже не лишнее мужественности и элементов прямоугольности, к концу исторической встречи напоминало, прямо скажем, между нами, кабанье рыло. Господин Президент изволили взвинтить себя до последней степени, из клыкастой пасти летели брызги, и я достал платок и демонстративно вытер себе щеку, и это был, наверное, самый смелый поступок в моей жизни, если не считать того случая, когда я дрался с тремя танками сразу. Но как я дрался с танками, я не помню, знаю только по рассказам очевидцев, а вот платочек я вынул сознательно и соображал, на что иду... В газетах об этом не писали. В газетах честно и мужественно, с суровой прямоотой сообщили, что «беллетрист В. Банев искренне поблагодарил господина Президента за все замечания и разъяснения, сделанные в ходе беседы»

Странно, как хорошо я все это помню. — Он обнаружил, что у него побелели щеки и кончик носа. — Вот таким я и был тогда, на такого орать сам бог велел. Он ведь не знал, бедняга, что это я не от страха, что бледнею я от злости, как Людовик Четырнадцатый... Только не будем махать кулаками после драки. Какая разница, от чего я там у него бледнел... Ладно, не будем. Но для того чтобы успокоиться, для того чтобы привести себя в порядок перед появлением на люди, чтобы вернуть нормальный цвет некрасивому, но мужественному лицу, я должен отметить, я должен напомнить вам, господин Банев, что, если бы вы не продемонстрировали господину Президенту свой платочек, вы бы благополучнейшим образом обретались сейчас в нашей славной столице, а не в этой мокрой дыре...»

Виктор залпом допил джин и спустился в ресторан.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Может быть, конечно, и хулиганы,— сказал Виктор. — Только в мое время никакой хулиган не стал бы связываться с очкариком. Запустить в него камнем — это еще туда-сюда, но хватать, тащить и вообще прикасаться... Мы их все боялись, как заразы.

— Я же говорю вам: это генетическая болезнь,— сказал Голем. — Они абсолютно не заразные.

— Как не заразные,— возразил Виктор,— когда от них бородавки, как от жаб! Это же все знают.

— От жаб не бывает бородавок,— благодушно сказал Голем. — От мокрецов тоже. Стыдно, господин писатель. Впрочем, писатели — народ серый.

— Как и всякий народ. Народ сер, но мудр. И если народ утверждает, что от жаб и очкариков бывают бородавки...

— А вот приближается мой инспектор,— сказал Голем.

Подошел Павор в мокром плаще, прямо с улицы.

— Добрый вечер,— сказал он. — Весь промок, хочу выпить.

— Опять от него тиной воняет,— с негодованием произнес доктор Р. Квадрига, пробудившись от алкогольного транса. — Вечно от него воняет тиной. Как в пруду. Ряска.

— Что вы пьете? — спросил Павор.

— Кто — мы? — осведомился Голем. — Я, например, как всегда, пью коньяк. Виктор пьет джин. А доктор — все по очереди.

— Срам! — с негодованием сказал доктор Р. Квадрига. — Чешуя! И головы.

— Двойной коньяк! — крикнул Павор официанту.

Лицо у него было мокрое от дождя, густые волосы слиплись, и от висков по бритым щекам стекали блестящие струйки. «Тоже твердое лицо, многие, наверное, завидуют. Откуда у санитарного инспектора такое лицо? Твердое лицо — это: сыплет дождь, прожектора, тени на мокрых вагонах мечутся, ломаются... все черное и блестящее, только черное и только блестящее, и никаких разговоров, никакой болтовни, только команды, и все повинуются... не обязательно вагоны, может быть, самолеты, аэродром, и потом никто не знает, где он был и откуда пришел... девочки падают навзничь, а мужчинам хочется сделать что-нибудь мужественное — например, расправить плечи и втянуть брюхо. Вот Голему не мешало бы втянуть брюхо, только вряд ли, куда он его втянет, там у него все занято. Доктор Р. Квадрига — да, но зато ему не расправить плечи, вот уже много дней и навсегда он согбен. Вечерами он согбен над столом, по утрам — над тазиком, а днем — от больной печени. И значит, только я здесь способен втянуть брюхо и расправить плечи, но я лучше мужественно хлопну стаканчик джину».

— Нимфоман,— грустно сказал Павору доктор Р. Квадрига,— Русалкоман. И водоросли.

— Заткнитесь, доктор,— сказал Павор. Он вытирал лицо бумажными салфетками, комкал их и бросал на пол. Потом он стал вытирать руки.

— С кем это вы подрались? — спросил Виктор.

— Изнасилован мокрецом,— произнес доктор Р. Квадрига, мучительно стараясь развести по местам глаза, которые съехались у него к переносице.

— Пока ни с кем,— ответил Павор и пристально посмотрел на доктора, но Р. Квадрига этого не заметил.

Официант принес рюмку. Павор медленно выцедил коньяк и поднялся.

— Пойду-ка я умоюсь,— сказал он ровным голосом,— за городом грязь, весь в дерьме. — И он ушел, задевая по дороге стулья.

— Что-то происходит с моим инспектором,— произнес Голем. Он щелчком сбросил со стола мятую салфетку. — Что-то мировых масштабов. Вы случайно не знаете, что именно?

— Вам лучше знать,— сказал Виктор. — Он инспектирует вас, а не меня. И потом, вы ведь все знаете. Кстати, Голем, откуда вы все знаете?

— Никто ничего не знает,— возразил Голем.— Некоторые догадываются. Очень немногие — кому хочется. Но нельзя спросить: откуда они догадываются? Это насилие над языком. Куда идет дождь? Чем встает солнце? Вы бы простили Шекспиру, если бы он написал что-нибудь в этом роде? Впрочем, Шекспиру вы бы простили. Шекспиру мы многое прощаем, не то что Баневу... Слушайте, господин беллетрист, у меня есть идея. Я выпью коньяку, а вы покончите с этим джином. Или вы уже готовы?

— Голем,— сказал Виктор,— вы знаете, что я — железный человек?

— Я догадываюсь.

— А что из этого следует?

— Что вы боитесь заржаветь.

— Предположим,— сказал Виктор. — Но я имею в виду не это. Я имею в виду, что могу пить много и долго, не теряя нравственного равновесия.

— Ах вот в чем дело,— сказал Голем, наливая себе из графинчика. — Ну хорошо, мы еще вернемся к этой теме.

— Я не помню,— сказал вдруг ясным голосом доктор Р. Квадрига. — Я вам представлялся или нет, господа? Честь имею: Рем Квадрига, живописец, доктор гонорис кауза, почетный член... Тебя я помню,— сказал он Виктору. — Мы с тобой учились и еще что-то... А вот вы, простите...

— Меня зовут Юл Голем,— небрежно сказал Голем.

— Очень рад. Скульптор?

— Нет. Врач.

— Хирург?

— Я главный врач лепрозория,— терпеливо объяснил Голем.

— Ах да! — сказал доктор Р. Квадрига, по-лошадиному мотая головой. — Конечно. Простите меня, Юл... Только почему вы скрываете? Какой вы там врач? Вы же разводите мокрецов... Я вас представляю. Такие люди нам нужны... Простите,— сказал он неожиданно. — Я сейчас.

Он выбрался из кресла и устремился к выходу, блуждая между пустыми столиками. К нему подскочил официант, и доктор Р. Квадрига обнял его за шею.

— Это все дожди,— сказал Голем. — Мы дышим водой. Но мы не рыбы, мы либо умрем, либо уйдем отсюда. — Он серьезно и печально глядел на Виктора. — А дождь будет падать на пустой город, размывать мостовые, сочиться сквозь крыши, сквозь гнилые крыши... потом смоем все, растворит город в первобытной земле, но не остановится, а будет падать и падать...

— Апокалипсис,— проговорил Виктор, чтобы что-нибудь сказать.

— Да. Апокалипсис... Будет падать и падать, а потом земля напитается, и взойдет новый посев, каких раньше не бывало, и не будет плевел среди сплошных злаков, но не будет и нас, чтобы насладиться новой вселенной...

«Если бы не эти сизые мешки под глазами, если бы не вислое студенистое брюхо, если бы этот великолепный семитский нос не был так похож на топографическую карту... Хотя, ежели подумать, все пророки были пьяницами, потому что уж очень тоскливо: ты все знаешь, а тебе никто не верит. Если бы в департаментах ввели штатную должность пророка, то им следовало бы присваивать не ниже тайного советника — для укрепления авторитета. И все равно, наверное, не помогло бы...»

— За систематический пессимизм,— сказал Виктор вслух,— ведущий к подрыву служебной дисциплины и веры в разумное будущее, приказываю: тайного советника Голема побить камнями в экзекutorской.

Голем хмыкнул.

— Я всего лишь коллежский советник,— сообщил он. — И потом, какие пророки в наше время? Я не знаю ни одного. Множество лжепророков и ни одного пророка. В наше время нельзя предвидеть будущее — это насилие над языком. Что бы вы сказали, прочитав у Шекспира: предвидеть настоящее. Разве можно предвидеть шкаф в собственной комнате?.. А вот идет мой инспектор. Как вы себя чувствуете, инспектор?

— Прекрасно,— сказал Павор, усаживаясь. — Официант, двойной коньяк! Там, в вестибюле, нашего живописца держат четверо,— сооб-

шил он. — Объясняют ему, где вход в ресторан. Я решил не вмешиваться, потому что он никому не верит и дерется... О каких шкафах идет речь?

Он был сух, элегантен, свеж, от него пахло одеколоном.

— Мы говорим о будущем,— сказал Голем.

— Какой смысл говорить о будущем? — возразил Павор. — О будущем не говорят, будущее делают. Вот рюмка коньяка. Она полная. Я делаю ее пустой. Вот так. Один умный человек сказал, что будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести.

— Другой умный человек сказал,— заметил Виктор,— что будущего вообще не бывает, есть только настоящее.

— Я не люблю классической философии,— сказал Павор. — Эти люди ничего не умели и ничего не хотели. Им просто нравилось рассуждать, как Голему — пить. Будущее — это тщательно обезвреженное настоящее.

— У меня всегда возникает странное ощущение,— сказал Голем,— когда при мне штатский человек рассуждает, как военный.

— Военные вообще не рассуждают,— возразил Павор. — У военных только рефлексы и немного эмоций.

— У большинства штатских тоже,— сказал Виктор, ощупывая свой затылок.

— Сейчас ни у кого нет времени рассуждать,— сказал Павор. — Ни у военных, ни у штатских. Сейчас надо успевать поворачиваться. Если тебя интересует будущее, изобретай его быстро, на ходу, в соответствии с рефлексами и эмоциями.

— К чертям изобретателей,— сказал Виктор. Он чувствовал себя пьяным и веселым. Все стояло на своих местах. Не хотелось никуда идти, хотелось оставаться здесь, в этом пустом полутемном зале, еще не совсем ветхом, но уже с потеками на стенах, с расхлябанными половицами, с запахом кухни; особенно если вспомнить, что снаружи во всем мире идет дождь, над булыжными мостовыми — дождь, над островерхими крышами — дождь, и дождь заливает горы и равнину, и когда-нибудь он все это смоеет, но это случится еще очень не скоро... хотя, если подумать, сейчас ни о чем нельзя говорить, что это случится не скоро. — Да, милые мои, давно оно прошло, то время, когда будущее было повторением настоящего, и все перемены маячили где-то за далекими горизонтами. Голем прав, нет на свете никакого будущего, оно слилось с настоящим, и теперь не разберешь, где что.

— Изнасилован мокрецом! — сказал Павор злорадно.

В дверях ресторана появился доктор Р. Квадрига. Несколько секунд он стоял, с тяжелым вниманием обозревая ряды пустых столиков, затем лицо его прояснилось, и он, резко качнувшись вперед, устремился к своему месту.

— Почему вы их называете мокрецами? — спросил Виктор. — Что они — мокрые у вас стали от дождей?

— А почему нет? — сказал Павор. — Как их, по-вашему, называть?

— Очкарики, — сказал Виктор. — Доброе старое слово. Спокон веков мы их называли очкариками.

Доктор Р. Квадрига приближался. Спереди он был весь мокрый, вероятно, его отмывали над раковиной. Выглядел он утомленным и разочарованным.

— Черт знает что, — брюзгливо сказал он еще издали. — Никогда со мной такого не бывало: нет входа! Куда ни ткнусь — везде сплошные окна... Кажется, я заставил вас ждать, господа. — Он упал в свое кресло и узрел Павора. — Опять он здесь, — сообщил он Голему доверительным шепотом. — Надеюсь, он вам не мешает... А со мной, знаете ли, произошла удивительная история. Всего облили..

Голем налил ему коньяку.

— Благодарю вас, — сказал Р. Квадрига, — но я, пожалуй, лучше пропущу пару кругов. Надо обсохнуть.

— Я вообще за все старое доброе, — объявил Виктор. — Пусть очкарики остаются очкариками. И вообще пусть все остается без изменений. Я — консерватор... Внимание! — сказал он громко. — Предлагается тост за консерватизм. Минуточку... — Он налил себе джину, встал и оперся рукой на спинку кресла. — Я — консерватор, — сказал он. — И с каждым годом я становлюсь все консервативнее, но не потому, что старею, а потому, что ощущаю в этом потребность...

Трезвый Павор с рюмкой наготове глядел на него снизу вверх с подчеркнутым вниманием. Голем медленно ел миногу, а доктор Р. Квадрига, казалось, тщился понять, откуда до него доносится голос и чей. Все было очень хорошо.

— Люди обожают критиковать правительства за консерватизм, — продолжал Виктор. — Люди обожают превозносить прогресс. Это новое веяние, и оно глупо, как и все новое. Людям надлежало бы молить бога, чтобы он даровал им самое косное, самое заскорузлое и конформистское правительство...

Теперь и Голем поднял глаза и смотрел на него, и Тэдди за своей стойкой тоже перестал перетирать бутылки и прислушивался, только вот затылок вдруг заломило, и пришлось поставить рюмку и погладить желвак.

— Государственный аппарат, господа, во все времена почитал своей главной задачей сохранение статус-кво. Не знаю, насколько это было оправдано раньше, но сейчас такая функция государства попросту необходима. Я бы определил эту функцию так: всячески препятствовать будущему запускать щупальца в наше время, обрубать эти щупальца, прижигать их каленым железом... Мешать изобретателям, поощрять схоластов и болтунов... в гимназиях ввести повсеместно исключительно

классическое образование. На высшие государственные посты — старцев, обремененных семействами и долгами, не моложе пятидесяти лет, чтобы брали взятки и спали на заседаниях...

— Что вы такое несете, Виктор,— сказал Павор укоризненно.

— Нет, отчего же,— сказал Голем,— необычайно приятно слышать такие умеренные, лояльные речи.

— Я еще не кончил, господа!.. Талантливых ученых назначать администраторами с крупным окладом. Все без исключения изобретения принимать, плохо оплачивать и класть под сукно. Ввести драконовские налоги на каждую товарную и производственную новинку... — «А чего я, собственно, стою?» — подумал Виктор и сел. — Ну, как вам это показалось? — спросил он Голема.

— Вы совершенно правы,— сказал Голем. — А то у нас нынче все радикалы. Даже директор гимназии. Консерватизм — вот наше спасение.

Виктор хлебнул джину и сказал горестно:

— Не будет никакого спасения. Потому что все дураки-радикалы не только верят в прогресс, они еще и любят прогресс, они воображают, что не могут без прогресса. Потому что прогресс — это, кроме всего прочего, дешевые автомобили, бытовая электроника и вообще возможность делать поменьше, а получать побольше. И потому каждое правительство вынуждено одной рукой... то есть не рукой, конечно... одной ногой нажимать на тормоза, а другой — на акселератор. Как гонщик на повороте. На тормоза — чтобы не потерять управления. А на акселератор — чтобы не потерять скорости, а то ведь какой-нибудь демагог, поборник прогресса, обязательно спихнет с водительского места.

— С вами трудно спорить,— вежливо сказал Павор.

— А вы не спорьте,— сказал Виктор. — Не надо спорить. — Он нежно погладил желвак и добавил: — Впрочем, у меня это, наверное, от невежества. Все ученые — поборники прогресса, а я — не ученый. Я просто небезызвестный куплетист.

— Что это вы все время хватаетесь за затылок? — спросил Павор.

— Какая-то сволочь долбанула,— сказал Виктор. — Кастетом... Правильно я говорю, Голем? Кастетом?

— По-моему, кастетом,— сказал Голем. — А может быть, и кирпичом.

— Что вы такое говорите? — удивился Павор. — Каким кастетом? В этом захолюстье?

— Вот видите,— наставительно сказал Виктор. — Прогресс!.. Давайте снова выпьем за консерватизм.

Позвали официанта, выпили еще раз за консерватизм. Пробило девять, и в зале появилась известная пара — молодой человек в мощных очках и его долговязый спутник. Усевшись за свой столик, они включили торшер, смиренно огляделись и принялись изучать меню.

Молодой человек опять пришел с портфелем, портфель он поставил на свободное кресло рядом с собою. Он всегда был очень добр к своему портфелю. Продиктовав официанту заказ, они выправились и стали молча глядеть в пространство. «Странная пара,— подумал Виктор. — Удивительное несоответствие. Они выглядят, как в испорченном бинокле: один в фокусе, другой расплывается, и наоборот. Полнейшая несовместимость. С молодым человеком в очках можно было бы поговорить о прогрессе, а с долговязым — нет. Долговязый мог бы двинуть меня кастетом, а молодой в очках — нет... Но я вас сейчас совмещу. Как бы это мне вас совместить? Ну, например, вот... Какой-нибудь государственный банк, подвалы... цемент, бетон, сигнализация, долговязый набирает номер на диске, стальная башня поворачивается, открывается вход в сокровищницу, оба входят, долговязый набирает номер на другом диске, дверца сейфа откатывается, и молодой по локотку погружается в бриллианты».

Доктор Р. Квадрига вдруг расплакался и схватил Виктора за руку. — Ночевать,— сказал он. — Ко мне. А?

Виктор немедленно налил ему джинну. Р. Квадрига выпил, вытер под носом и продолжал:

— Ко мне. Вилла. Фонтан есть. А?

— Фонтан — это у тебя хорошо придумано,— заметил Виктор уклончиво. — А что еще?

— Подвал,— печально сказал Р. Квадрига. — Следы. Боюсь. Страшно. Хочешь — продам?

— Лучше подари,— предложил Виктор.

Р. Квадрига заморгал.

— Жалко,— сказала он.

— Скупердйай,— сказал Виктор с упреком. — Это у тебя с детства. Виллы ему жалко! Ну и подавись своей виллой.

— Ты меня не любишь,— горько констатировал доктор Р. Квадрига. — И никто.

— А господин Президент? — агрессивно спросил Виктор.

— «Президент — отец народа»,— оживляясь, сказал Р. Квадрига. — Эскиз в золотых тонах... «Президент на позициях». Фрагмент картины: «Президент на обстреливаемых позициях».

— А еще? — поинтересовался Виктор.

— «Президент с плащом»,— сказал Р. Квадрига с готовностью. — Панно. Панорама.

Виктор, соскучившись, отрезал кусочек миноги и стал слушать Голема.

— Вот что, Павор,— говорил тот. — Отстаньте вы от меня. Что я еще могу? Отчетность я вам представил. Рапорт ваш готов подписать. Хотите жаловаться на военных — жалуйтесь. Хотите жаловаться на меня...

— Не хочу я на вас жаловаться,— отвечал Павор, прижимая руку к груди.

— Тогда не жалуйтесь.

— Ну посоветуйте мне что-нибудь! Неужели вы ничего мне не можете посоветовать?

— Господа,— сказал Виктор. — Скучища. Я пойду.

На него не обратили внимания. Он отодвинул стул, поднялся и, чувствуя себя очень пьяным, направился к стойке. Лысый Тэдди перетирал бутылки и смотрел на него без любопытства.

— Как всегда? — спросил он.

— Подожди,— сказал Виктор. — Что это я у тебя хотел спросить?.. Да! Как дела, Тэдди?

— Дождь,— коротко сказал Тэдди и налил ему очищенной.

— Проклятая погода стала у нас в городе,— сказал Виктор и оперся на стойку, — что там на твоём барометре?

Тэдди сунул руку под стойку и достал «погодник». Все три шипа плотно прилегали к блестящему, словно отлакированному, стволу.

— Без просвета,— сказал Тэдди, внимательно разглядывая «погодник». — Дьявольская выдумка. — Подумав, он добавил: — А вообще-то, бог его знает, может быть, он давно уже заломался — который год уже дождь, как проверишь?

— Можно съездить в Сахару,— предложил Виктор.

Тэдди ухмыльнулся.

— Смешно,— сказал он. — Господин этот ваш, Павор, смешное дело, двести крон предлагает за эту штуку.

— Спьяну, наверное,— сказал Виктор. — Зачем она ему...

— Я ему так и сказал. — Тэдди повертел «погодник», поднес его к правому глазу. — Не отдам,— заявил он решительно. — Пусть-ка сам поищет. — Он сунул «погодник» под стойку, посмотрел, как Виктор крутит в пальцах рюмку, и сообщил: — Диана твоя приезжала.

— Давно? — небрежно спросил Виктор.

— Да часов в пять примерно. Выдал ей ящик коньяку. Росшепер все гуляет, никак не остановится. Гоняет персонал за коньяком, жирная морда. Тоже мне — член парламента... Ты за нее не опасешься?

Виктор пожал плечами. Он вдруг увидел Диану рядом с собой. Она возникла возле стойки в мокром дождевике с откинутым капюшоном, она не смотрела в его сторону, он видел только ее профиль и думал, что из всех женщин, которых он раньше знал, она — самая красивая, и что такой у него больше никогда, наверное, не будет. Она стояла, опершись на стойку, и лицо ее было очень бледным и очень равнодушным, и она была самой красивой — у нее все было красивое. И всегда. И когда она плакала, и когда смеялась, и когда злилась, и когда ей было наплевать, и даже когда мерзла, а особенно — когда на нее находило... «Ох и пьян же я,— подумал Виктор,— и разит, наверное, от

меня, как от Р Квадриги. — Он вытянул нижнюю губу и подышал себе под нос — Ничего не разобрать»

— Дороги мокрые, скользкие,— говорил Тэдди. — Туман... А потом, я тебе скажу, что Росшепер этот — наверняка бабник, старый козел.

— Росшепер — импотент,— возразил Виктор, машинально проглотив очищенную.

— Это она тебе рассказала?

— Брось, Тэдди,— сказал Виктор. — Перестань.

Тэдди пристально на него посмотрел, потом вздохнул; крякнув, присел на корточки, покопался под стойкой и выставил перед Виктором пузырек с нашатырным спиртом и початую пачку чая. Виктор глянул на часы и стал смотреть, как Тэдди неторопливо достает чистый бокал, наливает в него содовую, капает из пузырька и все так же неторопливо мешает стеклянной палочкой. Потом он придвинул бокал к Виктору. Виктор выпил и зажмурился, задерживая дыхание. Свежая и отвратительная, отвратительно-свежая струя нашатыря ударила в мозг и разлилась где-то за глазами. Виктор потянул носом воздух, сделавшийся нестерпимо холодным, и запустил пальцы в пачку с чаем.

— Ладно, Тэдди,— сказал он. — Спасибо. Запиши на меня, что полагается. Они тебе скажут, что полагается. Пойду.

Старательно жуя чай, он вернулся к своему столику. Очкастый молодой человек со своим долговязым спутником торопливо поглощали ужин. Перед ними стояла единственная бутылка — с местной минеральной водой. Павор и Голем, освободив место на скатерти, играли в кости, а доктор Р. Квадрига, охватив нечесаную голову, монотонно бубнил: «Легион Свободы — опора Президента» Мозаика... В счастливый день именин вашего высокопревосходительства... «Президент — отец детей». Аллегорическая картина...

— Я пошел,— сказал Виктор.

— Жаль,— сказал Голем. — Впрочем, желаю удачи.

— Привет Росшеперу,— сказал Павор, подмигнув.

— «Член парламента Росшепер Нант»,— оживился Р. Квадрига. — Портрет. Недорого. Поясной...

Виктор взял свою зажигалку и пачку сигарет и пошел к выходу. Позади доктор Р. Квадрига ясным голосом произнес: «Я полагаю, господа, что нам пора познакомиться. Я — Рем Квадрига, доктор гонорис кауза, а вот вас, сударь, я не припоминаю...» В дверях Виктор столкнулся с толстым тренером футбольной команды «Братья по разуму». Тренер был очень озабочен, очень мокр и уступил Виктору дорогу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Автобус остановился, и шофер сказал:

— Приехали.

— Санаторий? — спросил Виктор. Снаружи был туман, плотный, молочный. Свет фар рассеивался в нем, и ничего не было видно.

— Санаторий, санаторий, — проворчал шофер, раскуривая сигарету.

Виктор подошел к двери и, спускаясь с подножки, сказал.

— Ну и туманище. Ничего не вижу.

— Разберетесь, — равнодушно пообещал шофер. Он сплюнул в окошко. — Нашли место, где санаторий устраивать. Днем — туман, вечером — туман...

— Счастливого пути, — сказал Виктор.

Шофер не ответил. Взыл двигатель, захлопнулись двери, и огромный пустой автобус, весь стеклянный и освещенный изнутри, как закрытый на ночь универмаг, развернулся, сразу превратившись в мутное пятно света, и укатил обратно в город. Виктор, с трудом перебирая руками решетчатую изгородь, нашел ворота и ощупью двинулся по аллее. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, он смутно различал впереди освещенные окна правого крыла и какую-то особенно глубокую тьму на месте левого, где сейчас спали намотавшиеся за день под дождем «Братья по разуму». В тумане, словно сквозь вату, слышались обычные звуки — играла радиолы, дребезжала посуда, кто-то сипло орал. Виктор продвигался, стараясь держаться середины песчаной аллеи, чтобы не налететь ненароком на какую-нибудь гипсовую вазу. Бутылку с джином он бережно прижимал к груди и был очень осторожен, но тем не менее вскоре споткнулся о мягкое и прошелся на четвереньках. Позади вяло и сонно выругались в том смысле, что надо, мол, зажигать свет. Виктор нашарил в сумраке упавшую бутылку, снова прижал ее к груди и пошел дальше, выставив свободную руку. Скоро он столкнулся с автомобилем, ощупью обошел его и столкнулся с другим. Дьявол, здесь оказалась целая куча автомобилей. Виктор, ругаясь, блуждал среди них, как в лабиринте, и долго не мог выбраться к смутному сиянию, обозначавшему вход в вестибюль. Гладкие бока автомобилей были влажными от осевшего тумана. Где-то рядом хихикали и отбивались.

В вестибюле на этот раз было пусто, никто не играл в жмурки, никто не бегал в пятнашки, тряся жирным задом, никто не спал в креслах. Повсюду валялись скомканные плащи, а некий остряк повесил шляпу на фикус. Виктор поднялся по ковровой лестнице на второй этаж. Музыка гремела. Справа в коридоре все двери в апартаменты члена парламента были распахнуты, оттуда несло жирными запахами пищи, курицы и разгоряченных тел. Виктор повернул налево и постучал в ком-

нату Дианы. Никто не отозвался. Дверь была заперта, ключ торчал в замочной скважине. Виктор вошел, зажег свет и поставил бутылку на телефонный столик. Послышались шаги, и он выглянул наружу. Направо по коридору широкой и твердой походкой удалялся рослый человек в черном вечернем костюме. На лестничной площадке он остановился перед зеркалом, вскинув голову, поправил галстук (Виктор успел разглядеть изжелта-смуглый орлиный профиль и острый подбородок), а затем в нем что-то изменилось: он ссутулился, слегка перекосился набок и, гнусно виляя бедрами, скрылся в одной из распахнутых дверей. «Пижон,— неуверенно подумал Виктор. — Блевать ходил...» Он поглядел налево. Там было темно.

Виктор снял плащ, запер комнату и отправился искать Диану. Придется заглянуть к Росшеперу, подумал он. Где ей еще быть?

Росшепер занимал три палаты. В первой недавно жрали: на столах, покрытых замаранными скатертями, громоздились грязные тарелки, пепельницы, бутылки, мятые салфетки, и никого не было, если не считать одинокой потной лысины, храпевшей в блюде с заливным.

В смежной палате дым стоял коромыслом. На гигантской Росшеперовой кровати брыкались полураздетые нездешние девчонки. Они играли в какую-то странную игру с апоплексически багровым господином бургомистром, который зарывался в них, как свинья в желуди, и тоже брыкался и хрюкал от удовольствия. Тут же присутствовали господин полицмейстер без кителя, господин городской судья с глазами, вылезшими из орбит от нервной одышки, и какая-то незнакомая юркая личность в сиреновом. Эти трое азартно сражались в детский бильярд, поставленный на туалетный столик, а в углу, прислоненный к стене, сидел, раскинув ноги, облаченный в перепачканный вицмундир директор гимназии с идиотской улыбкой на устах. Виктор уже собрался уходить, когда кто-то поймал его за штанину. Он глянул вниз и отпрянул. Под ним стоял на четвереньках член парламента, кавалер орденов, автор нашумевшего проекта об обрыблении Китчинганских водоемов Росшепер Нант.

— В лошадки хочу,— просительно проблеял Росшепер. — Давай в лошадки! Иго-го! — Он был невменяем.

Виктор деликатно освободился и заглянул в последнюю палату. Там он увидел Диану. Сначала он не понял, что это Диана, а потом кисло подумал: очень мило! Здесь было полно народу, каких-то полужнакомых мужчин и женщин, они стояли кругом и хлопали в ладоши, а в центре круга Диана отплясывала с тем самым желтолицым пижоном, обладателем орлиного профиля. У нее горели глаза, горели щеки, волосы летали над плечами, и черт был ей не брат. Орлиный профиль очень старался соответствовать.

«Странно,— подумал Виктор. — В чем дело?.. Что-то здесь было не так. Танцует он хорошо, он просто прекрасно танцует. Как учитель

танцев. Не танцует, а показывает, как танцевать... Даже не как учитель, а как ученик на экзаменах. Очень хочет получить пятерку... Нет, не то. Слушай, милый, ты же с Дианой танцуешь! Неужели ты этого не замечаешь? — Виктор привычно напряг воображение. — Актер танцует на сцене, все хорошо, все прекрасно, все идет, как надо, без накладок, а дома несчастье... нет, не обязательно несчастье, просто ждут, когда он вернется, и он тоже ждет, когда дадут занавес и погасят огни... и даже никакой не актер, а посторонний человек, изображающий актера, который сам играет совсем уже постороннего человека... Неужели Диана не чувствует? Это же фальшивка. Манекен. Ни капли близости между ними, ни капли соблазна, ни тени желания... Говорят друг другу что-то, представить невозможно — что. Шерочка с машерочкой... Вы не вспотели? Да, читал, и даже два раза...» Тут он увидел, что Диана, распахивая гостей, бежит к нему.

— Пошли плясать! — закричала она еще издали.

Кто-то преградил ей дорогу, кто-то схватил ее за руку, она вырвалась, смеясь, а Виктор все искал глазами желтолицего и не находил, и это неприятно его беспокоило.

Она подбежала к нему, вцепилась в рукав и потащила в круг.

— Пошли, пошли! Здесь все свои — вся пьянь, рвань, дрянь... Покажи им, как надо! Этот мальчишка ничего не умеет...

Она втащила его в круг, и кто-то в толпе заорал: «Писателю Баневу — ура!» Замолкшая на секунду радиолоа снова залаяла и залязгала, Диана прижалась к нему, потом отпрянула, от нее пахло духами и вином, она была горячая, и Виктор теперь ничего не видел, кроме ее возбужденного прекрасного лица и летящих волос.

— Пляши! — крикнула она, и он стал плясать.

— Молодец, что приехал.

— Да. Да.

— Зачем ты трезвый? Вечно ты трезвый, когда не надо.

— Я буду пьяный.

— Сегодня ты мне нужен пьяный.

— Буду.

— Чтобы делать с тобой, что хочу. Не ты со мной, а я.

— Да.

Она удовлетворенно смеялась, и они плясали молча, ничего не видя и ни о чем не думая. Как во сне. Как в бою. Такая она была сейчас — как сон, как бой. Диана, На Которую Нашло... Вокруг били в ладоши и вскрикивали, кажется, еще кто-то пытался плясать, но Виктор отшвырнул его, чтобы не мешал, а Росшепер протяжно кричал: «О мой бедный пьяный народ!»

— Он импотент?

— Еще бы. Я его мою.

— И как?

— Абсолютно.

— О мой бедный пьяный народ! — стонал Росшепер.

— Пошли отсюда, — сказал Виктор.

Он поймал ее за руку и повел. Пьянь и рвань расступалась перед ними, а в дверях путь преградил губастый молокосос с румянцем во всю щеку и сказал что-то наглое, кулаки у него чесались, но Виктор сказал ему: «Потом, потом», и молокосос исчез. Держась за руки, они пробежали по пустому коридору, затем Виктор, не выпуская ее рук, отпер дверь и, не выпуская ее руки, запер дверь изнутри, и было жарко, стало нестерпимо жарко, душно, и комната, сначала широкая и просторная, сделалась узкой и тесной, и тогда Виктор встал и распахнул окно, и черный сырой воздух залил его голые плечи и грудь. Он вернулся на кровать, нашарил в темноте бутылку с джином, отхлебнул и передал Диане. Потом лег, и слева тек холодный воздух, а справа было горячее шелковистое и нежное. Теперь он слышал, что пьянка продолжается — гости пели хсьром.

— Это надолго? — спросил он.

— Что? — спросила Диана сонно.

— Долго они будут выть?

— Не знаю. Какое нам дело? — Она повернулась на бок и легла щекой на его плечо. — Холодно, — пожаловалась она.

Они повозились, забираясь под одеяло.

— Не спи, — сказал он.

— Угу, — пробормотала она.

— Тебе хорошо?

— Угу.

— А если за ухо?

— Угу... Отстань, больно.

— Слушай, а нельзя здесь пожить недельку?

— Можно.

— А где?

— Я спать хочу. Дай поспать бедной пьяной женщине.

Он замолчал и лежал, не шевелясь. Она уже спала. «Так я и сделаю, — подумал он. — Здесь будет хорошо, тихо. Только не вечером. А может быть, и вечером. Не станет же он пьянствовать каждый вечер, ему ведь лечиться надо... Пожить здесь денька три-четыре... пять-шесть... и поменьше пить, совсем не пить, и поработать... давно я не работал... Чтобы начать работать, надо хорошенько заскучать, чтобы ничего больше не хотелось... Он вздрогнул, задремывая. Насчет Ирмы... Насчет Ирмы я напишу Роц-Тусову, вот что я сделаю. Не струсил бы Роц-Тусов, трус он. Должен мне девятьсот крон... Когда речь заходит о господине Президенте, все это не имеет значения, все мы становимся трусами. Почему мы все такие трусы? Чего мы, собственно, боимся? Перемены мы боимся. Нельзя будет пойти в писательский

кабак и пропустить рюмку очищенной... швейцар не будет кланяться... и вообще швейцара не будет, самого сделают швейцаром. Плохо, если на рудники... это действительно плохо... Но это же редко, времена не те... смягчение нравов... Сто раз я об этом думал и сто раз обнаруживал, что бояться, в общем, нечего, а все равно боюсь. Потому что тупая сила... Это страшная штука, когда против тебя тупая, свинья со щетиной сила, неуязвимая, ни для логики неуязвимая, ни для эмоций... И Дианы не будет...»

Он задремал и снова проснулся, потому что под открытым окном громко разговаривали и ржали, как животные. Затрещали кусты.

— Не могу я их сажать,— сказал пьяный голос полицмейстера. — Нет такого закона...

— Будет,— сказал голос Росшепера. — Я депутат или нет?

— А такой закон есть, чтобы под городом — рассадник заразы? — рявкнул бургомистр.

— Будет! — упрямо сказал Росшепер.

— Они не заразные,— проблеял фальцетом директор гимназии. — Я имею в виду, что в медицинском отношении...

— Эй, гимназия,— сказал Росшепер,— расстегнуться не забудь.

— А такой закон есть, чтобы честных людей разоряли? — рявкнул бургомистр. — Чтобы разоряли, есть такой закон?

— Будет, я тебе говорю! — сказал Росшепер. — Я депутат или нет? «Чем бы их садануть?» — подумал Виктор.

— Росшепер,— спросил полицмейстер,— ты мне друг? Я тебя, подлеца, на руках носил. Я тебя, подлеца, выбирал. А теперь они шляются, заразы, по городу, и я ничего не могу. Закона нет, понимаешь?

— Будет,— сказал Росшепер. — Я тебе говорю — будет. В связи с заражением атмосферы...

— Нравственной! — вставил директор гимназии. — Нравственной и моральной

— Что?.. В связи, говорю, с отравлением атмосферы и по причине недостаточного обрыбления прилежащих водоемов... заразу ликвидировать и учредить в отдаленной местности. Годится?

— Дай я тебя поцелую,— сказал полицмейстер.

— Молодец,— сказал бургомистр. — Голова. Дай я тоже...

— Ерунда,— сказал Росшепер. — Раз плюнуть... Споем? Нет, не желаю. Пошли еще по маленькой.

— Правильно. По маленькой — и домой.

Снова затрещали кусты, Росшепер сказал уже где-то в отдалении: «Эй, гимназия, застегнуться забыл!» — и под окном стало тихо. Виктор снова задремал, просмотрел какой-то незначительный сон, а потом раздался телефонный звонок.

— Да,— сказала Диана хрипло. — Да, это я... — Она откашля-

лась. — Ничего, ничего, я слушаю... Все хорошо, он был, по-моему, доволен... Что?

Она разговаривала, перевалившись через Виктора, и он вдруг почувствовал, как напряглось ее тело.

— Странно,— сказала она. — Хорошо, я сейчас посмотрю... Да... Хорошо, я ему скажу.

Она положила трубку, перелезла через Виктора и зажгла ночник.

— Что случилось? — спросил Виктор сонно.

— Ничего. Спи, я сейчас вернусь.

Сквозь прижмуренные веки он смотрел, как она собирает разбросанное белье, и лицо у нее было такое серьезное, что он встревожился. Она быстро оделась и вышла, на ходу одергивая платье. «Росшепер плохо,— подумал он, прислушиваясь. — Допился, старый мерин». В огромном здании было тихо, и он отчетливо слышал шаги Дианы в коридоре, но она пошла не направо, как он ожидал, а налево. Потом скрипнула дверь, и шаги стихли. Он повернулся на бок и попробовал снова заснуть, но сна не было. Он понял, что ждет Диану и что ему не заснуть, пока она не вернется. Тогда он сел и закурил. Желвак на затылке принялся пульсировать, и он поморщился. Диана не возвращалась. Почему-то он вспомнил желтолицего плясуна с орлиным профилем. «Он-то здесь при чем? — подумал Виктор. — Артист, который играет другого артиста, который играет третьего... А, вот в чем дело: он вышел как раз оттуда, слева, куда ушла Диана. Дошел до лестничной площадки и превратился в пижона. Сначала играл светского льва, а потом стал играть разболтанного хлыща...» Виктор снова прислушался. На редкость тихо, все спят... храпит кто-то. ...Потом снова скрипнула дверь, и послышались приближающиеся шаги. Вошла Диана, лицо у нее было по-прежнему серьезное. Ничего не кончилось, происшествие продолжалось. Диана подошла к телефону и набрала номер.

— Его нет,— сказала она. — Нет-нет он ушел... Я тоже... Ничего, ничего, что вы. Спокойной ночи.

Она положила трубку, постояла немного, глядя в темноту за окном, затем села на кровать рядом с Виктором. В руке у нее был цилиндрический фонарик. Виктор закурил сигарету и подал ей. Она молча курила, о чем-то напряженно думая, а потом спросила:

— Ты когда заснул?

— Не знаю, трудно сказать.

— Но уже после меня?

— Да.

Она повернула к нему лицо:

— Ты ничего не слышал? Какого-нибудь скандала, драки...

— Нет,— сказал Виктор. — По-моему, все было очень мирно. Сначала они пели, потом Росшепер с компанией мочился у нас под окном, потом я заснул... Они уже собирались разъезжаться.

Она бросила сигарету за окно и поднялась

— Одевайся,— сказала она.

Виктор усмехнулся и протянул руку за трусами. Слушаю и повинуюсь, подумал он. Хорошая вещь — повиновение. Только не надо ни о чем спрашивать. Он спросил:

— Поедем или пойдем?

— Что?... Сначала пойдем, а там видно будет

— Кто-нибудь пропал?

— Кажется.

— Росшепер?

Он вдруг поймал на себе ее взгляд. Она смотрела на него с сомнением. Она уже немного раскаивалась, что позвала его. Она спрашивала себя: а кто он, собственно, такой, чтобы брать его с собой?

— Я готов,— сказал он.

Она все еще сомневалась, задумчиво играя фонариком.

— Ну, ладно... тогда пошли. — Она не двигалась с места.

— Может быть, отломать у стула ножку? — предложил Виктор. — Или, скажем, у кровати..

— Нет. Ножка не годится. — Она выдвинула ящик стола и достала огромный черный пистолет. — На,— сказала она.

Виктор насторожился было, но это оказался спортивный мелкокалиберный пистолет. И к тому же без обоймы.

— Давай патроны,— сказал Виктор.

Она непонимающе посмотрела на него, потом посмотрела на пистолет и сказала:

— Нет. Патроны не понадобятся. Пошли.

Виктор пожал плечами и сунул пистолет в карман. Они спустились в вестибюль и вышли на крыльцо. Туман поредел, моресил хилый дождик. Машин у крыльца не было. Диана свернула в аллею между мокрыми кустами и включила фонарик. «Дурацкое положение,— подумал Виктор. — Ужасно хочется спросить, в чем дело, а спросить нельзя. Хорошо бы придумать, как спросить. Как-нибудь облически. Не спросить, а так — отпустить замечание с вопросом в подтексте. Может быть, драться придется? Неохота. Сегодня неохота. Буду бить рукояткой. Прямо между глаз... А как там мой желвак? — Желвак оказался на месте и побаливал. — Станные, однако, обязанности у медсестры в этом санатории... А ведь я всегда считал, что Диана — женщина с тайной. С первого взгляда и все пять дней... Ну и сырость, надо было глотнуть перед уходом. Как только вернусь, сейчас же и глотну... А я молодец,— подумал он. — Никаких вопросов. Слушаю и повинуюсь»

Они обогнули крыло, пробрались через сирень и оказались перед оградой. Диана посветила. Одного железного прута в ограде не было.

— Виктор,— сказала она негромко. — Сейчас мы пойдем по тро-

пинке. Ты пойдешь сзади. Смотри под ноги и ни шагу в сторону. Понял?

— Понял,— покорно сказал Виктор. — Шаг влево, шаг вправо — стреляю.

Диана пролезла первой и посветила Виктору. Потом они очень медленно двинулись под гору. Это был восточный склон холма, на котором стоял санаторий. Вокруг шумели под дождем невидимые деревья. Раз Диана поскользнулась, и Виктор едва успел схватить ее за плечи. Она нетерпеливо вывернулась и пошла дальше. Каждую минуту она повторяла: «Смотри под ноги... Держись за мной». Виктор послушно смотрел вниз, на ноги Дианы, мелькающие в прыгающем светлом круге. Сначала он все ожидал удара по затылку, прямо по желваку, или чего-нибудь в этом роде, а потом решил: вряд ли. Концы с концами не сходились. Просто, наверное, удрал какой-нибудь псих — например, у Росшепера случилась белая горячка, и его придется вести назад, пугая разряженным пистолетом...

Диана неожиданно остановилась и что-то сказала, но ее слова не дошли до сознания Виктора, потому что в следующую секунду он увидел возле тропинки чьи-то блестящие глаза, неподвижные, огромные, пристально глядевшие из-под мокрого выпуклого лба,— только глаза и лоб, и ничего больше, ни рта, ни носа, ни тела — ничего. Сырая тяжелая темнота, и в светлом круге — блестящие глаза и неестественно белый лоб.

— Сволочи,— сказала Диана перехваченным голосом. — Так я и знала. Зверье.

Она упала на колени, луч фонарика скользнул вдоль черного тела, и Виктор увидел какую-то блестящую металлическую дугу, цепь в траве. Диана скомандовала: «Скорее, Виктор», и он присел рядом с нею на корточки и только теперь понял, что это капкан, а в капкане — нога человека. Он обеими руками вцепился в железные челюсти и попытался развести их, но они подались чуть-чуть и сомкнулись снова. «Дурак! — крикнула Диана. — Пистолетом!» Он скрипнул зубами, ухватился поудобнее, напряг мускулы, так что захрустело в плечах, и челюсти разошлись. «Тащи»,— хрипло сказал он. Нога исчезла, железные дуги снова сомкнулись и сжали ему пальцы. «Подержи фонарик»,— сказала Диана. «Не могу,— виновато сказал Виктор. — Попался. Возьми у меня из кармана пистолет...» Диана, чертыхнувшись, полезла к нему в карман. Он снова развел капкан, она вставила между скобками рукоятку, и он освободился.

— Подержи фонарик,— повторила она. — Я посмотрю, что с ногой.

— Кость раздроблена,— сказал из темноты напряженный голос. — Несите меня в санаторий и вызывайте машину.

— Правильно,— сказала Диана. — Сейчас. Виктор, давай фонарик, возьми его.

Она посветила. Человек сидел на прежнем месте, прислонившись

к стволу дерева. Нижняя половина его лица была закутана черной повязкой. «Очкарик,— подумал Виктор. — Мокрец. Как он сюда попал?»

— Бери же,— нетерпеливо сказала Диана. — На спину.

— Сейчас,— отозвался он. Ему вспомнились желтые круги вокруг глаз. Подкатило к горлу. — Сейчас... — Он сел возле мокреца на корточки и повернулся к нему спиной. — Обнимите меня за шею,— сказал он.

Мокрец оказался тощим и легким. Он не двигался и даже, казалось, не дышал, и он не стонал, когда Виктор оскальзывался, но всякий раз его тело сводило судорогой. Тропинка была гораздо круче, чем думал Виктор, и когда они дошли до ограды, он основательно запыхался. Трудно оказалось протащить мокреца через щель в ограде, но и с этим они в конце концов справились.

— Куда его? — спросил Виктор, когда они подошли к подъезду.

— Пока в вестибюль,— ответила Диана.

— Не надо,— тем же напряженным голосом произнес мокрец. — Оставьте меня здесь.

— Здесь дождь,— возразил Виктор.

— Перестаньте болтать,— сказал мокрец. — Я останусь здесь.

Виктор промолчал и стал подниматься по ступенькам.

— Оставь его,— сказала Диана.

Виктор остановился.

— Какого черта, здесь же дождь,— сказал он.

— Не будьте дураком,— проговорил мокрец. — Оставьте... здесь...

Виктор, не говоря ни слова, шагая через три ступеньки, поднялся к двери и вошел в вестибюль.

— Кретин,— тихо сказал мокрец и уронил голову на его плечо.

— Болван,— сказала Диана, догоняя Виктора и хватая его за рукав. — Ты его убьешь, идиот! Немедленно вынеси его под дождь! Немедленно, слышишь? Ну, чего стоишь?

— С ума вы все посходили,— сердито и растерянно сказал Виктор.

Он повернулся, пнул дверь и вышел на крыльцо. Дождь словно только и ждал этого. Только что он лениво моросил, а тут вдруг хлынул настоящим ливнем. Мокрец тихонько застонал, поднял голову и вдруг задышал часто-часто, как загнанный. Виктор все еще медлил, инстинктивно осматриваясь в поисках какого-нибудь навеса.

— Положите меня,— сказал мокрец.

— В лужу? — язвительно и горько спросил Виктор.

— Это безразлично... Положите.

Виктор осторожно опустил его на керамические плитки крыльца, и мокрец сразу раскинул руки и вытянулся. Правая нога его была неестественно вывернута, огромный лоб в свете сильной лампы казался синевато-белым. Виктор сел рядом на ступеньки. Ему очень хотелось

уйти в вестибюль, но это было невозможно — оставить под проливным дождем раненого человека, а самому уйти в тепло. «Сколько раз меня сегодня называли дураком? — подумал он, обтирая лицо ладонью. — Ох, что-то много. И кажется, доля истины в этом есть, поскольку дурак, он же болван, он же кретин и прочее — это невежда, упорствующий в своем невежестве. А ведь, ей-богу, ему под дождем лучше! И глаза открыл, и не такие они у него страшные... Мокрец — подумал он. — Да, пожалуй, скорее мокрец, чем очкарик. Как это его в капкан занесло? И откуда здесь капкан? Второго мокреца сегодня встречаю, и у обоих неприятности. У них неприятности, и у меня из-за них неприятности...»

Диана в вестибюле говорила по телефону. Виктор прислушался.

— Noga!.. Да. Раздроблена кость... Хорошо... Ладно... Скорее, мы ждем.

Сквозь стеклянную дверь Виктор увидел, как она повесила трубку и побежала вверх по лестнице. «Что-то у нас в городе стало с мокрецами нехорошо. Возня какая-то вокруг них. Что-то они всем стали мешать, даже директору гимназии. Даже Лоле, — вспомнил он вдруг. — Кажется, она тоже проходилась насчет них...» Он поглядел на мокреца. Мокрец смотрел на него.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Виктор. Мокрец молчал. — Вам что-нибудь нужно? — спросил Виктор, повышая голос. — Глоток жину?

— Не орите, — сказал мокрец. — Я слышу.

— Больно? — сочувственно спросил Виктор.

— А вы как думаете?

«На редкость неприятный человек, — подумал Виктор. — Впрочем, бог с ним — встретились и разошлись. А ему больно...»

— Ничего, — сказал он. — Потерпите еще несколько минут. Сейчас за вами приедут.

Мокрец ничего не ответил, лоб его сморщился, глаза закрылись. Он стал похож на мертвого — плоский и неподвижный под проливным дождем. На крыльцо выскочила Диана с докторским чемоданчиком, присела рядом и стала что-то делать с покалеченной ногой. Мокрец тихонько зарычал, но Диана не произнесла успокаивающих слов, какие обычно говорят в таких случаях врачи. «Тебе помочь?» — спросил Виктор. Она не ответила. Он поднялся, и Диана, не поворачивая головы, проговорила: «Подожди, не уходи».

— Я не уйду, — сказал Виктор. Он смотрел, как она ловко накладывает шину.

— Ты еще понадобишься, — сказала Диана.

— Я не уйду, — повторил Виктор.

— Вообще-то ты можешь сбегать наверх. Сбегай, хлебни чего-нибудь, пока есть время, но потом сразу возвращайся.

— Ничего, — сказал Виктор. — Обойдусь.

Потом где-то за пеленой дождя зарычал мотор, вспыхнули фары. Виктор увидел какой-то джип, осторожно заворачивающий в ворота. Джип подкатил к крыльцу, и из него грузно выбрался Юл Голем в своем неуклюжем плаще. Он поднялся по ступенькам, нагнулся над мокрецом, взял его руку. Мокрец глухо сказал:

— Никаких уколов.

— Ладно,— сказал Голем и посмотрел на Виктора. — Берите его.

Виктор взял мокреца на руки и понес к джипу. Голем обогнал его, распахнул дверцу и залез внутрь.

— Давайте его сюда,— сказал он из темноты. — Нет, ногами вперед... Смелее... Придержите за плечи...

Он сопел и возился в машине. Мокрец снова зарычал, и Голем сказал ему что-то непонятное, а может быть, выругался, что-то вроде: «Шесть углов на шее...» Потом он вылез наружу, захлопнул дверцу и, усаживаясь за руль, спросил Диану:

— Вы им звонили?

— Нет,— ответила Диана. — Позвонить?

— Теперь уж не стоит,— сказал Голем,— а то они все законопатят до свидания.

Джип тронулся с места, обогнул клумбу и укатил по аллее.

— Пойдем,— сказала Диана.

— Поплывем,— сказал Виктор. Теперь, когда все кончилось, он не чувствовал ничего больше, кроме раздражения.

В вестибюле Диана взяла его под руку.

— Ничего,— сказала она. — Сейчас переоденешься в сухое, выпьешь водочки, и все станет хорошо.

— Течет, как с мокрой собаки,— сердито пожаловался Виктор. — И потом, может быть, ты объяснишь наконец, что здесь произошло? Диана устало вздохнула:

— Да ничего здесь особенного не произошло. Не надо было фонарик забывать.

— А капканы на дорогах — это у вас в порядке вещей?

— Бургомистр ставит, сволочь...

Они поднялись на второй этаж и пошли по коридору.

— Он сумасшедший? — осведомился Виктор. — Это же уголовное дело. Или он действительно сумасшедший?

— Нет. Он просто сволочь и ненавидит мокрецов. Как и весь город.

— Это я заметил. Мы их тоже не любили, но капканы... А что мокрецы им сделали?

— Надо же кого-то ненавидеть,— сказала Диана. — В одних местах ненавидят евреев, где-то еще — негров, а у нас мокрецов.

Они остановились перед дверью, Диана повернула ключ, вошла и зажгла свет.

— Подожди,— сказал Виктор, озираясь. — Куда ты меня привела?

— Это лаборатория,— ответила Диана. — Я сейчас...

Виктор остался в дверях и смотрел, как она ходит по огромной комнате и закрывает окна. Под окнами темнели лужи.

— А что он здесь делал ночью? — спросил Виктор.

— Где? — спросила Диана, не оборачиваясь.

— На тропинке... Ты ведь знала, что он здесь?

— Ну, понимаешь,— сказала она,— в лепрозории плохо с медикаментами. Иногда они приходят к нам, просят...

Она закрыла последнее окно и прошлась по лаборатории, оглядывая столы, заставленные приборами и химической посудой.

— Гнусно все это,— сказал Виктор. — Ну и государство. Куда ни поедешь — везде какая-нибудь дрянь... Пошли, а то я замерз.

— Сейчас,— сказала Диана.

Она взяла со стула какую-то темную одежду и встряхнула ее. Это был мужской вечерний костюм. Она аккуратно повесила его в шкафчик для одежды. «Откуда здесь костюм? — подумал Виктор. — При чем, какой-то знакомый костюм...»

— Ну вот,— сказала Диана. — Ты как хочешь, а я сейчас залезу в горячую ванну.

— Послушай, Диана,— сказал Виктор осторожно. — А кто был этот... с таким вот носом... желтолицый? С которым ты плясала?

Диана взяла его за руку

— Видишь ли,— сказала она, помолчав,— это мой муж... Бывший муж.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Давно я вас не видел в городе,— сказал Павор насморочным голосом.

— Не так уж давно,— возразил Виктор,— всего два дня.

— Можно с вами посидеть, или вы хотите побыть вдвоем? — спросил Павор

— Садитесь,— вежливо сказала Диана.

Павор сел напротив нее и крикнул: «Официант, двойной коньяк!» Смеркалось, швейцар задергивал шторы на окнах Виктор включил торшер.

— Я вами восхищаюсь,— обратился Павор к Диане. — Жить в таком климате и сохранить прекрасный цвет лица... — Он чихнул — Извините. Эти дожди меня доконают... Как работается? — спросил он Виктора.

— Неважно. Не могу я работать, когда пасмурно, — все время хочется выпить.

— Что это за скандал вы учинили у полицмейстера? — спросил Павор.

— А, чепуха,— сказал Виктор. — Искал справедливости.

— А что случилось?

— Скотина бургомистр охотится на мокрецов с капканами. Один попался, повредил ногу. Я взял этот капкан, пошел в полицию и потребовал расследования.

— Так,— сказал Павор. — А дальше?

— В этом городе странные законы. Поскольку заявления от потерпевшего не было, а был несчастный случай, в коем никто, кроме потерпевшего, не повинен... Я сказал полицмейстеру, что приму это к сведению, а он мне объявил, что это угроза, на чем мы и растались.

— А где все это случилось? — спросил Павор.

— Около санатория.

— Около санатория? Что это мокрецу понадобилось около санатория?

— По-моему, это никого не касается,— резко сказала Диана.

— Конечно,— сказал Павор,— я просто удивился... — Он сморщился, зажмурил глаза и со звоном чихнул. — Фу, черт,— сказал он. — Прошу прощения.

Он полез в карман и вытащил большой носовой платок. Что-то со стуком упало на пол. Виктор нагнулся. Это был кастет. Виктор поднял его и протянул Павору.

— Зачем вы это таскаете? — спросил он.

Павор, зарывшись лицом в носовой платок, смотрел на кастет покрасневшими глазами.

— Это все из-за вас,— произнес он сдавленным голосом и высморгался. — Это вы меня напугали своим рассказом... А между прочим, говорят, что здесь действует какая-то местная банда. То ли бандиты, то ли хулиганы. А мне, знаете ли, не нравится, когда меня бьют.

— Вас часто бьют? — спросила Диана.

Виктор посмотрел на нее. Она сидела в кресле, положив ногу на ногу, и курила, опустив глаза. Бедный Павор, подумал Виктор. Сейчас тебя отошлют... Он протянул руку и одернул юбку у нее на коленях.

— Меня? — сказал Павор. — Неужели у меня вид человека, которого часто бьют? Это надо поправить. Официант, еще двойной коньяк!.. Да, так на следующий день я зашел в слесарные мастерские, и мне там в два счета смастерили эту штучку. — Он с довольным видом осмотрел кастет. — Хорошая штучка, даже Голему понравилась...

— Вас так и не пустили в лепрозорий? — спросил Виктор.

— Нет. Не пустили и, надо понимать, не пустят. Я уже разуверился. Я написал жалобы в три департамента, а теперь сижу и сочиняю отчет. На какую сумму лепрозорий получил в минувшем году подштаников. Отдельно мужских, отдельно женских. Дьявольски увлекательно.

— Напишите, что у них не хватает медикаментов,— посоветовал

Виктор. Павор удивленно поднял брови, а Диана лениво сказала:

— Лучше бросьте вашу писанину, а выпейте стакан горячего вина и ложитесь в постель.

— Намек понял,— сказал Павор со вздохом. — Придется идти... Вы знаете, в каком я номере? — спросил он Виктора. — Навестили бы как-нибудь.

— Двести двадцать третий,— сказала Виктор. — Обязательно.

— До свидания,— сказал Павор, поднимаясь,— желаю приятно провести вечер.

Они смотрели, как он подошел к стойке, взял бутылку красного вина и направился к выходу.

— Язык у тебя длинный,— сказала Диана.

— Да,— согласился Виктор. — Виновен. Понимаешь, он мне чем-то нравится.

— А мне — нет,— сказала Диана.

— И доктору Р. Квадриге тоже — нет. Интересно, почему?

— Морда у него мерзкая,— ответила Диана. — Белокурая бестия. Знаю я эту породу. Настоящие мужчины. Без чести, без совести, повелители дураков.

— Вот тебе и на,— удивился Виктор. — А я-то думал, что такие мужчины должны тебе нравиться.

— Теперь нет мужчин,— возразила Диана. — Теперь либо фашисты, либо бабы.

— А я? — осведомился Виктор с интересом.

— Ты? Ты слишком любишь маринованные миноги. И одновременно — справедливость.

— Правильно. Но, по-моему, это хорошо.

— Это неплохо. Но если бы тебе пришлось выбирать, ты бы выбрал миноги, вот что плохо. Тебе повезло, что у тебя талант.

— Что это ты такая злая сегодня? — спросил Виктор.

— А я вообще злая. У тебя — талант, у меня — злость. Если у тебя отобрать талант, а у меня — злость, то останутся два совокупляющихся нуля.

— Нуль нулю рознь,— заметил Виктор. — Из тебя даже нуль получился бы неплохой — стройный, прекрасно сложенный нуль. И кроме того, если у тебя отобрать твою злость, ты станешь доброй, что тоже, в общем, неплохо...

— Если у меня отобрать мою злость, я стану медузой. Чтобы я стала доброй, нужно заменить злость добротой.

— Забавно,— сказал Виктор. — Обычно женщины не любят рассуждать. Но уж когда они начинают, то становятся удивительно категоричными. Откуда ты, собственно, взяла, что у тебя только злость и никакой доброты? Так не бывает. Доброта в тебе тоже есть, только она незаметна за злостью. В каждом человеке намешано всего понемнож-

ку, а жизнь выдавливает из этой смеси что-нибудь одно на поверхность...

В зал ввалилась компания молодых людей, и сразу стало шумно. Молодые люди вели себя непринужденно: они обругали официанта, погнали его за пивом, а сами обсели столик в дальнем углу и принялись громко разговаривать и хохотать во все горло. Здоровенный губастый дылда с румяными щеками, прищелкивая на ходу пальцами и пританцовывая, направился к стойке. Тэдди ему что-то подал, он, оттопырив мизинец, взял рюмку двумя пальцами, повернулся к стойке спиной, оперся на нее локтями и скрестил ноги, победительно оглядывая пустой зал. «Привет Диане! — заорал он. — Как жизнь?» Диана равнодушно улыбнулась ему.

— Что это за диво? — спросил Виктор.

— Некий Фламин Ювента, — ответила Диана. — Племянничек полицеймейстера.

— Где-то я его видел, — сказал Виктор.

— Да ну его к черту, — нетерпеливо сказала Диана. — Все люди — медузы, и ничего в них такого не намешано. Попадаются изредка настоящие, у которых есть что-нибудь свое — доброта, талант, злость... отними у них это, и ничего не останется, станут медузами, как все. Ты, кажется, вообразил, что нравишься мне своим пристрастием к миногам и справедливости? Чепуха! У тебя талант, у тебя книги, у тебя известность, а в остальном ты такая же дремучая рохля, как и все.

— То, что ты говоришь, — объявил Виктор, — до такой степени неправильно, что я даже не обижаюсь. Но ты продолжай, у тебя очень интересно меняется лицо, когда ты говоришь. — Он закурил и передал ей сигарету. — Продолжай.

— Медузы, — сказала она горько. — Скользкие глупые медузы. Копшатся, ползают, стреляют, сами не знают, чего хотят, ничего не умеют, ничего по-настоящему не любят... как черви в сортире...

— Это неприлично, — сказал Виктор. — Образ, несомненно, выпуклый, но решительно неаппетитный. И вообще все это банальности. Диана, милая моя, ты не мыслитель. В прошлом веке и в провинции это еще как-то звучало бы... общество по крайней мере было бы сладко шокировано, и бледные юноши с горящими глазами таскались бы за тобой по пятам. Но сегодня это уже очевидности. Сегодня уже все знают, что есть человек. Что с человеком делать — вот вопрос. Да и тот, признаться, уже навяз на зубах.

— А что делают с медузами?

— Кто? Медузы?

— Мы.

— Насколько я знаю — ничего. Консервы, кажется, из них делают.

— Ну и ладно, — сказала Диана. — Ты что-нибудь наработал за это время?

— А как же! Я написал страшно трогательное письмо своему другу Роц-Тусову. Если после этого письма он не устроит Ирму в пансион, значит я никуда не годен.

— И это все?

— Да,— сказал Виктор. — Все остальное я выбросил.

— Господи! — сказала Диана. — А я-то за тобой ухаживала, старалась не мешать, отгоняла Росшепера...

— Купала меня в ванне,— напомнил Виктор.

— Купала тебя в ванне, поила тебя кофе...

— Погоди,— сказал Виктор,— но ведь я тоже купал тебя в ванне..

— Все равно.

— Как это — все равно? Ты думаешь, легко работать, выкупав тебя в ванне? Я сделал шесть вариантов описания этого процесса, и все они никуда не годятся.

— Дай почитать.

— Только для мужчин,— сказал Виктор. — Кроме того, я их выбросил, разве я тебе не сказал? И вообще там было так мало патриотизма и национального самосознания, что это все равно никому нельзя было бы показать.

— Скажи, а ты как — сначала напишешь, а потом уже вставляешь национальное самосознание?

— Нет,— сказал Виктор. — Сначала я проникаюсь национальным самосознанием до глубины души: читаю речи господина Президента, зубрю наизусть богатырские саги, посещаю патриотические собрания. Потом, когда меня начинает рвать — не тошнить, а уже рвать,— я принимаюсь за дело... Давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, что мы будем делать завтра.

— Завтра у тебя встреча с гимназистами.

— Это быстро. А потом?

Диана не ответила. Она смотрела мимо него. Виктор обернулся. К ним подходил мокрец — во всей своей красе: черный, мокрый, с повязкой на лице.

— Здравствуйте,— сказал он Диане. — Голем еще не вернулся?

Виктор поразился, какое лицо сделалось у Дианы. Как на старинной картине. Даже не на картине — на иконе. Странная неподвижность черт, и ты недоумевал, то ли это замысел мастера, то ли бессилие ремесленника. Она не ответила. Она молчала, и мокрец тоже молча смотрел на нее, и никакой неловкости не было в этом молчании — они были вместе, а Виктор и все прочие были отдельно. Виктору это очень не понравилось.

— Голем, наверное, сейчас придет,— сказал он громко.

— Да,— сказала Диана. — Присядьте, подождите.

У нее был обычный голос, и она улыбалась мокрецу равнодушной

улыбкой. Все было как обычно — Виктор был с Дианой, а мокрец и все прочие были отдельно.

— Прошу! — весело сказал Виктор, указывая на кресло доктора Р. Квадриги.

Мокрец сел, положив на колени руки в черных перчатках. Виктор налил ему коньяку. Мокрец привычно-небрежным жестом взял рюмку, покачал, как бы взвешивая, и снова поставил на стол.

— Я надеюсь, вы не забыли? — сказал он Диане.

— Да, — сказала Диана. — Да, сейчас принесу. Виктор, дай мне ключ от номера, я сейчас вернусь.

Она взяла ключ и быстро пошла к выходу. Виктор закурил. «Что это с тобой, приятель? — сказал он себе. — Что-то тебе слишком многое мерещится в последнее время. Нежный ты стал какой-то, чувствительный... Ревнивый. А зря. Тебя это совершенно не касается — все эти бывшие мужья, все эти странные знакомства... Диана — это Диана, а ты — это ты. Росшепер импотент? Импотент. Вот и будет с тебя...» Он знал, что все это не так просто, что он уже проглотил какую-то отраву, но он сказал себе: хватит, и сегодня — сейчас, пока — ему удалось убедить себя, что действительно хватит.

Мокрец сидел напротив, и подвижный и страшный, как чучело. От него пахло сыростью, и еще чем-то, какой-то медициной. «Мог ли я подумать, что когда-нибудь буду сидеть с мокрецом в ресторане за одним столиком?... Прогресс, ребята, движется куда-то понемногу. Или это мы стали такие всеядные: дошло до нас наконец, что все люди — братья? Человечество, друг мой, я горжусь тобою... А вы, сударь, отдали бы свою дочь за мокреца?..»

— Моя фамилия — Банев, — представился Виктор и спросил: — Как здоровье вашего... пострадавшего? Того, что попал в капкан.

Мокрец быстро повернул к нему лицо. Смотрит, как через брус-тер, подумал Виктор.

— Удовлетворительно, — ответил мокрец сухо.

— На его месте я бы подал заявление в полицию.

— Не имеет смысла, — сказал мокрец.

— Почему же? — сказал Виктор. — Не обязательно обращаться в местную полицию, можно обратиться в окружную...

— Нам это не нужно.

Виктор пожал плечами.

— Каждое ненаказанное преступление рождает новое преступление.

— Да. Но нас это не интересует.

Они помолчали. Потом мокрец сказал:

— Меня зовут Зурзматор.

— Знаменитая фамилия, — вежливо сказал Виктор. — Вы не родственник Павлу Зурзматору, социологу?

Мокрец прищурил глаза.

— Даже не однофамилец,— сказал он. — Мне говорили, Банев что завтра вы выступаете в гимназии...

Виктор не успел ответить. За спиной у него двинули кресло, и молодцеватый баритон произнес:

— А ну, зараза, пошел отсюда вон!

Виктор обернулся. Над ним возвышался губастый Фламин Ювента или как его там, словом, племянничек. Виктор глядел на него не дольше секунды, но уже чувствовал сильнейшее раздражение.

— Вы это кому, молодой человек? — осведомился он.

— Вашему приятелю,— любезно сообщил Фламин Ювента и снова гаркнул: — Тебе говорят, мокрая шкура!

— Одну минуточку,— сказал Виктор и встал.

Фламин Ювента, ухмыляясь, смотрел на него сверху вниз. Этаким юный Голиаф в спортивной куртке, сверкающей многочисленными эмблемами, наш простейший отечественный штурмфюрер, верная опора нации с резиновой дубинкой в заднем кармане, проза левых, правых и умеренных. Виктор протянул руку к его галстуку и спросил, изображая озабоченность и любопытство: «Что это у вас такое?» И когда юный Голиаф машинально наклонил голову, чтобы поглядеть, что у него там такое, Виктор крепко ущепил его нос большим и указательным пальцем. «Эй!» — ошеломленно воскликнул юный Голиаф и попытался вырваться, но Виктор его не выпустил и некоторое время старательно и с ледяным наслаждением крутил и выворачивал этот наглый крепкий нос, приговаривая: «Веди себя прилично, щенок, племянничек, штурмовичок вшивый, сукин сын, хамло...» Позиция была исключительно удобной: юный Голиаф отчаянно лягался, но между ними было кресло, юный Голиаф месил воздух кулаками, но руки у Виктора были длиннее, и Виктор все крутил, вращал, драл и вывертывал, пока у него над головой не пролетела бутылка. Тогда он оглянулся: на него, раздвигая столы и опрокидывая кресла, с грохотом неслась вся банда — пятеро, причем двое из них очень рослые. На мгновение все застыло, как на фотоснимке,— черный Зурзмансор, спокойно откинувшийся в кресле; Тэдди, повисший в прыжке над стойкой; Диана с белым свертком посередине зала; а на заднем плане в дверях — свирепое усатое лицо швейцара; и совсем рядом — злобные морды с разинутыми пастьми. Затем фотография кончилась и началось кино.

Первого верзилу Виктор очень удобно сшиб ударом по скуле. Тот исчез и некоторое время не появлялся. Но другой верзила попал Виктору в ухо. Кто-то еще ударил его ребром ладони по щеке — видимо, промахнулся по горлу. А еще кто-то — освободившийся Голиаф — прыгнул на него сзади. Все это было грубое уличное хулиганье, опора нации — только один из них знал бокс, а остальные

жаждали не столько драться, сколько увечить: выдавить глаз, разорвать рот, лягнуть в пах. Будь Виктор один, они бы его искалечили, но с тыла на них набежал Тэдди, который свято исповедывал золотое правило всех вышибал — гасить любую драку в самом зародыше; а с фланга появилась Диана, Диана Бешеная, оскаленная ненавистью, непохожая на себя, уже без белого пакета, а с тяжелой оплетенной бутылкой в руках; и еще подоспел швейцар, человек хотя и пожилой, но, судя по ухваткам, бывший солдат — он действовал связкой ключей, словно это был ремень со штыком в ножнах. Так что когда из кухни прибежали два официанта, делать им было уже нечего. Племянничек удрал, забыв на столике свой транзистор. Один из молодчиков остался лежать под столом — это был тот, которого Диана свалила бутылкой, остальных же четверых Виктор с Тэдди, подбадривая друг друга удалыми возгласами, буквально вынесли из зала на кулаках, прогнали через вестибюль и пинками выбили в вертящуюся дверь. По инерции они вылетели наружу сами и только там, под дождем, осознали полную победу и несколько успокоились.

— Сопляки паршивые, — сказал Тэдди, закуривая сразу две сигареты — себе и Виктору. — Манеру взяли — каждый четверг буянить. Прошлый раз недоглядел — два кресла сломали. А кому платить? Мне! Виктор щупал распухающее ухо.

— Племянничек ушел, — сказал он с сожалением. — Так я до него как следует и не добрался.

— Это хорошо, — сказал Тэдди деловито. — С этим губастым лучше не связываться. Дядюшка у него знаешь кто, да и сам он... опора Родины и Порядка, или как они там называются... А драться ты, господин писатель, наострился. Такой, помню, хлипкий сопляк был — тебе, бывало, дадут, а ты и под стол. Молодец.

— Такая уж у меня профессия, — вздохнул Виктор. — Продукт борьбы за существование. У нас ведь как — все на одного. А господин Президент за всех.

— Неужели до драки доходит? — простодушно удивился Тэдди.

— А ты думал! Напишут на тебя похвальную статью, что ты-де проникнут национальным самосознанием, идешь искать критика, а он уже с компанией — и все молодые, задорные крепыши, дети Президента...

— Надо же, — сказал Тэдди сочувственно. — И что?

— По-разному. И так бывает и эдак.

К подъезду подкатил джип, отворилась дверца, и под дождь, прикрываясь одним плащом, вылезли молодой человек в очках и с портфелем и его долговязый спутник. Из-за руля выбрался Голем. Долговязый с острым, каким-то профессиональным интересом смотрел, как швейцар выбивает через вертящуюся дверь последнего буяна, еще не вполне пришедшего в себя.

— Жалко, этого не было,— шепотом сказал Тэдди, указывая глазами на должговязого. — Вот это мастер! Это тебе не ты. Профессионал, понял?

— Понял,— тоже шепотом ответил Виктор.

Молодой человек с портфелем и должговязый рысцой пробежали мимо и нырнули в подъезд. Голем неторопливо двинулся было следом, уже издали улыбаясь Виктору, но дорогу ему заступил господин Зурзмансор с белым свертком под мышкой. Он что-то сказал вполголоса, после чего Голем перестал улыбаться и вернулся в машину. Зурзмансор пробрался на заднее сиденье, и джип укатил.

— Эх! — сказал Тэдди. — Не того мы били, господин Банев. Люди кровь из-за него проливают, а он сел в чужую машину и уехал.

— Ну, это ты зря,— сказал Виктор. — Больной, несчастный человек, сегодня он, завтра ты. Мы с тобой сейчас пойдем и выпьем, а его в лепрозорий повезли.

— Знаем мы, куда его повезли! — непримиримо сказал Тэдди. — Ничего ты не понимаешь в нашей жизни, писатель.

— Отрываясь от нации?

— От нации не от нации, а жизнь нашу ты не знаешь. Поживи-ка у нас: который год дожди, на полях все погнило, дети от рук отбились... Да чего там — ни одной кошки в городе не осталось, от мышей спасенья нет... Э-эх! — сказал он, махнув рукой. — Пошли уж.

Они вернулись в вестибюль, и Тэдди спросил швейцара, уже занявшего свой пост:

— Что? Много наломали?

— Да нет,— ответил швейцар. — Можно считать, что обошлось. Торшер один покалечили, стену загадили, а деньги я у этого... у последнего отобрал, на вот, возьми.

На ходу считая деньги, Тэдди прошел в ресторан. Виктор последовал за ним. В зале опять установился покой. Молодой человек в очках и должговязый уже скучали над бутылкой минеральной воды, меланхолично пережевывая дежурный ужин. Диана сидела на прежнем месте, очень оживленная, очень хорошенькая, и даже улыбалась занявшему свое кресло доктору Р. Квадриге, которого обычно не терпела. Перед Р. Квадригой стояла бутылка рому, но он был еще трезв и потому выглядел странно.

— С викторией! — мрачно приветствовал он Виктора. — Сожалею, что не присутствовал при сем хотя бы мичманом.

Виктор рухнул в кресло.

— Красивое ухо,— сказал Р. Квадрига. — Где ты такое достал? Как петушинный гребень.

— Коньяку! — потребовал Виктор. Диана налила ему коньяку. — Ей и только ей обязан я викторией своею,— сказал он, показывая на Диану. — Ты заплатила за бутылку?

— Бутылка не разбилась,— сказала Диана. — За кого ты меня принимаешь? Но как он упал! Боже мой, как он чудесно свалился! Все бы так...

— Приступим,— мрачно сказал Р. Квадрига и налил себе полный стакан рому.

— Покатился, как манекен,— сказала Диана. — Как кегля... Виктор, у тебя все цело? Я видела, как тебя били ногами.

— Главное цело,— ответил Виктор. — Я специально защищал.

Доктор Р. Квадрига со скворчанием всосал в себя последние капли рома из стакана, совершенно как кухонная раковина всасывает остатки воды после мытья посуды. Глаза у него сразу посоловели.

— Мы знакомы,— поспешно сказал Виктор. — Ты — доктор Рем Квадрига, я — писатель Банев...

— Брось,— сказал Р. Квадрига. — Я совершенно трезв. Но я сопьюсь. Это единственное, в чем я сейчас уверен. Вы не можете себе представить, но я приехал сюда полгода назад абсолютно непьющим человеком. У меня больная печень, катар кишок и еще что-то с желудком. Мне абсолютно запрещено пить, а я теперь пьянствую круглые сутки... Я абсолютно никому не нужен. Никогда в жизни этого со мной не бывало. Я даже писем не получаю, потому что старые друзья сидят без права переписки, а новые неграмотны...

— Никаких государственных тайн,— сказал Виктор. — Я неблагонадежен.

Р. Квадрига снова наполнил стакан и принялся прихлебывать ром, как остывший чай.

— Так лучше действует,— сообщил он. — Попробуй, Банев. Пригодится... И нечего на меня смотреть! — сказал он вдруг Диане бешено. — Попрошу скрывать свои чувства! А если вам не нравится...

— Тихо, тихо,— сказал Виктор, и Р. Квадрига скис.

— Они ни черта во мне не понимают,— сказал он жалобно. — Никто. Только ты немножко понимаешь. Ты меня всегда понимал. Только ты очень грубый, Банев, и всегда меня ранил. Я весь израненный... Они теперь боятся меня ругать, они теперь только хвалят. Как похвалит какая-нибудь сволочь — рана. Другая сволочь похвалит — другая рана. Но теперь все это позади. Они еще не знают... Слушай, Банев! Какая у тебя замечательная женщина... Я тебя прошу... Попроси ее, пусть придет ко мне в студию... Да нет, дурак! Натурщица! Ты ничего не понимаешь, я такую натурщицу ищу десять лет...

— Аллегорическая картина,— пояснил Виктор Диане. — «Президент и Вечно Юная Нация»...

— Дурак,— грустно сказал Р. Квадрига. — Вы все думаете, что я продаюсь... Ну, правильно, было! Но я больше не пишу президентов... Автопортрет! Понимаешь?

— Нет,— признался Виктор. — Не понимаю. Ты хочешь писать свой портрет с Дианы?

— Дурак,— сказал Р. Квадрига. — Это будет лицо художника...

— Моя задница,— объяснила Диана Виктору.

— Лицо художника! — повторил Р. Квадрига. — Ты ведь тоже художник... И все, кто сидит без права переписки... и все, кто лежит без права переписки, и все, кто живет в моем доме... то есть не живет... Ты знаешь, Банев, я боюсь. Я ведь тебя просил: приди, поживи у меня хоть немного. У меня вилла, фонтан... А садовник сбежал. Трус... Сам я там жить не могу, в гостинице лучше... Ты думаешь, я пью, потому что продался? Дудки, это тебе не модный роман... Поживешь у меня немного и разберешься... Может быть, ты даже их узнаешь. Может быть, это вовсе не мои знакомые, может быть, это твои. Тогда бы я знал, почему они меня не узнают... Ходят босые... Смеются... — Глаза его вдруг наполнились слезами. — Господа! — сказал он. — Какое счастье, что с нами нет этого Павора! Ваше здоровье.

— Будь здоров,— сказал Виктор, переглянувшись с Дианой. Диана смотрела на Р. Квадригу с брезгливой тревогой. — Никто здесь не любит Павора,— сказал он. — Один я урод какой-то.

— Тихий омут,— произнес доктор Р. Квадрига. — И прыгнувшая лягушка. Болтун. Всегда молчит.

— Просто он уже готов,— сказал Виктор Диане. — Ничего страшного...

— Господа! — сказал доктор Р. Квадрига. — Сударыня! Я считаю своим долгом представиться! Рем Квадрига, доктор гонорис кауза.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Виктор пришел в гимназию за полчаса до назначенного времени, но Бол-Кунац уже ждал его. Впрочем, он был мальчиком тактичным, он только сообщил Виктору, что встреча состоится в актовом зале, и сейчас же ушел, сославшись на неотложные дела. Оставшись один, Виктор побрел по коридорам, заглядывая в пустые классы, вдыхая забытые ароматы чернил, мела, никогда не оседающей пыли, запахи драк «до первой крови», изнурительных допросов у доски, запахи тюрьмы, бесправия, лжи, возведенной в принцип. Он все надеялся вызвать в памяти какие-то сладкие воспоминания о детстве и юношестве, о рыцарстве, о товариществе, о первой чистой любви, но ничего из этого не получалось, хотя он очень старался, готовый умилиться при первой возможности. Все здесь оставалось по-прежнему — и светлые затхлые классы, и поцарапанные доски, парты, изрезанные закрашенными инициалами и апокрифическими надписями про жену и правую руку, и казематные стены, выкрашенные до половины веселой зеленой краской, и сбитая штукатурка на углах — все оставалось

по-прежнему ненавистно, гадко, наводило злобу и беспросветность.

Он нашел свой класс, хотя и не сразу; нашел свое место у окна, но парта была другая, только на подоконнике все еще виднелась глубоко врезанная эмблема Легиона Свободы, и он живо вспомнил одуряющий энтузиазм тех времен, бело-красные повязки, жестяные копилки «в фонд Легиона», бешеные кровавые драки с красными и портреты во всех газетах, во всех учебниках, на всех стенах — лицо, которое казалось тогда значительным и прекрасным, а теперь стало дряблым и тупым. Такие юные, такие серые, такие одинаковые... И глупые, и этой глупости сейчас не радуешься, не радуешься, что стал умнее, а только обжигающий стыд за себя тогдашнего, серого, деловитого птенца, воображавшего себя ярким, незаменимым и отборным... И еще стыдные детские вожделения, и томительный страх перед девчонкой, о которой ты уже столько нахвастался, что теперь просто невозможно отступить, а на другой день — оглушительный гнев отца и пылающие уши, и все это называется счастливой порой: серость, вожделение, энтузиазм... «Плохо дело,— подумал он. — А вдруг через пятнадцать лет окажется, что и нынешний я так же сер и несвободен, как и в детстве, и даже хуже, потому что теперь я считаю себя взрослым, достаточно много знающим и достаточно пережившим, чтобы иметь основания для самодовольства и для права судить.

Скромность и только скромность, до самоуничтожения... и только правда, никогда не ври, по крайней мере самому себе, не это ужасно: самоуничтожаться, когда вокруг столько идиотов, развратников, корыстных лжецов, когда даже лучшие испещрены пятнами, как прокаженные... Хочешь ты снова стать юным? Нет. А хочешь ты прожить еще пятнадцать лет? Да. Потому что жить — это хорошо. Даже когда получаешь удары. Лишь бы иметь возможность бить в ответ... Ну ладно, хватит. Остановимся на том, что настоящая жизнь есть способ существования, позволяющий наносить ответные удары. А теперь пойдем и посмотрим, какими они стали...»

В зале было довольно много ребятишек, и стоял обычный гам, который стих, когда Бол-Кунац вывел Виктора на сцену и усадил под огромным портретом Президента — даром доктора Р. Квадриги — за стол, покрытый красно-белой скатертью. Потом Бол-Кунац вышел на край сцены и сказал:

— Сегодня с нами будет беседовать известный писатель Виктор Банев, уроженец нашего города. — Он повернулся к Виктору: — Как вам удобнее, господин Банев, чтобы вопросы задавали с места или в письменном виде?

— Мне все равно,— сказал Виктор легкомысленно. — Лишь бы их было побольше.

— В таком случае, прошу вас.

Бол-Кунац прыгнул со сцены и сел в первом ряду. Виктор почесал

бровь, оглядывая зал. Их было человек пятьдесят — мальчиков и девочек в возрасте от десяти до четырнадцати лет, и они смотрели на него со спокойным ожиданием. «Похоже, тут одни вундеркинды», — подумал он мельком. Во втором ряду справа он увидел Ирму и улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ.

— Я учился в этой самой гимназии, — начал Виктор, — и на этой самой сцене мне довелось однажды играть Озрика. Роли я не знал, и мне пришлось сочинять ее на ходу. Это было первое, что я сочинил в своей жизни не под угрозой двойки. Говорят, что теперь стало учиться труднее, чем в мое время. Говорят, у вас появились новые предметы, и то, что мы проходили за три года, вы должны проходить за год. Но вы, наверное, не замечаете, что стало труднее. Ученые полагают, что человеческий мозг способен вместить гораздо больше сведений, нежели кажется на первый взгляд обыкновенному человеку. Надо только уметь эти сведения впитать... «Ага, — подумал он, — сейчас я им расскажу про гипнопедию». Но тут Бол-Кунац передал ему записку: «Не надо рассказывать о достижениях науки. Говорите с нами, как с равными. Валерьянс, 6 кл.».

— Так, — сказал Виктор. — Тут некий Валерьянс из шестого класса предлагает мне разговаривать с вами, как с равными, и предупреждает, чтобы я не излагал достижения науки... Должен тебе сказать, Валерьянс, что я действительно намеревался сейчас поговорить о достижениях гипнопедии. Однако я охотно откажусь от своего намерения, хотя и считаю долгом проинформировать тебя о том, что большинство равных мне взрослых имеет о гипнопедии лишь самое смутное представление. — Ему было неудобно говорить сидя, он встал и прошелся по сцене. — Должен вам признаться, ребята, что я не любитель встречаться с читателями. Как правило, совершенно невозможно понять, с каким читателем имеешь дело, что ему от тебя надо и что его, собственно, интересует. Поэтому я стараюсь каждое свое выступление превращать в вечер вопросов и ответов. Иногда получается довольно забавно. Давайте начну спрашивать я. Итак... Все ли читали мои произведения?

— Да, — отозвались детские голоса. — Читали... Все...

— Прекрасно, — сказал Виктор озадаченно. — Польщен, хотя и удивлен. Ну, ладно, далее... Желает ли собрание, чтобы я рассказал историю написания какого-нибудь своего романа?

Последовало недолгое молчание, затем в середине зала воздвигся худой прыщавый мальчик, сказал: «Нет» — и сел.

— Прекрасно, — сказал Виктор. — Это тем более хорошо, что вопреки широко распространенному мнению ничего интересного в историях написания не бывает. Пойдемте дальше... Желают ли уважаемые слушатели узнать о моих творческих планах?

Бол-Кунац поднялся и вежливо сказал:

— Видите ли, господин Банев, вопросы, непосредственно связанные с техникой вашего творчества, лучше было бы обсудить в самом конце беседы, когда проявится общая картина.

Он сел. Виктор сунул руки в карманы и снова прошелся по сцене. Становилось интересно или, во всяком случае, необычно.

— А может быть, вас интересуют литературные анекдоты? — вкрадчиво спросил он. — Как я охотился с Хемингуэем. Как Эренбург подарил мне русский самовар. Или что мне сказал Зурзмандор, когда мы встретились с ним в трамвае...

— Вы действительно встречались с Зурзмандором? — спросили из зала.

— Нет, я шучу, — сказал Виктор. — Так что насчет литературных анекдотов?

— Можно вопрос? — сказал, воздвигаясь, прыщавый мальчик.

— Да, конечно.

— Какими бы вы хотели видеть нас в будущем?

«Без прыщей, — мелькнуло в голове у Виктора, но он отогнал эту мысль, потому что понял: становится жарко. Вопрос был сильный. — Хотел бы я, чтобы кто-нибудь сказал мне, каким я хочу видеть себя в настоящем», — подумал он. Однако надо было отвечать.

— Умными, — сказал он наугад. — Честными. Добрыми... Хотел бы, чтобы вы любили свою работу... и работали бы только на благо людей. (Несу, подумал он. Да и как не нести?) Вот примерно так...

Зал тихонько зашумел, потом кто-то спросил, не вставая:

— Вы действительно считаете, что солдат главнее физика?

— Я?! — возмущился Виктор.

— Так я понял из вашей повести «Беда приходит ночью». — Это был белокрылый клоп десяти лет отроду. Виктор крикнул. «Беда» могла быть плохой книгой и могла быть хорошей книгой, но она ни при каких обстоятельствах не была детской книгой. Она до такой степени не была детской книгой, что в ней не разобрался ни один из критиков: все сочли ее порнографическим чтивом, подрывающим мораль и национальное самосознание. И что самое ужасное, белокрылый клоп имел основания полагать, что автор «Беды» считает солдата «главнее» физика — во всяком случае, в некоторых отношениях.

— Дело в том, — сказал Виктор проникновенно, — что... как бы тебе сказать... Всякое бывает.

— Я вовсе не имею в виду физиологию, — возразил белокрылый клоп. — Я говорю об общей концепции книги. Может быть, «главнее» не то слово...

— Я тоже не имею в виду физиологию, — сказал Виктор. — Я хочу сказать, что бывают ситуации, когда уровень знаний не имеет значения.

Бол-Кунац принял из зала и передал ему две записки: «Может ли

считаться честным и добрым человек, который работает на войну?» и «Что такое умный человек?». Виктор начал со второго вопроса — он был проще.

— Умный человек,— сказал он,— это тот человек, который признает несовершенство, незаконченность своих знаний, стремится их пополнить и в этом преуспевает... Вы со мной согласны?

— Нет,— сказала, приподнявшись, хорошенькая девочка.

— А в чем дело?

— Ваше определение не функционально. Любой дурак, пользуясь этим определением, может полагать себя умным. Особенно если окружающие поддерживают его в этом мнении.

«Да,— подумал Виктор. — Его охватила легкая паника. — Это тебе не с братьями-писателями разговаривать».

— В какой-то степени вы правы,— сказал он, неожиданно для себя переходя на «вы». — Но дело в том, что вообще-то «дурак» и «умный» — понятия исторические и, скорее, субъективные.

— Значит, вы сами не беретесь отличить дурака от умного? — Это из задних рядов смуглое существо с прекрасными библейскими глазами, стриженное наголо.

— Отчего же,— сказал Виктор. — Берусь. Но я не уверен, что вы всегда со мной согласитесь. Есть старый афоризм: дурак — это просто инакомыслящий... — Обычно это присловье вызывало у слушателей смех, но сейчас зал молча ждал продолжения. — Или инакочувствующий,— добавил Виктор.

Он остро ощущал разочарование зала, но он не знал, что еще сказать. Контакта не получалось. Как правило, аудитория легко переходит на позиции выступающего, соглашается с его суждениями, и все становится ясно, кто такие дураки, причем подразумевается, что здесь, в этом зале, дураков нет. В худшем случае аудитория не соглашалась и настраивалась враждебно, но и тогда бывало легко, потому что оставалась возможность язвить и высмеивать, а одному спорить с многими нетрудно, так как противники всегда противоречат друг другу, и среди них всегда найдется самый шумный и самый глупый, на котором можно плясать ко всеобщему удовлетворению.

— Я не совсем понимаю,— произнесла хорошенькая девочка. — Вы хотите, чтобы мы были умными, то есть согласно вашему же афоризму мыслили и чувствовали так же, как и вы. Но я прочла все ваши книги и нашла в них только отрицание. Никакой позитивной программы. С другой стороны, вам хотелось бы, чтобы мы работали на благо людей. То есть фактически на благо тех грязных и неприятных типов, которыми наполнены ваши книги. А ведь вы отражаете действительность, правда?

Виктору показалось, что он нащупал наконец дно под ногами.

— Видите ли,— сказал он,— под работой на благо людей я как раз

понимаю превращение людей в чистых и приятных. И это мое пожелание не имеет никакого отношения к моему творчеству. В книгах я пытаюсь изобразить все, как оно есть, я не пытаюсь учить или показывать, что нужно делать. В лучшем случае я показываю объект приложения сил, обращаю внимание на то, с чем нужно бороться. Я не знаю, как изменять людей, если бы я знал, я был бы не модным писателем, а великим педагогом или знаменитым психосоциологом. Художественной литературе вообще противопоказано поучать или вести, предлагать конкретные пути или создавать конкретную методологию. Это можно видеть на примере крупнейших писателей. Я преклоняюсь перед Львом Толстым, но только до тех пор, пока он является своеобразным, уникальным по отражательному таланту зеркалом действительности. А как только он начинает учить меня ходить босиком или подставлять щеку, меня охватывает жалость и тоска... Писатель — это прибор, показывающий состояние общества, и лишь в ничтожной степени — орудие для изменения общества. История показывает, что общество изменяют не литературой, а реформами или пулеметами, а сейчас еще и наукой. Литература в лучшем случае показывает, в кого надо стрелять или что нуждается в изменении... — Он сделал паузу, вспомнив о том, что есть еще Достоевский и Фолкнер. Но пока он придумывал, как бы вернуть насчет роли литературы в изучении подноготной индивидуума, из зала сообщили:

— Простите, но все это довольно тривиально. Дело ведь не в этом. Дело в том, что изображаемые вами объекты совсем не хотят, чтобы их изменяли. И потом они настолько неприятны, настолько запущены, так безнадежны, что их не хочется изменять. Понимаете, они не стоят этого. Пусть уж себе догнивают — они ведь не играют никакой роли. На благо кого же мы должны, по-вашему, работать?

— Ах вот вы о чем! — медленно сказал Виктор.

До него вдруг дошло: «Боже мой, да ведь эти сопляки всерьез полагают, будто я пишу только о подонках, что я всех считаю подонками, но они же ничего не поняли, да и откуда им понять, это же дети, странные дети, болезненно-умные дети, но всего лишь дети, с детским жизненным опытом и с детским знанием людей плюс куча прочитанных книг, с детским идеализмом и с детским стремлением разложить все по полочкам с табличками «плохо» и «хорошо» Совершенно как братья-литераторы...»

— Меня обмануло, что вы говорите, как взрослые, — сказал он — Я даже забыл, что вы не взрослые. Я понимаю, это не педагогично так говорить, но говорить это приходится, иначе мы никогда не выпутаемся. Все дело в том, что вы, по-видимому, не понимаете, как небритый, истеричный, вечно пьяный мужчина может быть замечательным человеком, которого нельзя не любить, перед которым преисклоняешься, полагаешь за честь пожать его руку, потому что он прошел через такой

ад, что и подумать страшно, а человеком все-таки остался. Всех героев моих книг вы считаете нечистыми подонками, но это еще полбеды. Вы считаете, будто и я отношусь к ним так же, как вы. Вот это уже беда. Беда в том смысле, что так мы никогда не поймем друг друга..

Черт его знает, какой реакции он ожидал на свою благодушную отповедь. То ли они начнут смущенно пепеглядываться, или лица их озарятся пониманием, или некий вздох облегчения пронесется по залу в знак того, что недоразумение благополучно разъяснилось и теперь можно все начинать сначала, на новой, более реалистической основе... Во всяком случае, ничего этого не произошло. В задних рядах снова встал мальчик с библейскими глазами и спросил

— Вы не могли бы нам сказать, что такое прогресс?

Виктор почувствовал себя оскорбленным. Ну конечно, подумал он. А потом они спросят, может ли машина мыслить и есть ли жизнь на Марсе. Все возвращается на круги своя.

— Прогресс,— сказал он,— это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга.

— А чем они занимаются? — спросил толстый мальчик справа.

— Выпивают и закусывают квантум сатис,— пробормотал кто-то слева.

— А почему бы и нет? — сказал Виктор. — История человечества знает не так уж много эпох, когда люди могли выпивать и закусывать квантум сатис. Для меня прогресс — это движение к состоянию, когда не топчут и не убивают. А чем они там будут заниматься — это, на мой взгляд, не так уж существенно. Если угодно, для меня прежде всего важны необходимые условия прогресса, а достаточные условия — дело наживное...

— Разрешите мне,— сказал Бол-Кунац. — Давайте рассмотрим такую схему. Автоматизация развивается в тех же темпах, что и сейчас. Тогда через несколько десятков лет подавляющее большинство активного населения Земли выбрасывается из производственных процессов и из сферы обслуживания за ненадобностью. Будет очень хорошо все сыты, топтать друг друга не к чему, никто друг другу не мешает... и никто никому не нужен. Есть, конечно, несколько сотен тысяч человек, обеспечивающих бесперебойную работу старых машин и создание машин новых, но остальные миллиарды друг другу просто не нужны. Это хорошо?

— Не знаю,— сказал Виктор. — Вообще-то это не совсем хорошо... Это как-то обидно... Но должен вам сказать, что это все-таки лучше, чем то, что мы видим сейчас. Так что определенный прогресс все-таки налицо.

— А вы сами хотели бы жить в таком мире?

Виктор подумал.

— Знаете,— сказал он,— я его как-то плохо себе представляю,

но если говорить честно, то было бы недурно попробовать.

— А вы можете представить себе человека, которому жить в таком мире категорически не хочется?

— Конечно, могу. Есть люди, и я таких знаю, которые там бы заскучали. Власть там не нужна, командовать нечем, топтать незачем. Правда, они вряд ли откажутся — все-таки это редчайшая возможность превратить рай в свинарник... или в казарму. Они бы этот мир с удовольствием разрушили... Так что, пожалуй, не могу.

— А ваших героев, которых вы так любите, устроило бы такое будущее?

— Да, конечно. Они обрели бы там заслуженный покой.

Бол-Кунац сел, зато встал прыщавый юнец и, горестно кивая, сказал:

— Вот в этом все дело. Не в том дело, понимаем мы реальную жизнь или нет, а в том дело, что для вас и ваших героев такое будущее вполне приемлемо, а для нас это — могильник. Конец надежд. Конец человечества. Тупик. Вот потому-то мы и говорим, что не хочется тратить силы, чтобы работать на благо ваших жаждущих покоя и по уши перепачканных типов. Вдохнуть в них энергию для настоящей жизни уже невозможно. И как вы там хотите, господин Банев, но вы показали нам в своих книгах — в интересных книгах, я полностью «за», — показали нам не объект приложения сил, а показали нам, что объектов для приложения сил в человечестве нет, по крайней мере — в вашем поколении... Вы сожрали себя, простите, пожалуйста, вы себя растратили на междоусобные драки, на вранье и на борьбу с враньем, которую вы ведете, придумывая новое вранье... Как это у вас поется: «Правда и ложь, вы не так уж несхожи, вчерашняя правда становится ложью, вчерашняя ложь превращается завтра в чистейшую правду, в привычную правду...» Вот так вы и мотаетесь от вранья к вранью. Вы просто никак не можете поверить, что вы уже мертвецы, что вы своими руками создали мир, который стал для вас надгробным памятником. Вы гнили в окопах, вы взрывались под танками, а кому от этого стало лучше? Вы ругали правительство и порядки, как будто вы не знаете, что лучшего правительства и лучших порядков ваше поколение... да попросту недостойно. Вас били по физиономии, простите, пожалуйста, а вы упорно долбили, что человек по природе добр... или того хуже, что человек — это звучит гордо. И кого вы только не называли человеком!..

Прыщавый оратор махнул рукой и сел. Воцарилось молчание. Затем он снова встал и сообщил:

— Когда я говорил «вы», я не имел в виду персонально вас, господин Банев.

— Благодарю вас, — сердито сказал Виктор.

Он ощущал раздражение: этот прыщавый сопляк не имел права

говорить так безапелляционно, это наглость и дерзость... дать по затылку и вывести за ухо из комнаты. Он ощущал неловкость — многое из сказанного было правдой, и он сам думал так же, а теперь попал в положение человека, вынужденного защищать то, что он ненавидит. Он ощущал растерянность — непонятно было, как вести себя дальше, как продолжать разговор и стоит ли вообще продолжать... Он оглядел зал и увидел, что его ответа ждут, что Ирма ждет его ответа, что все эти розовощекие и конопатые чудовища думают одинаково, и прыщавый наглец только высказал общее мнение и высказал его искренне, с глубоким убеждением, а не потому что прочел вчера запрещенную брошюру, что они действительно не испытывают ни малейшего чувства благодарности или хотя бы элементарного уважения к нему, Баневу за то, что он пошел добровольцем в гусары, и ходил на «рейнметаллы» в конном строю, и едва не подох от дизентерии в окружении, и резал часовых самодельным ножом, а потом, уже на гражданке, дал по морде спецуполномоченному, предложившему ему подписать донос, и шлялся без работы с дырой в легких, и спекулировал фруктами, хотя ему предлагали очень выгодные должности... «А почему, собственно, они должны уважать меня за все это? Что я ходил на танки с саблей наголо? Так ведь надо быть идиотом, чтобы иметь правительство, которое довело армию до такого положения...» Тут он содрогнулся, представив себе, какую огромную мыслительную работу должны были проделать эти птенцы, чтобы совершенно самостоятельно прийти к выводам, к которым взрослые приходят, ободрав с себя всю шкуру, обратив душу в развалины, исковеркав свою жизнь и множество соседних жизней... да и то не все, а только некоторые, а большинство и до сих пор считает, что все было правильно и очень здорово, и если понадобится — готовы начать все с начала... Неужели все-таки настали новые времена? Он глядел в зал почти со страхом. Кажется, будущему удалось все-таки запустить щупальца в самое сердце настоящего, и это будущее было холодным, безжалостным, ему было наплевать на все заслуги прошлого — истинные или мнимые.

— Ребята, — сказал Виктор. — Вы, наверное, этого не замечаете, но вы жестоки. Вы жестоки из самых лучших побуждений, но жестокость — это всегда жестокость. И ничего она не может принести, кроме нового горя, новых слез и новых подлостей. Вот что вы имейте в виду. И не воображайте, что вы говорите что-то особенно новое. Разрушить старый мир и на его костях построить новый — это очень старая идея. И ни разу пока она не привела к желаемым результатам. То самое, что в старом мире вызывает особенное желание беспощадно разрушать, особенно легко приспособляется к процессу разрушения, к жестокости, к беспощадности, становится необходимым в этом процессе и непременно сохраняется, становится хозяином в новом мире и в конечном счете убивает смелых разрушителей. Ворон ворону глаз не выклю-

ет, жестокость жестокостью не уничтожишь. Ирония и жалость, ребята! Ирония и жалость!

Вдруг весь зал поднялся. Это было совершенно неожиданно, и у Виктора мелькнула сумасшедшая мысль, что ему удалось наконец сказать нечто такое, что поразило воображение слушателей. Но он уже видел, как от дверей идет мокрец, тощий, легкий, почти нематериальный, словно тень, и дети смотрят на него и не просто смотрят, а тянутся к нему, а он сдержанно поклонился Виктору, пробормотал извинения и сел с краю, рядом с Ирмой, и все дети тоже сели, а Виктор смотрел на Ирму и видел, что она счастлива, что она старается не показать этого, но удовольствие и радость так и брызжут из нее. И прежде чем он успел опомниться, заговорил Бол-Кунац.

— Боюсь, вы не так нас поняли, господин Банев,— сказал он. — Мы совсем не жестоки, а если и жестоки, с вашей точки зрения, то лишь теоретически. Ведь мы вовсе не собираемся разрушать ваш старый мир. Мы собираемся построить новый. Вот вы — жестоки: вы не представляете себе строительство нового без разрушения старого. А мы представляем себе это очень хорошо. Мы даже поможем вашему поколению создать этот ваш рай, выпивайте и закусывайте на здоровье. Строить, господин Банев, только строить. Ничего не разрушать, только строить.

Виктор наконец оторвал взгляд от Ирмы и собрался с мыслями.

— Да,— сказал он. — Конечно. Валяйте, стройте. Я целиком с вами. Вы меня ошеломили сегодня, но я все равно с вами... Не забывайте только, что старые миры приходилось разрушать именно потому, что они мешали... мешали строить новое, не любили новое, давили его...

— Нынешний старый мир,— загадочно сказал Бол-Кунац,— нам мешать не станет. Он будет даже помогать. Прежняя история прекратила течение свое, не надо на нее ссылаться.

— Что ж, тем лучше,— сказал Виктор устало. — Очень рад, что у вас так удачно все складывается...

«Славные мальчики и девочки,— подумал он. — Станные, но славные. Жалко их, вот что... подрастут, полезут друг на друга, размножатся, и начнется работа за хлеб насущный... Нет,— подумал он с отчаяньем. — Может быть, и обойдется...» Он сгреб со стола записки. Их накопилось довольно много: «Что такое факт?», «Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну?», «Почему вы так много пьете?», «Ваше мнение о Шпенглере?»...

— Тут у меня несколько вопросов,— сказал он. — Не знаю, стоит ли теперь...

Прыщавый нигилист поднялся и сказал:

— Видите ли, господин Банев, я не знаю, что там за вопросы, дело-то в том, что это, в общем, не важно. Мы ведь просто хотели познакомиться с современным известным писателем. Каждый известный писа-

тель выражает идеологию общества или части общества, а нам нужно знать идеологов современного общества. Теперь мы знаем больше, чем знали до встречи с вами. Спасибо

В зале зашевелились, загомонили: «Спасибо... Спасибо, господин Банев...» — стали подниматься, выбираться со своих мест, а Виктор стоял, стиснув в кулаке записки, и чувствовал себя болваном, и знал, что красен, что вид имеет растерянный и жалкий, но он взял себя в руки, сунул записки в карман и спустился со сцены.

Самым трудным было то, что он так и не понял, как следует относиться к этим детям. Они были ирреальны, они были невозможны, их высказывания, их отношение к тому, что он писал, и к тому, что он говорил, не имело никаких точек соприкосновения с торчащими косичками, взлохмаченными вихрами, с плохо отмытыми шеями, с цыпками на худых руках, с писклявым шумом, который стоял вокруг. Словно какая-то сила, забавляясь, совместила в пространстве детский сад и диспут в научной лаборатории. Совместила несовместимое. Наверное, так чувствовала себя та подопытная кошка, которой дали кусочек рыбки, почесали за ухом и в тот же момент ударили электрическим током, взорвали под носом пороховой заряд и ослепили прожектором... «Да, — сочувственно сказал Виктор кошке, состояние которой он представил себе сейчас очень хорошо. — Наша с тобой психика к таким шокам не приспособлена, мы с тобой от таких шоков и помереть можем...»

Тут он обнаружил, что завяз. Его обступили и не давали пройти. На мгновение его охватил панический ужас. Он бы не удивился, если бы его сейчас молча и деловито повалили и принялись вскрывать на предмет исследования идеологии. Но они не хотели его вскрывать. Они протягивали ему раскрытые книжки, дешёвые блокнотики, листки бумаги. Они лепетали: «Автограф, пожалуйста!» Они пищали: «Вот здесь, пожалуйста!» Они сипели ломающимися голосами: «Будьте добры, господин Банев!»

И он достал авторучку и принялся свинчивать колпачок, с интересом постороннего прислушиваясь к своим ощущениям, и он не удивился, ощутив гордость. Это были призраки будущего, и пользоваться у них известностью было все-таки приятно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

У себя в номере он сразу полез в бар, налил джингу и выпил залпом, как лекарство. С волос по лицу и за шиворот стекала вода — оказывается, он забыл надеть капюшон. Брюки промокли по колено и облепили ноги — вероятно, он шагал, не разбирая дороги, прямо по лужам. Зверски хотелось курить — кажется, он ни разу не закурил за эти два с лишним часа...

Акселерация, твердил он про себя, когда сбрасывал прямо на пол мокрый плащ, переодевался, вытирал голову полотенцем. Это всего лишь акселерация, успокаивал он себя, раскуривая сигарету и делая первые жадные затяжки. «Вот она, акселерация в действии, — с ужасом думал он, вспоминая уверенные детские голоса, твердившие ему невозможные вещи. — Боже, спаси взрослых, боже, спаси их родителей, просвети их и сделай умнее, сейчас самое время... Для твоей же пользы прошу тебя, боже, а то построят они себе вавилонскую башню, надгробный памятник всем дуракам, которых ты выпустил на эту Землю плодиться и размножаться, не продумав как следует последствий акселерации. Простак ты, братец...»

Виктор выплюнул на ковер окурок и раскурил новую сигарету. «Чего это я разволновался? — подумал он. — Фантазия разыгралась... Ну, дети, ну, акселерация, ну, не по годам развитые. Что я, не по годам развитых детей не видел? Откуда я взял, что они все это сами придумали? Нагляделись в городе всякой грязи, начитались книжек, все упростили и пришли, естественно, к выводу, что надобно строить новый мир. И совсем не все они там такие. Есть у них атаманы, крикуны — Бол-Кунац... прыщавый этот... и еще хорошенькая девчушка. Заводили. А остальные — дети как дети, сидели, слушали и скучали... — Он знал, что это неправда. — Ну, положим, не скучали, слушали с интересом — все-таки провинция, известный писатель... Черта с два в их возрасте я стал бы читать мои книги. Черта с два в их возрасте я пошел бы куда-нибудь, кроме кино с пальбой или проезжего цирка — любоваться на ляжки канатоходцы. Глубоко начхать было мне и на старый мир, и на новый мир, я об этом и представления не имел — футбол до полного изнеможения, или вывинтить где-нибудь лампочку и ахнуть об стену, или подстеречь какого-нибудь гогочку и начистить ему рыло... — Виктор откинулся в кресло и вытянул ноги. — Мы все вспоминаем события счастливого детства с умилением и уверены, что со времен Тома Сойера так было, есть и будет. Должно быть. А если не так, значит, ребенок ненормальный, вызывает со стороны легкую жалость, а при непосредственном столкновении — педагогическое негодование. А ребенок кротко смотрит на тебя и думает: ты, конечно, взрослый, здоровенный, можешь меня выпороть, однако, как ты был с самого детства дураком, так дураком и останешься, и помрешь дураком, но тебе этого мало, ты еще и меня дураком хочешь сделать...»

Виктор налил себе еще джину и стал вспоминать, как все было, и ему пришлось сделать поспешный глоток, чтобы не завить от срама. Как он приперся к этим ребятишкам, самодовольный, самоуверенный, сверху-вниз-смотрящий, модный остолоп, как он сразу начал с пошлятины, благоглупостей и псевдомужественного сюсюканья и как его осадили, но он не успокоился и продолжал демонстрировать свою острую интеллектуальную недостаточность, как его честно пытались

направить на путь истинный, и ведь предупреждали, но он все нес банальщину и тривиальщину, все воображал, что кривая вывезет — что чего там, и так сойдет,— а когда ему наконец, потеряв терпение, надавали по морде, он малодушно ударился в слезы и стал жаловаться, что с ним плохо обращаются... и как он постыдно возликовал, когда они из жалости стали брать у него автографы... Виктор зарывался, поняв, что о сегодняшнем он, несмотря на всю свою натужную честность, никогда и никому не осмелится рассказать и что через какие-нибудь полчаса из соображений сохранения душевного равновесия он хитроумно перевернет все так, будто учиненное сегодня над ним плюшевое действие было величайшим триумфом в его жизни или во всяком случае довольно обычной и не слишком интересной встречей с периферийными вундеркиндами, которые — что с них взять? — дети, а потому неважно разбираются в литературе и в жизни... «Меня бы в департамент просвещения,— подумал он с ненавистью. — Там такие всегда были нужны... Одно утешение,— подумал он. — Этих ребятишек пока еще очень мало, и если акселерация пойдет нынешними темпами, то к тому времени, когда их будет много, я уже, даст бог, благополучно помру. Как это славно — вовремя помереть!..»

В дверь постучали. Виктор крикнул: «Да!» — и вошел Павор в поддельном бухарском халате, растрепанный, с распухшим носом.

— Наконец-то,— сказал он насморочным голосом, сел напротив, извлек из-за пазухи большой мокрый платок и принялся сморкаться и чихать. Жалкое зрелище — ничего не осталось от прежнего Павора.

— Что — наконец-то? — спросил Виктор. — Джину хотите?

— Ох, не знаю... — отозвался Павор, хлюпая и всхрапывая. — Меня этот город доканает... Р-р-рум-чж-ж-жах! Ох...

— Будьте здоровы,— сказал Виктор.

Павор уставился на него слезящимися глазами.

— Где вы пропадаете? — спросил он капризно. — Я три раза к вам толкался, хотел взять что-нибудь почитать. Погибаю ведь, одно занятие здесь — чихать и сморкаться... в гостинице ни души, к швейцару обратился, так он мне, дурень старый, телефонную книгу предложил и старые проспекты... «Посетите наш солнечный город». У вас есть что-нибудь почитать?

— Вряд ли,— сказал Виктор.

— Какого черта, вы же писатель! Ну, я понимаю, других вы никого не читаете, но себя-то уж наверняка иногда перелистываете... Вокруг только и говорят: Банев, Банев... Как там у вас называется? «Смерть после полудня»? «Полночь после смерти»? Не помню...

— «Беда приходит в полночь»,— сказал Виктор.

— Вот-вот. Дайте почитать.

— Не дам. Нету,— решительно сказал Виктор. — А если бы и бы-

ла, все равно бы не дал. Вы бы мне ее засморкали. Да и не поняли бы вы там ничего.

— Почему это — не понял бы? — осведомился Павор с возмущением. — Там у вас, говорят, из жизни гомосексуалистов, чего же тут не понять?

— Сами вы... — сказал Виктор. — Давайте лучше джину выпьем. Вам с водой?

Павор чихнул, заворчал, в отчаянии оглядел комнату, закинул голову и снова чихнул.

— Башка болит, — пожаловался он. — Вот здесь... А где вы были? Говорят, встречались с читателями. С местными гомосексуалистами.

— Хуже, — сказал Виктор. — Я встречался с местными вундеркиндами. Вы знаете, что такое акселерация?

— Акселерация? Это что-то связанное с преждевременным созреванием? Слыхал, об этом одно время шумели, но потом в нашем департаменте создали комиссию, и она доказала, что это есть результат личной заботы господина Президента о подрастающем поколении львов и мечтателей, так что все стало на свои места. Но я-то знаю, о чем вы говорите, я этих местных вундеркиндов видел. Упаси бог от таких львов, ибо место им в кунсткамере.

— А может быть, это нам с вами место в кунсткамере? — возразил Виктор.

— Может быть, — согласился Павор. — Только акселерация здесь ни при чем. Акселерация — дело биологическое и физиологическое. Возрастание веса новорожденных, потом они вымахивают метра на два, как жирафы, и в двенадцать лет уже готовы размножаться. А здесь — система воспитания, детишки самые обыкновенные, а вот учителя у них...

— Что — учителя?

Павор чихнул.

— А вот учителя — необыкновенные, — сказал он гнусаво.

Виктор вспомнил директора гимназии.

— Что же в здешних учителях необыкновенного? — спросил он. — Что они ширинку забывают расстегнуть?

— Какую ширинку? — спросил Павор, озадаченно воззрившись на Виктора. — У них и ширинок-то никаких нет.

— А еще что? — спросил Виктор.

— В каком смысле?

— Что у них еще необыкновенного?

Павор долго сморкался, а Виктор посасывал джин и смотрел на него с жалостью.

— Ни черта, я вижу, вы не знаете, — сказал Павор, разглядывая засморканный платок. — Как справедливо утверждает господин Президент, главное свойство наших писателей — это хроническое незнание

жизни и оторванность от интересов нации... Вот вы здесь уже больше недели. Были вы где-нибудь, кроме кабака и санатория? Говорили вы с кем-нибудь, кроме этой пьяной скотины Квадриги? Черт знает, за что вам деньги платят...

— Ну ладно, хватит,— сказал Виктор. — Хватит с меня и газет. Тоже мне — критик в соплях, учитель без ширинки.

— А-а, не любите? — сказал Павор с удовлетворением. — Так и быть, не буду... Расскажите, как вы встречались с вундеркиндами.

— Да ну, что там рассказывать,— сказал Виктор. — Вундеркинды как вундеркинды...

— А все-таки?

— Ну, я пришел. Задали мне несколько вопросов. Интересные вопросы, вполне взрослые... — Виктор помолчал. — В общем, если говорить честно, мне там здорово всыпали.

— А какие вопросы? — спросил Павор. Он смотрел на Виктора с искренним интересом и, кажется, с сочувствием.

— Дело не в вопросах,— вздохнул Виктор. — Если говорить откровенно, меня больше всего поразило, что они как взрослые, да еще не просто как взрослые, а как взрослые высшего класса... Адское, какое-то болезненное несоответствие... — Павор сочувственно кивал. — Словом, плохо мне там было,— сказал Виктор. — Неохота вспоминать.

— Понятно,— сказал Павор. — Не вы первый, не вы последний. Должен вам сказать, что родители двенадцатилетнего ребенка — это всегда существа довольно жалкие, обремененные кучей забот. Но здешние родители — это что-то особенное. Они мне напоминают тылы оккупационной армии в районе активных партизанских действий... Ну, а о чем вас все-таки спрашивали?

— Ну, спрашивали, что такое прогресс.

— Так. И что же такое, по-ихнему, прогресс?

— А по-ихнему, прогресс — это очень просто. Загнать нас всех в резервации, чтобы не путались под ногами, а самим на свободе изучать Зурзмансора и Шпенглера. Такое у меня, во всяком случае, впечатление.

— Что же, очень даже может быть,— сказал Павор. — Каков поп, таков и приход. Вот вы говорите: акселерация, Зурзмансор... А вы знаете, что говорит по этому поводу нация?

— Кто-кто?

— Нация!.. Она говорит, что все беды от мокрецов. Дети свихнулись от мокрецов...

— Это потому, что в городе нет евреев,— заметил Виктор. Потом вспомнил про мокреца, который пришел в зал, и как дети встали, и какое лицо было у Ирмы. — Вы это серьезно? — спросил он.

— Это не я,— сказал Павор. — Это голос нации. Вокс попули.

Кошки из города сбежали, а детишки обожают мокрецов, шляются к ним в лепрозорий, днюют там и ночуют, отбились от рук, никого не слушаются. Воруют у родителей деньги и покупают книги... Говорят, сначала родители очень радовались, что дети не рвут штанов, лазая по заборам, а тихо сидят дома и почитывают книжечки. Тем более что погода плохая. Но теперь уже все видят, к чему это привело и кто это затеял. Теперь уже больше никто не радуется. Однако мокрецов по старинке боятся и только рычат им вслед...

«Голос нации,— подумал Виктор. — Голос Лолы и господина бургомистра. Слыхали мы этот голос... Кошки, дожди, телевизоры. Кровь христианских младенцев...»

— Я не понимаю,— сказал он,— вы это серьезно или от скуки?

— Это не я! — повторил Павор проникновенно. — Так говорят в городе.

— Как говорят в городе, мне ясно,— сказал Виктор. — А вы-то сами что об этом думаете?

Павор пожал плечами.

— Течение жизни,— туманно сказал он. — Трепотня пополам с истиной. — Он посмотрел на Виктора поверх платка. — Не считайте меня идиотом,— сказал он. — Вспомните лучше детей: где вы еще видели таких детей? Или по крайней мере столько таких детей?

«Да,— думал Виктор,— таких детей... Кошки кошками, но этот мокрец в зале — это вам не кошки пополам с дождем... Есть такое выражение: лицо, освещенное изнутри. Именно такое лицо было у Ирмы, а когда она разговаривает со мной, лицо ее освещено только снаружи. А с матерью она вообще не разговаривает — цедит сквозь зубы что-то брезгливо-снисходительное... Но только если все это так, если это правда, а не грязная болтовня, то выглядит это крайне нечистоплотно. Что им нужно от детей? Они же больные люди, обреченные... и вообще, что за свинство — настраивать детей против родителей, даже против таких родителей, как мы с Лолой. Хватит с нас господина Президента: нация превыше родительских уз, Легион Свободы — ваш отец и ваша мать, и мальчишка идет в ближайший штаб и сообщает, что отец называл господина Президента странным человеком, а мать назвала походы Легиона разорительным предприятием. А теперь еще является черный мокрый дядя и уже безо всяких объявляет, что отец твой — пьяная безмозглая скотина, а мать — дура и шлюха. Положим, что это и верно, но все равно свинство, все это должно делаться не так, и не их это собачье дело, не они за это отвечают, и никто их не просит заниматься таким просветительством... Патология какая-то... Если только это просветительство. А если похуже? Дитя начинает розовыми губками лепетать о прогрессе, начинает говорить страшные жестокие вещи, не ведая, что лепечет, но уже от молодых ногтей приучаясь к интеллектуальной жестокости, к самой страшной жестокости, какую можно придумать, а они,

намотав черные тряпки на шелушащиеся физиономии, стоят за сценой и дергают ниточки... и, значит, никакого нового поколения нет, а есть все та же старая и грязная игра в марионетки, и я был вдвойне ослом, когда обмирал сегодня на сцене... До чего же это мерзкая затея — наша цивилизация...»

— ...Имеющий глаза да видит,— говорил Павор. — Нас не пускают в лепрозорий. Колючая проволока, солдаты, ладно. Но кое-что можно видеть и здесь, в городе. Я видел, как мокрецы разговаривают с мальчишками и как ведут себя при этом мальчишки, какими они становятся ангелочками, а спроси у него, как пройти к фабрике,— он тебя обольет презрением с ног до головы...

«Нас не пускают в лепрозорий,— думал Виктор. — Колючая проволока, а мокрецы гуляют по городу свободно. Но не Голем же это выдумал... Вот сволочь,— подумал он,— отец нации. Вот мерзавец. Значит, и здесь его работа. Лучший друг детей... Очень может быть, очень на него похоже. А вы знаете, господин Президент, на вашем месте я бы попытался разнообразить свои приемы. Слишком легко стало отличить ваш хвост от всех других хвостов. Колючая проволока, солдаты, пропуска — значит, господин Президент; значит, обязательно какая-нибудь мерзость...»

— На кой черт там колючая проволока? — спросил Виктор.

— А я откуда знаю? — сказал Павор. — Никогда раньше там не было колючей проволоки.

— Значит, вы там уже бывали?

— Почему? Не был. Но не первый же я здесь санитарный инспектор... да дело и не в колючей проволоке, мало ли на свете колючей проволоки. Детишек туда пропускают беспрепятственно, мокрецов оттуда выпускают беспрепятственно, а нас с вами туда не пустят — вот что удивительно.

«Нет, это все-таки не Президент,— думал Виктор. — Президент и чтение Зурзмансора, да еще и Банева — это как-то не совмещается. И эта разрушительная идеология... Если бы я такое написал, меня бы распяли. Непонятно, непонятно... И нечисто... Спрошу-ка я у Ирмы,— подумал он. — Просто спрошу и посмотрю, что она будет делать... Между прочим, и Диана должна кое-что знать...»

— Вы не слушаете? — спросил Павор.

— Виноват, задумался.

— Я говорю, что не удивился бы, если бы город принял меры. Причем, как и полагается городу, жестокие.

— Я тоже не удивился бы,— пробормотал Виктор. — Я не удивлюсь, если даже мне самому захочется принять кое-какие меры.

Павор поднялся и подошел к окну.

— Ну и погодка,— сказал он с тоской. — Уехать бы отсюда поскорее... Дадите вы мне книгу или нет?

— У меня нет книг,— сказал Виктор. — Все, что я с собой привез, все в санатории... Слушайте, а зачем мокрецам наши дети?

Павор пожал плечами.

— Это же больные люди,— ответил он. — Откуда нам знать? Мы-то с вами здоровые.

В дверь постучали, и вошел Голем, грузный и мокрый.

— Спросим Голема,— сказал Павор. — Голем, зачем мокрецам наши дети?

— Ваши дети? — сказал Голем, внимательно разглядывая этикетку на бутылке с джином. — У вас есть дети, Павор?

— Павор утверждает,— сказал Виктор,— будто ваши мокрецы настраивают городских детей против родителей. Что вы об этом знаете, Голем?

— Гм... — сказал Голем. — Где у вас чистые стаканы? Ага... Мокрецы настраивают детей? Ну что ж... Не они первые, не они последние. — Он прямо в плаще повалился на кушетку и понюхал джин в стакане. — И почему бы в наше время не настраивать детей против родителей, если белых настраивают против черных, а желтых настраивают против белых, а глупых настраивают против умных... Что вас, собственно, удивляет?

— Павор утверждает,— повторил Виктор,— что ваши больные шляются по городу и учат детей всяким странным вещам. Я тоже заметил кое-что подобное, хотя пока что ничего не утверждаю. Так вот, я ничему не удивляюсь, а спрашиваю вас: правда это или нет.

— Насколько я знаю,— сказал Голем, отхлебнув из стакана,— мокрецы спокон веков имели совершенно свободный доступ в город. Не знаю, что вы имеете в виду, когда говорите про обучение всяким странным вещам, но позвольте мне спросить вас, аборигена этих мест: знакома ли вам игрушка под названием «Злой волчок»?

— Ну конечно,— сказал Виктор.

— У вас была такая игрушка?

— У меня, конечно, нет... но у ребят, помнится, была... — Виктор замолчал. — Да, действительно,— сказал он. — Ребята говорили, что этот волчок подарил им мокрец. Вы это имеете в виду?

— Да, именно это. И «погодник», и «деревянную руку»...

— Пардон,— сказал Павор. — Можно узнать мне, пришьельцу из столицы, о чем говорят аборигены?

— Нельзя,— сказал Голем. — Это не входит в вашу компетенцию.

— Откуда вы знаете, что входит и что не входит в мою компетенцию? — спросил Павор с обиженным видом.

— Знаю,— сказал Голем. — Догадываюсь, потому что мне так хочется... И перестаньте врать, вы же торговали у Тэдди «погодник» и прекрасно знаете, что это такое.

— Идите вы к черту,— сказал Павор капризно,— я не про «погодник»...

— Погодите, Павор,— нетерпеливо сказал Виктор,— Голем, вы не ответили на мой вопрос.

— Разве? А мне показалось, что ответил... Видите ли, Виктор, мокрецы — глубоко и безнадежно больные люди. Это страшная штука — генетическая болезнь. Но при этом они сохраняют доброту и ум, так что не надо их обижать.

— Кто их обижает?

— А вы разве их не обижаете?

— Пока нет. Пока даже наоборот.

— Ну, тогда все в порядке,— сказал Голем и поднялся. — Тогда поехали.

Виктор вытаращил глаза.

— Куда поехали?

— В санаторий. Я еду в санаторий, вы, я вижу, тоже собираетесь в санаторий, а вы, Павор, ложитесь в постель. Хватит распространять грипп.

Виктор посмотрел на часы.

— Не рано ли? — сказал он.

— Как угодно. Только имейте в виду, с сегодняшнего дня автобус отменили. За нерентабельностью.

— А может быть, сначала пообедаем?

— Как угодно,— повторил Голем. — Я никогда не обедаю. И вам не советую.

Виктор пощупал живот.

— Да,— сказал он. Потом посмотрел на Павора. — Поеду, пожалуй.

— А мне-то что? — сказал Павор. Он был обижен. — Только книжек привезите.

— Обязательно,— пообещал Виктор и стал одеваться.

Когда они влезли в машину, под сырой брезент в сырой, провонявший табаком, бензином и медикаментами кузов, Голем сказал:

— Вы намеки понимаете?

— Иногда,— ответил Виктор. — Когда знаю, что это намеки. А что?

— Так вот обратите внимание: намек. Перестаньте трепаться.

— Гм,— пробормотал Виктор. — И как прикажете это понимать?

— Как намек. Перестаньте болтать языком.

— С удовольствием,— сказал Виктор и замолчал, раздумывая.

Они пересекли город, миновали консервную фабрику, переехали пустой городской парк, запущенный, никлый, полусгнивший от сырости, промчались мимо стадиона, где полосатые от грязи «Братья по разуму» упорно лупили разбухшими бутсами по разбухшим мячам, и выкатили на шоссе, ведущее к санаторию. Вокруг, за пеленой дождя, лежала

мокрая степь, ровная, как стол, когда-то сухая, выжженная, колючая, а теперь медленно превращающаяся в топкое болото.

— Ваш намек,— сказал Виктор,— напомнил мне один разговор — мой разговор с его превосходительством господином референтом господина Президента по государственной идеологии. Его превосходительство вызвал меня в свой скромный кабинет — тридцать на двадцать — и осведомился: «Виктуар, вы хотите по-прежнему иметь кусок хлеба с маслом?» Я, естественно, ответил утвердительно. «Тогда перестаньте бренчать!» — гаркнул его превосходительство и отпустил меня мановением руки.

Голем ухмыльнулся:

— А чем вы, собственно, бренчали?

— Его превосходительство намекал на мои упражнения с банджо в молодежных клубах.

Голем покосился на него прищуренным глазом:

— Почему вы, собственно, так уверены, что я не шпик?

— А я в этом не уверен,— возразил Виктор. — Просто мне наплевать. Кроме того, сейчас не говорят «шпик». «Шпик» — это архаизм. Сейчас все культурные люди говорят «дятел».

— Не ощущаю разницы,— сказал Голем.

— Я практически тоже,— произнес Виктор. — Итак, не будем болтать языком. Ваш пациент выздоровел?

— Мои пациенты никогда не выздоравливают.

— У вас прекрасная репутация! Но я-то спрашиваю про того беднягу, который угодил в капкан. Как его нога?

Голем помолчал, а потом сказал:

— Которого из них вы имеете в виду?

— Не понимаю,— сказал Виктор. — Того, естественно, который попал в капкан.

— Их было четверо,— сказал Голем, всматриваясь в залитую дождем дорогу. — Один попал в капкан, другого вы тащили на спине, третьего я увез в машине, а из-за четвертого вы затеяли давеча безобразную драку в ресторане.

Виктор ошеломленно молчал. Голем тоже молчал. Он очень ловко вел машину, огибая многочисленные выбоины на старом асфальте.

— Ну-ну, не напрягайтесь так,— сказал он наконец. — Я пошутил. Он был один. И нога его зажила в ту же ночь.

— Это тоже шутка? — осведомился Виктор. — Ха-ха-ха. Теперь понимаю, почему ваши больные никогда не выздоравливают.

— Мои больные,— сказал Голем,— никогда не выздоравливают по двум причинам. Во-первых, я, как и всякий порядочный врач, не умею лечить генетические болезни. А во-вторых, они не хотят выздоравливать.

— Забавно,— пробормотал Виктор. — Я уже столько наслушался

об этих ваших мокрецах, что теперь, ей-богу, готов поверить во все: и в дожди, и в кошек, и в то, что раздробленная кость может зажить за одну ночь.

— В кошек? — сказал Голем.

— Ну да, — сказал Виктор. — Почему в городе не осталось кошек? Мокрецы виноваты. Тэдди от мышей пропадает... Вы бы посоветовали мокрецам вывести из города заодно и мышей.

— А-ля Гаммельнский крысолов? — сказал Голем.

— Да, — легкомысленно подтвердил Виктор. — Именно а-ля. — Потом он вспомнил, чем кончилась история с Гаммельнским крысоловом. — Ничего смешного тут нет, — сказал он. — Сегодня я выступал в гимназии. Видел ребятшек. И видел, как они встречали какого-то мокреца. Теперь я нисколько не удивлюсь, если в один прекрасный день на городскую площадь выйдет мокрец с аккордеоном и уведет детишек к черту на рога.

— Вы не удивитесь, — сказал Голем. — А еще что вы сделаете?

— Не знаю... Может быть, отберу у него аккордеон.

— И сами заиграете?

— Да, — вздохнул Виктор. — Это верно. Мне этих детей увлечь нечем, это я понял. Интересно, чем они увлекают? Вы ведь знаете, Голем.

— Виктуар, перестаньте брэнчать, — сказал Голем.

— Как угодно, — сказал Виктор. — Вы очень старательно и более или менее ловко уклоняетесь от моих вопросов, я это заметил. Глупо. Я все равно узнаю, а вы потеряете возможность придать выгодную вам эмоциональную окраску этой информации.

— Сохранение врачебной тайны! — изрек Голем. — И потом, я ничего не знаю. Я могу только догадываться.

Он притормозил. Впереди, за вуалью дождя, появились какие-то фигуры, стоящие на дороге. Три серые фигуры и серый дорожный столб с указателями: «Лепрозорий — 6 км» и «Сан. «Теплые ключи» — 2,5 км». Фигуры отступили на обочину — взрослый мужчина и двое детей.

— А ну-ка, остановитесь, — сказал Виктор, сразу охрипнув.

Он смотрел на людей у столба, на рослого черного мокреца в тренировочном костюме, пропитанном водой, на мальчика, который тоже был без плаща, а в промокшем костюмчике и сандалиях, и на девочку, босую, в платье, облепившем тело. Затем он рывком распахнул дверцу и выскочил на дорогу. Дождь с ветром ударил ему в лицо, он даже захлебнулся, но не заметил этого. Он ощутил приступ нестерпимого бешенства, когда хочется все ломать, когда еще сознаешь, что намерен делать глупости, но это сознание только радует. На негнущихся ногах он подошел вплотную к мокрецу.

— Что здесь происходит? — выдавил он сквозь зубы. А потом девочке, глядевшей на него с удивлением: — Ирма, немедленно иди

в машину! — А потом снова мокрецу: — Черт бы вас побрал, что это вы делаете? — и снова Ирме: — Марш в машину, кому говорят?

Ирма не двинулась с места. Все трое стояли, как прежде, глаза мокреца над черной повязкой спокойно помаргивали. Потом Ирма сказала с непонятной интонацией: «Это мой отец», и он вдруг сообразил, спинным мозгом понял, что здесь нельзя орать и замахиваться, нельзя угрожать, хватать за шиворот и тащить... вообще нельзя беситься. Он сказал очень спокойно:

— Ирма, иди в машину, ты вся промокла. Бол-Кунац, на твоём месте я бы тоже пошел в машину.

Он был уверен, что Ирма послушается, и она послушалась. Не совсем так, как ему хотелось бы. Нет, не то чтобы она хотя бы взглядом испросила у мокреца разрешения уйти, но осталась у него тень впечатления, будто что-то было, некий обмен мнениями, какое-то краткое совещание, в результате которого вопрос был решен в его пользу. Ирма задрала нос и направилась к машине, а Бол-Кунац сказал вежливо:

— Благодарю вас, господин Банев, но, право, я лучше останусь.

— Как хочешь,— сказал Виктор. Бол-Кунац его мало волновал. Сейчас нужно было что-то сказать этому мокрецу на прощание. Виктор заранее знал, что это будет нечто весьма глупое, но — что делать? — уйти просто так он не мог. Из чисто престижных соображений. И он сказал: — Вас, милостивый государь,— сказал он надменно,— я не приглашаю. Вы здесь, по-видимому, чувствуете себя как рыба в воде.

Затем он повернулся и, отшвырнув воображаемую перчатку, зашагал прочь. «Произнося эти слова,— с отвращением думал он,— граф с достоинством удалился...»

Ирма, забравшись с ногами на переднее сиденье, отжимала косячки. Виктор пролез назад, покряхтывая от стыда, и, когда Голем тронул машину, сказал:

— Произнеся эти слова, граф удалился... Просунь сюда ноги, Ирма, я их разотру.

— Зачем? — с любопытством спросила Ирма.

— Воспаление легких получить хочешь? Давай сюда ноги!

— Пожалуйста.— сказала Ирма и, скособочившись на сиденье, просунула ему одну ногу.

Предвкушая, что вот сейчас он сделает наконец что-то естественное и полезное, Виктор взял обеими руками эту тощую девчоночью ногу, мокрую и трогательную, и вознамерился было ее растирать — до красноты, до багровости, добрыми суровыми отцовскими руками, эту грязную костлявую ледышку, извечный проводник насморков, гриппов, катаров дыхательных путей и двусторонних пневмоний,— когда обнаружил, что его ладони холоднее ее ноги. По инерции он сделал несколько оглаживающих движений, затем осторожно отпустил ногу. «Да ведь я же знал это,— подумал он вдруг,— я же знал это, еще когда стоял

перед ними, знал, что здесь есть какой-то подвох, что детям ничего не грозит, никакие катары и воспаления, только мне не хотелось этого, а хотелось спасать, вырывать из когтей, гневаться справедливо, исполнять долг, и опять меня обвели вокруг пальца, я не знаю, как они это делают, но меня опять обвели вокруг пальца, и я опять дурак дураком, второй раз за этот день...»

— Забери свою ногу,— сказал он Ирме.

Ирма забрала ногу и спросила:

— Мы куда — в санаторий едем?

— Да,— ответил Виктор и посмотрел на Голема — не заметил ли тот позора. Голем невозмутимо следил за дорогой, грузно расплывшись на водительском сиденье, седой, неряшливый, сутулый и всезнающий.

— А зачем? — спросила Ирма.

— Переоденешься в сухое и ляжешь в постель,— сказал Виктор.

— Вот еще! — сказала Ирма. — Что это ты придумал?

— Ладно, ладно... — пробормотал Виктор. — Дам тебе книжки, и будешь читать.

«Действительно, на кой черт я ее туда везу? — подумал он. — Диана... Ну, это мы посмотрим. Никаких выпивок и вообще ничего такого, но как я ее повезу обратно? А, черт, возьму чью попало машину и отвезу... Хорошо бы сейчас чего-нибудь глотнуть».

— Голем... — начал было он, но спохватился. Дьявол, нельзя, неудобно.

— Да? — сказал Голем, не оборачиваясь.

— Нет, ничего,— вздохнул Виктор, уставясь на горлышко фляги, торчащее из кармана Големова плаща. — Ирма,— сказал он утомленно. — Что вы там делали на этом перекрестке?

— Мы думали туман,— ответила Ирма.

— Что?

— Думали туман,— повторила Ирма.

— Про туман,— поправил Виктор. — Или о тумане.

— Зачем это — про туман? — сказала Ирма.

— Думать — непереходный глагол,— объяснил Виктор. — Он требует предлогов. Вы проходили непереходные глаголы?

— Это когда как,— сказала Ирма. — Думать туман — это одно, а думать про туман — это совсем другое... и кому это нужно — думать про туман — неизвестно.

Виктор вытащил сигарету и закурил.

— Погоди,— сказал он. — Думать туман — так не говорят, это неграмотно. Есть такие глаголы — непереходные: думать, бегать, ходить... Они всегда требуют предлога. Ходить по улице. Думать про... что-нибудь там...

— Думать глупости,— сказал Голем.

— Ну, это исключение,— сказал Виктор, несколько потерявшись.

— Ходить быстро,— сказал Голем.

— Быстро — это не существительное,— запальчиво сказал Виктор. — Не путайте ребенка, Голем.

— Папа, ты можешь не курить? — осведомилась Ирма.

Кажется, Голем издал какой-то звук, а может быть, это мотор чихнул на подъеме. Виктор смял сигарету и растоптал ее каблуком. Они поднимались к санаторию, а сбоку, из степи, навстречу дождю надвигалась плотная белесая стена.

— Вот тебе и туман,— сказал Виктор. — Можешь его думать. А также нюхать, бегать, ходить.

Ирма хотела что-то сказать, но Голем перебил ее.

— Между прочим,— сказал он,— глагол «думать» выступает как переходный также и в сложноподчиненных предложениях. Например: я думаю, что... и так далее.

— Это совсем другое дело,— возразил Виктор. Ему надоело. Ему очень хотелось курить и выпить. Он с вожделием поглядел на горлышко флаги. — Тебе не холодно, Ирма? — спросил он с неясной надеждой.

— Нет. А тебе?

— Познабливает,— признался Виктор.

— Надо выпить джину,— заметил Голем.

— Да, неплохо бы... А у вас есть?

— Есть,— сказал Голем. — Но мы уже почти приехали.

Джип вкатился в ворота, и тут началось то, о чем Виктор как-то не подумал. Первые струи тумана еще только начали просачиваться через решетку ограды, и видимость была прекрасная. На подъездной дорожке лежало тело в промокшей пижаме, лежало с таким видом, словно пребывало здесь уже много дней и ночей. Голем осторожно объехал его миновал гипсовую вазу, украшенную незамысловатыми рисунками и соответствующими надписями, и приткнулся к стаду машин, сгрудившихся перед подъездом правого крыла. Ирма распахнула дверцу, и сейчас же испитая морда высунулась из окна ближайшей машины и проблеяла: «Деточка, хочешь я тебе отдамся?» Виктор, обмирая, полез наружу. Ирма с любопытством озиралась. Виктор крепко взял ее за руку и повел к подъезду. На ступеньках сидели под дождем две девки в белье и уличными голосами пели про жестокого аптекаря — не отпускает героин. Узрев Виктора, они замолчали, но когда он проходил мимо, одна из них попыталась ухватить его за брюки. Виктор втолкнул Ирму в вестибюль. Здесь было темно, окна занавешены, воняло табачным дымом и какой-то кислятиной, трещал проекционный аппарат, и на белой стене прыгали порнографические изображения. Виктор, стиснув зубы, шагал по чьим-то ногам, волоча за собой спотыкающуюся Ирму. Вслед неслась сердитая нецензурщина. Они выбрались из вестибюля, и Виктор пошел шагать через три ступеньки по ковровой лестнице.

Ирма помалкивала, и он не рисковал взглянуть на нее. На лестничной площадке его уже ждал с распростертыми объятиями синий и раздутый член парламента Росшепер Нант. «Виктуар! — просипел он. — Др-руг! Тут он заметил Ирму и пришел в восторг. — Виктуар! И ты тоже!.. На малолетних малолеточек!..» Виктор зажмурился, крепко наступил ему на ногу и толкнул в грудь — Росшепер повалился спиной, опрокинув урну. Обливаясь потом, Виктор зашагал по коридору. Ирма неслышными прыжками неслась рядом. Он ткнулся в дверь Дианы — дверь была заперта, ключа не было. Он бешено застучал, и Диана немедленно откликнулась. «Пошел к чертовой матери! — заорала она яростно. — Импотент вонючий! Говнюк, дерьмо собачье!» — «Диана! — рывкнул Виктор. — Открывай!» Диана замолчала, и дверь распахнулась. Она стояла на пороге с японским зонтиком наготове. Виктор отпихнул ее, втолкнул Ирму в комнату и захлопнул за собой дверь.

— А, это ты, — сказала Диана. — Я думала, опять Росшепер. — От нее пахло спиртным. — Господи, — сказала она. — Кого ты привел?

— Это моя дочь, — с трудом сказал Виктор. — Ее зовут Ирма. Ирма, это Диана.

Он смотрел на Диану в упор, с отчаянием и надеждой. Слава богу, кажется, она не была пьяна. Или сразу протрезвела.

— Ты с ума сошел, — сказала она тихо.

— Она промокла, — проговорил он. — Переодень ее в сухое, уложи в постель, и вообще...

— Я не лягу, — заявила Ирма.

— Ирма, — сказал Виктор. — Изволь слушаться, а то я сейчас кого-нибудь выпорю...

— Кое-кого здесь надо бы выпороть, — сказала Диана безнадежно.

— Диана, — сказал Виктор. — Я тебя прошу.

— Ладно, — сказала Диана. — Иди к себе. Разберемся.

Виктор с огромным облегчением вышел. Он отправился прямо в свою комнату, но и там не было покоя. Ему пришлось предварительно вышвырнуть в коридор разнежившуюся совершенно незнакомую парочку и испачканное постельное белье. Потом он запер дверь, повалился на голый матрас, закурил отсыревшую сигарету и стал думать, что же он натворил.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На другой день Виктор проснулся поздно, пора было обедать. Голова побаливала, но настроение оказалось неожиданно хорошим.

Вчера вечером, прикончив пачку сигарет, он спустился вниз, открыл дамской шпилькой чью-то машину, вывел Ирму через служебный вход и отвез ее к матери. Вначале они ехали молча. Он корчился от неприятнейших переживаний, а Ирма сидела рядом, чистенькая, опрят-

ная, причесанная по последней моде — никаких косичек — и, кажется, даже с накрашенными губами. Ему очень хотелось завязать разговор, но начинать надо было с признания своей беспросветной глупости, а это казалось ему непедагогичным. Кончилось все тем, что Ирма вдруг ни с того ни с сего разрешила ему курить (при условии, если все окна будут открыты) и принялась рассказывать, как ей было интересно, как это похоже на то, что она читала раньше, но не очень верила, какой он молодец, что устроил ей это неожиданное и в высшей степени поучительное приключение, что он вообще довольно хороший, не разводит скуку и не болтает глупостей, что Диана — «почти наша», всех ненавидит, но жалко вот, что у нее мало знаний и слишком уж она любит выпить, но это в конце концов не страшно, ты тоже любишь выпить, а ребятам ты понравился, потому что говорил честно, не притворялся каким-нибудь хранителем высшего знания, и правильно, потому что никакой ты не хранитель, и даже Бол-Кунац сказал, что в городе ты единственный стоящий человек, если не считать, конечно, доктора Голема, но Голем, собственно, к городу не имеет никакого отношения, и потом он не писатель, не выражает идеологии, а как ты считаешь, нужна идеология или лучше без нее, сейчас многие полагают, что будущее за деидеологизацией...

Получился прекрасный разговор, собеседники были полны уважения друг к другу, и, вернувшись в гостиницу (автомобиль он загнал в какой-то захламленный двор), Виктор уже считал, что быть отцом — не такое уж неблагоприятное занятие, особенно если разбираешься в жизни и умеешь использовать даже теневые ее стороны в воспитательных целях. По этому поводу он выпил с Тэдди, который тоже был отцом и тоже интересовался воспитанием, ибо его первенцу было четырнадцать лет — тяжелый переломный возраст, ты еще со своей наплачешься... то есть это его первому внуку было четырнадцать лет, а воспитанием сына он не занимался потому, что сын свое детство провел в немецком концлагере. Детей бить нельзя, утверждал Тэдди. Их и без тебя будут всю жизнь колотить кому не лень, а если тебе хочется его ударить, дай лучше по морде самому себе, это будет полезнее.

После какой-то рюмки, однако, Виктор вспомнил, что Ирма ни словом не обмолвилась о его диком поведении у перекрестка, и пришел к выводу, что девчонка хитра и что вообще прибегать каждый раз к помощи любовницы, когда не знаешь, как выбраться из тяжелого положения, в которое сам же себя и загнал, по меньшей мере нечестно. Эти соображения огорчили его, но тут пришел доктор Р. Квадрига и заказал свою обычную бутылку рома, и они выпили эту бутылку, после чего Виктору все опять стало представляться в радужном свете, потому что стало ясно, что Ирма попросту не хотела огорчать его, а это значит, что она уважает отца и, может быть, даже любит... Потом

пришел еще кто-то и заказал еще что-то. Потом, вероятно, Виктор отправился спать... Вероятно... Надо полагать, что спать... Правда, сохранилось еще одно воспоминание: кафельный пол, сплошь залитый водой,— но что это был за пол и что это была за вода, вспомнить было невозможно. И не надо...

Приведя себя в порядок, Виктор спустился вниз взял у портье свежие газеты и поговорил с ним о проклятой погоде.

— Как я вчера? — спросил он небрежно. — Ничего?

— В общем ничего,— сказал портье вежливо. — Счет вам Тэдди передаст.

— Ага,— сказал Виктор и, решив пока ничего не уточнять, пошел в ресторан.

Ему показалось, что торшеров в зале поубавилось. Черт возьми, испуганно подумал он. Тэдди еще не было. Виктор поклонился молодому человеку в очках и его спутнику, сел за свой столик и развернул газету. В мире все обстояло по-прежнему. Одна страна задерживала торговые суда другой страны, и эта другая страна посылала решительные протесты. Страны, которые нравились господину Президенту, вели справедливые войны во имя своих наций и демократии. Страны, которые господину Президенту почему-либо не нравились, вели войны захватнические, даже, собственно, не войны вели, а попросту производили бандитские, злодейские нападения. Сам господин Президент произнес двухчасовую речь о необходимости раз и навсегда покончить с коррупцией и благополучно перенес операцию удаления миндалин. Знакомый критик — большая сволочь — восхвалял новую книгу Роц-Тусова, и это было загадочно, потому что книга получилась хорошая...

Подошел официант, новый какой-то, незнакомый, дружелюбно посоветовал взять устрицы, принял заказ, помахал салфеткой по столику и удалился. Виктор отложил газеты, закурил и, расположившись поудобнее, стал думать о работе. После хорошей выпивки ему всегда с удовольствием думалось о работе. «Хорошо бы написать оптимистическую веселую повесть... О том, как живет на свете человек, любит свое дело, не дурак, любит друзей, и друзья его ценят, и о том, как ему хорошо,— славный такой парень, чудаковатый, остряк... Сюжета нет. А раз нет сюжета, значит, скучно. И вообще, если уж писать такую повесть, то надо разобраться, почему же этому хорошему человеку хорошо, и неизбежно придешь к выводу, что ему хорошо только потому, что у него любимая работа, а на все прочее ему наплевать. И тогда какой же он хороший человек, если ему на все наплевать, кроме любимой работы?.. Можно, конечно, написать про человека, смысл жизни которого состоит в любви к ближнему, и ему потому хорошо, что он любит ближних и любит свое дело, но о таком человеке уже писали пару тысяч лет назад господа Лука, Матфей, Иоанн и еще кто-то — всего четверо. Вообще-то их было гораздо больше, но только

эти четверо писали в соответствии, остальные были лишены кто национального самосознания, кто права переписки... а человек, о котором они писали, был, к сожалению, полоумный... А вообще интересно было бы написать, как Христос приходит на Землю сегодня, не так, как писал Достоевский, а так, как писали эти Лука и компания... Христос приходит в генеральный штаб и предлагает: любите, мол, ближнего. А там, конечно, сидит какой-нибудь юдофоб...»

— Вы разрешите, господин Банев? — пророкотал над ним приятный мужской голос.

Это был господин бургомистр собственной персоной. Не тот апоплексически-багровый, хрюкающий от нездорового удовольствия боров на обширном ложе господина Росшепера, а элегантно-округлый, идеально выбритый и безукоризненно одетый представительный мужчина со скромной орденской ленточкой в петлице и со щитком Легиона Свободы на левом плече.

— Прошу,— сказал Виктор без всякой радости.

Господин бургомистр сел, огляделся и сложил руки на столе.

— Я постараюсь не обременять вас долго своим присутствием, господин Банев,— сказал он,— и попытаюсь не портить вашу трапезу, однако же вопрос, с коим я намерен к вам обратиться, назрел уже достаточно для того, чтобы все мы, и большие, и малые, кому дороги честь и благополучие нашего города, были готовы отложить наши дела для его скорейшего и эффективнейшего разрешения.

— Я вас слушаю,— сказал Виктор.

— Мы встречаемся с вами здесь, господин Банев, в обстановке скорее неофициальной, ибо я, сознавая вашу занятость, не рискнул беспокоить вас в часы вашей работы, особенно принимая во внимание специфику оной. Однако же я обращаюсь к вам сейчас как лицо вполне официальное — и от своего имени лично, и от имени муниципалитета в целом...

Официант принес устрицы и бутылку белого вина. Бургомистр поднятием пальца остановил его.

— Друг мой,— сказал он,— полпорции китчинганской осетрины и рюмку мятной. Осетрину без соуса... Итак, я продолжаю,— сказал он, снова оборотившись к Виктору. — Боюсь, правда, что наш разговор трудно будет счесть застольной беседой, ибо речь пойдет о вещах и обстоятельствах не только печальных, но, я бы даже сказал, неаппетитных. Я намеревался поговорить с вами о так называемых мокрецах, об этой злокачественной опухоли, которая вот уже не первый год разъедает нашу несчастную округу.

— Да-да,— сказал Виктор. Ему стало интересно.

Бургомистр произнес негромкую, хорошо продуманную и стилистически совершенную речь. Он рассказал о том, как двадцать лет назад, сразу после оккупации, в Лошадиной Лощине был создан лепро-

зорий, карантинный лагерь для лиц, страдающих так называемой желтой проказой, или очковой болезнью. Собственно говоря, болезнь эта, как хорошо известно господину Баневу, появилась в нашей стране еще в незапамятные времена, причем, как показывают специальные исследования, особенно часто она почему-то поражала жителей именно нашей округи. Однако только благодаря усилиям господина Президента на эту болезнь было обращено самое серьезное внимание, и лишь по его личному указанию несчастные, лишенные медицинского ухода, разбросанные по всей стране, подвергаемые зачастую несправедливым гонениям со стороны отсталых слоев населения, а со стороны оккупантов — даже прямому истреблению, эти несчастные были наконец свезены в одно место и получили возможность сносного существования, приличествующего их положению. Все это не вызывает никаких возражений, и упомянутые меры могут только приветствоваться, однако, как это у нас иногда бывает, самые лучшие и благородные начинания обернулись против нас. Не будем сейчас искать виновных. Не будем заниматься расследованием деятельности господина Голема, деятельности, возможно, самоотверженной, но, однако же, чреватой, как теперь выяснилось, самыми неприятными последствиями. Не будем также заниматься преждевременным критиканством, хотя позиция некоторых достаточно высоких инстанций, упорно игнорирующих наши протесты, представляется лично нам загадочной. Перейдем к фактам... Бургомистр выпил рюмку мятной, вкусно закусил осетринкой, и голос его сделался еще более бархатистым — совершенно невозможно было представить себе, что он ставит на людей капканы. Он многословно выразил желание не задерживать внимание господина Банева на овладевших городом слухах, каковые слухи, он должен прямо признать, есть результат недостаточно точного и единодушного исполнения всеми уровнями администрации предначертаний господина Президента: мы имеем в виду чрезвычайно распространенное мнение о роковой роли так называемых мокрецов в резком изменении климата, об их ответственности за увеличение числа выкидышей и процента бесплодных браков, за гомерический исход из города некоторых домашних животных и за появление особой разновидности домашнего клопа, а именно клопа крылатого...

— Господин бургомистр,— сказал со вздохом Виктор,— должен вам признаться, что мне крайне трудно следить за вашими длинными периодами. Давайте говорить просто, как добрые сыновья одной нации. Давайте не будем говорить, о чем мы не будем говорить, и будем — о чем будем.

Бургомистр окинул его быстрым взглядом, что-то рассчитал, что-то сопоставил, черт его знает, что он там сопоставлял, но, наверное, все пошло в ход — и то, что Виктор пьянствовал с Росшепером, и то, что он вообще пьянствовал, шумно, на всю страну, и то, что Ирма — вундер-

кинд; и то, что есть на свете такая Диана, и еще, наверное, многое что — так что лоску у господина бургомистра на глазах поубавилось, и он крикнул подать себе рюмку коньяку. Виктор тоже крикнул подать себе коньяку. Бургомистр хохотнул, оглядел опустевший уже зал, легонько ударил кулаком по столу и сказал:

— Ладно, что нам с вами влиять, в самом деле. Жить в городе стало невозможно, скажите спасибо вашему Голему — кстати, вы знаете, что Голем — скрытый коммунист?.. Да-да, уверяю вас, есть материалы... он на ниточке висит, ваш Голем... Так вот я и говорю: детей развращают на глазах. Эти заразы просочились в школу и испортили ребятшек начисто... избиратели недовольны, некоторые город покидают, идет брожение, того и гляди начнутся самосуды, окружная администрация бездействует, вот такая у нас ситуация. — Он осушил рюмку. — Должен вам сказать, так я ненавижу эту мразь — зубами бы рвал, да тошнит. Вы не поверите, господин Банев, дошел до того, что капканы на них ставлю. Чув развратили детей, ладно. Дети есть дети, их сколько не развращай — им все мало. Но вы войдите в мое положение. Дожди эти все-таки их рук дело, не знаю, как это у них получается, но это так. Построили санаторий, целебные воды, роскошный климат, деньги гребни лопатой. Сюда из столицы ездили, и чем все кончилось? Дождь, туманы, клиенты в насморке, дальше — больше, приезжает сюда известный физик... забыл его фамилию, ну, да вы, наверное, знаете... прожил две недели — готово: очковая болезнь, в лепрозорий его. Хорошенькая реклама для санатория? Потом еще случай, потом еще и все — как ножом клиентов отрезало. Ресторан этот горит, отель горит, санаторий едва дышит — слава богу, нашелся дурак-тренер, привез сюда своих «Братьев по разуму»: тренирует команду-экстра для игры в дождливых странах... Ну и господин Росшепер, конечно, помогает в какой-то степени... Вы мне сочувствуете? Пробовал я договориться с этим Големом — как об стену горох: красный есть красный. Писал вверх — никаких результатов. Писал выше — ничего. Еще выше — отвечают, что приняли к сведению и дали делу ход вниз по инстанции... Ненавижу их, но переломил себя, поехал в лепрозорий сам. Пропустили. Просил, доказывал... До чего же гадкие типы! Моргают на тебя облезлыми своими глазами, как на воробья какого-нибудь, словно тебя здесь нет. — Он наклонился к Виктору и прошептал: — Бунта боюсь, кровь прольется. Вы мне сочувствуете?

— Да, — сказал Виктор. — А при чем здесь я?

Бургомистр откинулся на спинку кресла, достал из алюминиевого футляра початую сигару, закурил.

— В моем положении, — сказал он, — остается одно: нажимать на все рычаги. Гласность нужна. Муниципалитет составил петицию в департамент здравоохранения, господин Росшепер подпишется, вы, я надеюсь тоже, но это не бог весть что. Гласность нужна! Хорошая статья

нужна в столичной газете, подписанная известным именем, Вашим именем, господин Банев. А материал животрепещущий — как раз для такого трибуна, как вы. Очень прошу. И от себя лично, и от муниципалитета, и от несчастных родителей... Добиться, чтобы лепрозорий убрали отсюда к чертовой бабушке! Куда угодно, но чтобы духу здесь мокрецового не было, заразы этой. Вот что я вам имел сказать.

— Да-да, понимаю,— сказал Виктор медленно. — Очень хорошо вас понимаю.

«Хоть ты и скотина,— думал он,— хоть ты и боров, но понять тебя можно. Но что же это сделалось с мокрецами? Были тихие, сгорбленные, крались сторонкой, ничего о них такого не говорили, а говорили, будто воняет от них, будто заразные, будто здорово делают игрушки и вообще разные штуки из дерева... мать Фрэда говорила, помнится, что у них дурной глаз, что молоко от них киснет и что накликают они нам войну, мор и голод... А теперь сидят они за колючей проволокой, и что же они там у себя делают? Ох, много что-то они делают. И погоду они делают, и детей они переманивают (зачем?), и кошек они вывели (тоже зачем?), и клопы у них залетали...»

— Вы, наверное, думаете, что мы сидим сложа руки,— сказал бургомистр. — Ни в коем случае. Но что мы можем? Готовлю я процесс против Голема. Господин санитарный инспектор Павор Сумман согласен быть консультантом. Будем упираться на то, что вопрос об инфекционности болезни еще отнюдь не решен, а Голем, как скрытый коммунист, этим пользуется. Это одно. Далее, попытаемся отвечать террором на террор. Городской Легион, наша гордость, ребята подобрались золотые, орлы... но это как-то не то. Указаний сверху ведь не поступает... Полиция в ложном положении оказывается... и вообще... Так что препятствуем, как можем. Задерживаем грузы, которые идут к ним... частные, конечно, не продовольствие там, и не постельные принадлежности, а вот книги всякие, они их много выписывают... Вот сегодня задержали грузовик, и как-то легче на душе. Но это все мелочи, от тоски, а надо бы радикально...

— Так,— сказал Виктор. — Орлы, значит, золотые. Как его там... Фламенда?... Ну, тот, племянник...

— Фламин Ювента,— сказал бургомистр. — Так точно — мой заместитель по Легиону, орел! Вы его уже знаете?

— Знаю немного,— сказал Виктор. — А книги-то зачем задерживать?

— Ну как зачем?... Глупость это, конечно, но все мы люди, все мы человеки — накапливает все-таки. И потом... — Бургомистр стыдливо заулыбался: — Чепуха, конечно, но ходят слухи, будто без книг они не могут... как нормальные люди без еды и прочего.

Наступило молчание. Виктор без аппетита ковырял вилкой бифштекс и размышлял. Я мало знаю о мокрецах, и то, что я знаю, не

вызывает у меня к ним никаких симпатий. Может быть, дело в том, что я не очень-то любил их с детства. Но уж бургомистра и его банду я знаю хорошо — жир и сало нации, президентские холуи, черно-сотенцы... Нет, раз вы против мокрецов, значит, в мокрецах что-то есть... С другой стороны, статью написать можно, даже самую разнузданную, все равно никто не рискнет меня напечатать, а бургомистр был бы доволен, и получил бы я с него шерсти клочок, и мог бы жить здесь припеваючи... Кто из настоящих писателей может похвастаться, что живет припеваючи? Можно было бы здесь устроиться, получить синекуру, заделаться, например, каким-нибудь инспектором муниципалитета по городским пляжам и писать на здоровьице... про то, как хорошо жить хорошему человеку, который увлечен любимым делом... и выступать на эту тему перед вундеркиндами... Э, все дело в том, чтобы научиться утираться. Плонули тебе в морду, а ты и утерся. Сначала со стыдом утерся, потом с недоумением, а там, глядишь, начнешь утираться с достоинством и даже получать от этого процесса удовольствие...

— Мы, конечно, ни в коей мере вас не торопим, — сказал бургомистр. — Вы человек занятой и так далее. Что-нибудь в пределах недельки, а? Материалы все мы вам предоставим, можем предоставить даже этакую схемку, планчик, по которому было бы желательно... а вы коснетесь опытной рукой, и все заиграет. И подписались бы под статьей три выдающихся сына нашего города — член парламента Росшепер Нант, знаменитый писатель Банев и государственный лауреат доктор Рем Квадрига...

«Здорово работает, — подумал Виктор. — Вот у нас, у левых, такой настойчивости и в помине нет. Тянули бы бодягу, ходили бы вокруг да около — не оскорбить бы человека, не оказать бы на него излишнего нажима, чтобы, упаси бог, не заподозрил бы в своекорыстных намерениях... Выдающиеся сыновья!... И ведь совершенно уверен, подлец, что статью я напишу и подпишу, что деваться мне некуда, что придется опальному Баневу поднять лапки и в поте души отработать свое безмятежное пребывание в родном городишке... Вот и насчет схемки ввернул... знаем мы, что это за схемка и какая это должна быть схемка, чтобы забрызганного президентскими слюнями Банева и сейчас напечатали. Да-а, господин Банев... коньячок любишь, девочек любишь, миноги маринованные с луком любишь, так люби и саночки возить...»

— Я обдумаю ваше предложение, — сказал он, улыбаясь. — Замысел представляется мне достаточно интересным, но осуществление потребует некоторого напряжения совести. — Он безобразно, похабно подмигнул бургомистру.

Бургомистр гоготнул:

— А как же! «Совесь нации, точное зеркало» и прочее... Помню, как же... — Он снова наклонился к Виктору с видом заговорщика. —

Прошу вас завтра ко мне,— пророкотал он. — Исключительно свои подберутся. Только, чур, без жен. А?

— Вот здесь,— сказал Виктор, вставая,— я вынужден прямо и решительно отклонить ваше предложение. Меня ждут дела. — Он опять похабно подмигнул. — В санатории.

Они расстались почти приятелями. Писатель Банев был зачислен в состав городской элиты, и чтобы привести в порядок потрясенные такой честью нервы, ему пришлось вылакать фужер коньяку, едва спина господина бургомистра скрылась за дверью. «Можно, конечно, уехать отсюда к чертовой матери,— думал Виктор. — За границу меня не выпустят, да и не хочу я за границу, чего мне там делать, везде одно и то же. Но и у нас в стране найдется десяток мест, где можно укрыться и отсидеться. — Он представил себе солнечный край, буковые рощи, пьянящий воздух, молчаливых фермеров, запахи молока и меда... и навоза, и комары... и как воняет отхожее место, и скучища... древние телевизоры и местная интеллигенция: шустрый поп-бабник и сильно пьющий самогон учитель... — А в общем, что там говорить, есть куда уехать. Но ведь им только и надо, чтобы я уехал, чтобы скрылся с глаз долой, забился в нору, и причем сам, без принуждения, потому что ссылая меня хлопотно, шум пойдет, разговоры... вот ведь в чем вся беда: они же будут очень довольны — уехал, заткнулся, забыт, перестал брэнчать...»

Виктор расплатился, поднялся к себе в номер, надел плащ и вышел под дождь. Ему вдруг очень захотелось снова повидать Ирму, поговорить с ней о прогрессе, разъяснить, почему он так много пьет (а действительно, почему я так много пью?), может быть, Бол-Кунац окажется там, а уж Лолы наверняка не будет...

Улицы были мокрые, серые, пустые, в палисадах тихо гибли от сырости яблони. Виктор впервые обратил внимание на то, что некоторые дома заколочены. Городок все-таки сильно переменялся — покосились заборы, под карнизами выпала белая плесень, вылиняли краски, а на улицах безраздельно царил дождь. Дождь падал просто так, дождь сеялся с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирался на сквознях в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с урчанием хлестал из ржавых водосточных труб, дождь разливался по мостовой и бежал по промытым между булыжников руслам. Черно-серые тучи медленно ползали над самыми крышами. Человек был незванным гостем на улицах, и дождь его не жаловал.

Виктор вышел на городскую площадь и увидел людей. Они стояли под навесом на крыльце полицейского управления — двое полицейских в форменных плащах и маленький чумазый парнишка в промасленном комбинезоне. Перед крыльцом, левыми колесами на тротуаре, громоздился неуклюжий автофургон с брезентовым верхом. Один из полицейских был полицмейстер: выпятив могучую челюсть, он глядел

в сторону, а парнишка, отчаянно жестикулируя, что-то доказывал ему плаксивым голосом. Другой полицейский тоже молчал с недовольным видом и сосал сигарету. Виктор приближался к ним, и шагов за двадцать до крыльца ему стало слышно, что говорит парень. Парень кричал:

— А я-то здесь при чем? Правил я не нарушал? Груз правильный, вот накладная. Да что я первый раз здесь езжу, что ли?..

Полицейстер заметил Виктора, и лицо его приняло чрезвычайно неприязненное выражение. Он отвернулся и, словно бы не видя парнишки, сказал полицейскому:

— Значит, здесь будешь стоять. Смотри, чтобы все было в порядке. И в кабину не залезай, а то все растащат. И никого к машине не подпускай. Понял?

— Понял,— сказал полицейский. Он был очень недоволен.

Начальник полиции спустился с крыльца, сел в свой автомобиль и уехал. Чумазый шоферишка со злостью плюнул и воззвал к Виктору:

— Ну вот хоть вы скажите, виноват я или нет? — Виктор приостановился, и парня это воодушевило. — Еду нормально. Везу книги в спецзону. Тыщу раз уже возил. Теперь, значит, останавливают, приказывают ехать в полицию. За что? Правил я не нарушал? Не нарушал. Бумаги в порядке? В порядке, вот накладная. Лицензию отобрали, чтобы не сбегал. А куда мне бежать?

— Хватит тебе орать,— сказал полицейский.

Парень живо к нему обернулся:

— Так что я сделал? Скажите, я скорость превысил? Не превысил. С меня же за простой вычтут. И документ вот отобрали...

— Разберутся,— сказал полицейский. — Чего ты, в самом деле, расстраиваешься? Пойди вон в трактир, твое дело маленькое.

— Э-эх, начальнички-и! — вскричал парень, с размаху напяливая на всклокоченную голову картуз. — Нигде правды нету! Налево едешь — задерживают, направо едешь — опять задерживают. — Он спустился было с крыльца, но остановился и сказал полицейскому просительно: — Может, штраф возьмете или как-нибудь?

— Иди-иди,— проговорил полицейский.

— Так мне же премию обещали за срочность! Всю ночь гнал...

— Иди, говорю! — сказал полицейский.

Парень снова плюнул, подошел к своему фургону, два раза лягнул по переднему скату, потом вдруг ссутулился и, сунув руки в карманы, почесал через площадь.

Полицейский посмотрел на Виктора, посмотрел на грузовик, посмотрел на небо, сигарета у него погасла, он выплюнул окурочек и, на ходу отгибая капюшон, ушел в управление.

Виктор постоял некоторое время, затем медленно двинулся вокруг грузовика. Грузовик был здоровенный, мощный, раньше на таких возили мотопехоту. Виктор огляделся. В нескольких метрах перед

грузовиком, свернув набок переднее колесо, мокнул под дождем полицейский «харлей», а больше машин поблизости не было. «Догнать они меня догонят,— подумал Виктор,— но хрен они меня остановят. — Ему стало весело. — А какого черта,— подумал он,— известный писатель Банев, снова напившись допьяна, угнал в целях развлечения чужую машину; к счастью, обошлось без жертв...» Он понимал, что все обстоит не так просто, что не он будет первый, кто доставляет властям благовидный предлог упрятать беспокойного человека в кутузку, но не хотелось раздумывать, хотелось повиноваться импульсу. В крайнем случае напишу гаду статью, подумал он мельком.

Он быстро открыл дверцу кабины и сел за руль. Ключа не было, пришлось оборвать провода зажигания и соединить их накоротко. Когда мотор уже завелся, Виктор, прежде чем захлопнуть дверцу, поглядел назад, на крыльцо управления. Там стоял давешний полицейский все с тем же недовольным выражением лица и с сигаретой на губе. Заметно было, что он все видит, но ничего не понимает.

Виктор захлопнул дверцу, аккуратно съехал на мостовую, переключил скорость и рванулся в ближайший проезд. Было очень хорошо гнать по пустым, по заведомо пустым улицам, подымая водопады колесами из глубоких луж, ворочать тяжелый руль, наваливаясь всем телом,— мимо консервного завода, мимо парка, мимо стадиона, где «Братья по разуму», словно мокрые механизмы, все пинали и пинали свои мячи, и дальше, по шоссе, по рытвинам, подпрыгивая на сиденье и слыша, как сзади в кузове каждый раз тяжело ухаает плохо закрепленный груз. В зеркальце заднего вида погоня не обнаруживалась, да и вряд ли можно ее заметить так скоро за таким дождем. Виктор чувствовал себя очень молодым, очень кому-то нужным и даже пьяным. С потолка кабины ему подмигивали красотики, вырезанные из журналов, в «бардачке» он нашел пачку сигарет, и ему было так хорошо, что он чуть не проскочил перекресток, но вовремя притормозил и свернул по стрелке указателя: «Лепрозорий — 6 км». Здесь он почувствовал себя первооткрывателем, потому что ни разу еще не ездил и не ходил по этой дороге. А дорога оказалась хорошая, не в пример муниципальному шоссе — сначала очень ровный ухоженный асфальт, а потом даже бетонка, и когда он увидел бетонку, он сразу вспомнил про проволоку и про солдат, а еще через пять минут он все это увидел.

Проволочная ограда в один ряд тянулась в обе стороны от бетонки и пропадала за дождем. Дорогу перегораживали высокие ворота с караульной будкой, дверь будки была распахнута и на пороге уже стоял солдат в каске, в сапогах и в плащ-накидке, из-под которой высовывался ствол автомата. Еще один солдат, без каски, глядел в окошечко. «Никогда я не был в лагерях,— пропел Виктор,— но не говорите: слава богу...» Он сбросил газ и затормозил перед самыми ворота-

ми. Солдат вышел из будки и подошел к нему — молоденький такой, веснушчатый солдатик, всего лет восемнадцать.

— Здравствуйте,— сказал он. — Что вы так припоздали?

— Да вот, обстоятельства,— сказал Виктор, дивясь такому либерализму.

Солдатик оглядел его и вдруг подобрался.

— Ваши документы,— сказал он сухо.

— Какие там документы,— сказал Виктор весело. — Я же говорю — обстоятельства!

Солдат поджал губы.

— Вы что привезли? — спросил он.

— Книги,— ответил Виктор.

— А пропуск есть?

— Конечно, нет.

— Ага,— сказал солдат, и лицо его прояснилось. — То-то я гляжу... Тогда подождите. Тогда подождать вам придется.

— Имейте в виду,— сказал Виктор, подняв указательный палец. — За мною может быть погоня.

— Ничего, я быстро,— сказал солдат и, придерживая на груди автомат, забухал сапогами к караулке.

Виктор вылез из кабины и, стоя на подножке, поглядел назад. Ничего не было видно за дождем. Тогда он вернулся за руль и закурил. Было очень забавно. Впереди, за проволокой и за воротами тоже крутился дождь, там угадывались какие-то темные сооружения — то ли дома, то ли башни, но разобрать что-нибудь определенно было невозможно. «Неужели не пригласят посмотреть? — подумал Виктор. — Свинство будет, если не пригласят. Можно, правда, попытаться воззвать к Голему, он сейчас где-нибудь здесь... Так и сделаю,— подумал он. — Зря я, что ли, геройствовал...»

Солдатик снова вышел из караулки, а за ним выскочил старый знакомец, прыщавый мальчик-нигилист в одних трусах, очень сейчас веселый и без всяких следов всемирной тоски. Обогнав солдата, он вспрыгнул на подножку, заглянул в кабину, узнал, ахнул, засмеялся.

— Здравствуйте, господин Банев! Это вы? Вот здорово... Вы ведь книги привезли? А мы ждем-ждем...

— Ну что, все в порядке? — спросил подошедший солдатик.

— Да, это наша машина.

— Тогда загоняйте,— сказал солдатик. — А вам, сударь, придется выйти и подождать.

— Я хотел бы повидать доктора Голема,—сказал Виктор.

— Можно вызвать сюда,—предложил солдатик.

— Гм,—сказал Виктор и выразительно поглядел на мальчика. Мальчик виновато развел руками.

— У вас пропуска нет,— объяснил он.— А без пропуска они никого не пускают. Мы бы с радостью...

Ничего не оставалось, пришлось вылезать под дождь. Виктор соскочил на дорогу и, подняв капюшон, смотрел, как распахнулись ворота, грузовик дернулся и рывками заполз за ограду. Потом ворота закрылись. Виктор еще некоторое время слышал завывание двигателя и шипение тормозов, потом ничего не стало слышно, кроме шороха и плеска. «Вот так так,— подумал Виктор.— А я? — Он ощутил разочарование. Только теперь он понял, что совершал свои подвиги не бескорыстно, что он надеялся многое увидеть и многое понять... проникнуть, так сказать, в эпицентр. — Ну и черт с вами,— подумал он. Он поглядел вдоль бетонки. — До перекрестка шесть километров, и от перекрестка до города километров двадцать. Можно, конечно, от перекрестка до санатория — два километра. Свиньи неблагодарные... Под дождем... — Тут он заметил, что дождь ослабел. — И на том спасибо»,— подумал он.

— Так вызвать вам господина Голема? — спросил солдат.

— Голема? — Виктор оживился. Вообще неплохо бы прогнать старого хрыча под дождем взад и вперед, и потом у него — машина. И фляга. — А что же, вызовите.

— Это можно,— сказал солдатик. — Вызовем. Только навряд он выйдет, обязательно скажет, что занят.

— Ничего, ничего,— сказал Виктор. — Вы ему скажите, что Банев спрашивает.

— Банев? Ладно, скажу. Только он все равно не выйдет. Ну да мне нетрудно. Банев, значит... — И солдатик ушел, симпатичный такой солдатик, ласковый, сплюшные веснушки под каской.

Виктор закурил сигарету, и тут раздался треск мотоциклетного двигателя. Из туманной пелены на сумасшедшей скорости выскочил «харлей» с коляской, подлетел вплотную к воротам и остановился. В седле сидел тот самый полицейский с недовольным лицом, и еще один, до глаз закутанный в брезент, сидел в коляске. Сейчас начнется, подумал Виктор, надвигая капюшон поглубже. Но это не помогло. Полицейский с недовольным лицом слез с мотоцикла, подошел к Виктору и рывкнул:

— Где грузовик?

— Какой грузовик? — изумленно сказал Виктор, чтобы выиграть время.

— А вы не прикидывайтесь! — заорал полицейский. — Я вас видел! Вы под суд пойдете! Угон арестованной машины!

— Вы на меня не орите,— возразил Виктор с достоинством. — Чтэ за хамство? Я буду жаловаться.

Второй полицейский, разматывая на ходу брезентовые покровы, подошел и спросил:

— Тот?

На веснушчатом лице под каской появилось выражение озверелости. Полицейские бросились к мотоциклу, оседлали его, развернулись мимо Виктора, принявшего позу регулировщика, и ринулись прочь. Багровый полицейский прокричал ему что-то неслышное за треском мотора. Отъехав шагов на пятьдесят, они остановились.

— Близо,— сказал сержант с неодобрением. — Что же ты смотришь. Близо ведь.

— Дальше! — пронзительным голосом завопил солдатик, взмахивая автоматом. Полицейские отъехали дальше, и их не стало видно.

— Повಾದились посторонние толпиться у ворот,— сообщил сержант солдатику, глядя на Виктора. — Ну ладно, продолжай нести службу. — Он вернулся в караулку, а веснушчатый солдатик, понемногу остывая, несколько раз прошелся взад-вперед перед воротами.

Выждав несколько минут, Виктор осторожно осведомился:

— Прошу прощения, как там насчет доктора Голема?

— Нет его,— буркнул солдатик.

— Какая жалость,— сказал Виктор. — Тогда я пойду, пожалуй... — Он посмотрел в туман и дождь, где скрывались полицейские.

— Как так — пойдете? — встревоженно сказал солдатик.

— А что, нельзя? — спросил Виктор тоже встревоженно.

— Почему нельзя,— сказал солдатик. — Я насчет грузовика. Вы увидите, а грузовик как же? Грузовик от ворот положено уводить.

— А я здесь при чем? — спросил Виктор, тревожа все больше.

— Как так — при чем? Вы его привели, вы его... это... Всегда же так, а как же?

Черт, подумал Виктор. Куда я его дену?... С расстояния в сто метров доносилось тарахтенье мотоциклетного мотора, работающего на холостых оборотах.

— Вы его в самом деле угнали? — спросил солдатик с любопытством.

— Ну да! Полиция задержала шофера, а я, дурак, решил помочь...

— Да-а,— сочувственно протянул солдатик. — Прямо и не знаю, что вам посоветовать.

— А если я сейчас, скажем, пойду себе? — вкрадчиво спросил Виктор. — Стрелять не будете?

— Не знаю,— честно признался солдатик. — Вроде бы не положено. Спросить?

— Спросите,— сказал Виктор, соображая, успеет он удрать за пределы видимости или нет.

В эту минуту за воротами раздался гудок. Ворота растворились, и из зоны медленно выкатился злосчастный автофургон. Он остановился рядом с Виктором, дверца распахнулась, и Виктор увидел, что за рулем сидит уже не мальчик, как он ожидал, а лысый сутулый мокрец и смотрит на него. Виктор не двинулся с места, и тогда мокрец снял

с руля руку в черной перчатке и приглашающе похлопал по сиденью рядом с собой. «Соизволили снизойти», — горько подумал Виктор. Солдатик радостно сказал:

— Ну вот и хорошо, вот все и устроилось, поезжайте с богом.

У Виктора мелькнула мысль, что раз уж мокрец намерен сам доставить грузовик в город или куда там еще, словом, намерен сам иметь дело с полицией, то хорошо было бы тут же распрощаться и дунуть прямо через поле в санаторий, в обход засевшего в засаде «харлея».

— Там впереди полиция, — сказал он мокрецу.

— Ничего, садитесь, — сказал мокрец.

— Дело в том, что я украл этот грузовик из-под ареста.

— Я знаю, — терпеливо сказал мокрец. — Садитесь.

Момент был упущен. Виктор вежливо и сердечно попрощался с солдатиком, забрался на сиденье и захлопнул дверцу. Грузовик тронулся, и через минуту они увидели «харлей». «Харлей» стоял поперек шоссе, оба полицейских стояли рядом и делали жесты — к обочине. Мокрец затормозил, выключил двигатель и, высунувшись из кабины, сказал:

— Уберите мотоцикл, вы загородили дорогу.

— А ну, к обочине! — скомандовал полицейский с недовольным лицом. — И предъявите документы.

— Я еду в полицейское управление, — сказал мокрец. — Может быть, поговорим там?

Полицейский несколько растерялся и проворчал что-то, вроде «знаем мы вас». Мокрец спокойно ждал.

— Ладно, — сказал наконец полицейский. — Только машину поведу я, а этот пусть перейдет в мотоцикл.

— Пожалуйста, — согласился мокрец. — Но если можно, в мотоцикле поеду я.

— Еще лучше, — проворчал полицейский с недовольным лицом. У него даже лицо просветлело. — Вылезайте.

Они поменялись местами. Полицейский, зловеще покосившись на Виктора, принялся ерзать и изгибаться на сиденье, поправляя плащ, а Виктор, косясь на полицейского, смотрел, как мокрец, еще сильнее сутулясь и косолапя, похожий со спины на огромную тощую обезьяну, идет к мотоциклу и забирается в коляску. Дождь снова хлынул как из ведра, и полицейский включил дворники. Кортёж двинулся.

«Хотел бы я знать, чем все это кончится», — с некоторой томительностью подумал Виктор. — Смутную надежду, впрочем, подавало намерение мокреца явиться в полицию. Обнаглел мокрец нынешний, изнахалился... Но штраф, во всяком случае, с меня сдерут, этого не миновать. Чтоб полиция да потеряла случай содрать с человека штраф. А, плевать я хотел, все равно придется уносить отсюда ноги. Все хоро-

шо. По крайней мере душу отвел... — Он вытащил пачку сигарет и предложил полицейскому. Полицейский негодуяюще хрюкнул, но взял. Зажигалка у него не работала, и пришлось ему хрюкнуть еще раз, когда Виктор поднес ему свою. — Вообще его можно было понять, этого немолодого дядьку: лет сорок пять, наверное, а все ходит в младших полицейских, очевидно, из бывших коллаборационистов — не тех сажал и не ту задницу лизал, да и где ему в задницах разбираться, — та или не та... — Полицейский курил, и вид у него уже был менее недовольный, дела его оборачивались к лучшему. — Эх, бутылку бы мне сюда, — подумал Виктор. — Дал бы ему хлебнуть, рассказал ему пару ирландских анекдотов, поругал бы начальство, у которого сплошь любимчики верховодят, студентов бы обложил, глядишь — и оттаял бы человек...»

— Надо же, какой дождь хлещет, — сказал Виктор.

Полицейский хрюкнул довольно нейтрально, без озлобления.

— А ведь какой раньше здесь климат был, — продолжал Виктор. Тут его осенило. — И вот заметьте: у них там в лепрозории дождя нет, а как подъезжает человек к городу, так сразу ливень.

— Да уж, — сказал полицейский. — Они там в лепрозории ловко устроились.

Контакт налаживался. Поговорили о погоде — какая она была и какой, черт подери, стала. Выяснили общих знакомых в городе. Поговорили о столичной жизни, о мини-юбках, о язве гомосексуализма, об импортном бренди и контрабандных наркотиках. Естественно, отметили, что порядка не стало — те то, что до войны или, скажем, сразу после. Что полицейский — собачья должность, хоть и пишут в газетах: добрые, — мол, и строгие стражи порядка, незаменимая шестерня государственного механизма. А пенсионный возраст увеличивают, пенсии уменьшают, за ранение на посту дают гроши да еще вот теперь оружие отобрали и — что при таких условиях будет лезть из шкуры. Словом, обстановка создалась такая, что еще бы пару глотков, и полицейский сказал бы: «Ладно, парень, бог с тобой. Я тебя не видел и ты меня не видел». Однако пары глотков не было, а момент для вручения красненьких не успел созреть, так что, когда грузовик подкатил к подъезду полицейского управления, полицейский снова поугрюмел и сухо предложил Виктору следовать за ним и потапливаться.

Мокрец отказался давать объяснения дежурному и потребовал, чтобы их немедленно провели к начальнику полиции. Дежурный ему ответил, что, пожалуйста, начальник лично вас, вероятно, примет, а что касается вот этого господина, то он обвиняется в угоне машины, к начальнику ему идти незачем, а нужно его допросить и составить на него соответствующий протокол. Нет, твердо и спокойно сказал мокрец, ничего этого не будет, ни на какие вопросы господину Баневу

отвечать не придется и никаких протоколов господин Банев подписывать не станет, к чему имеются обстоятельства, касающиеся только господина полицеймейстера. Дежурный, которому было безразлично, пожал плечами и отправился доложить. Пока он докладывал, появился шоферишка в замасленном комбинезоне, который ничего не знал и был сильно поддавши, так что сразу принялся кричать о справедливости, невиновности и прочих страшных вещах. Мокрец осторожно взял у него накладную, которой тот размахивал, прилепился на барьере и подписал ее по всей форме. Шофер от изумления замолчал, и тут же мокреца и Виктора пригласили к начальству.

Полицеймейстер встретил их сурово. На мокреца он глядел с неудовольствием, а на Виктора избегал глядеть и вовсе.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Разрешите присесть? — осведомился мокрец.

— Да, прошу, — вынужденно сказал полицеймейстер после небольшой паузы.

Все сели.

— Господин полицеймейстер, — произнес мокрец. — Я уполномочен заявить вам протест против вторичного незаконного задержания грузов, адресованных лепрозорию.

— Да, я слышал об этом, — сказал полицеймейстер. — Водитель был пьян, мы вынуждены были его задержать. Думаю, что в ближайшие дни все разъяснится.

— Вы задержали не водителя, а груз, — возразил мокрец. — Однако это не столь уж существенно. Благодаря любезности господина Банева груз был доставлен лишь с небольшим опозданием, и вы должны быть признательны присутствующему здесь господину Баневу, ибо существенное опоздание груза по вашей, господин полицеймейстер, вине могло бы послужить для вас источником крупных неприятностей.

— Это забавно, — сказал полицеймейстер. — Я не понимаю и не желаю понимать, о чем идет речь, потому что, как должностное лицо, я не потерплю угроз. Что же касается господина Банева, то на этот счет существует уголовное законодательство, где такие случаи предусмотрены. — Он явно отказывался смотреть на Виктора.

— Я вижу, вы действительно не понимаете своего положения, — сказал мокрец. — Но я уполномочен довести до вашего сведения, что в случае нового задержания наших грузов вы будете иметь дело с генералом Пфердом.

Наступило молчание. Виктор не знал, кто такой генерал Пферд, но зато полицейскому это имя было явно знакомо.

— По-моему, это угроза, — сказал он неуверенно.

— Да, — согласился мокрец. — Причем угроза более чем реальная.

Полицеймейстер порывисто поднялся. Виктор с мокрецом тоже.

— Я приму к сведению все, что услышал сегодня, — объявил

полицмейстер. — Ваш тон, сударь, оставляет желать лучшего, однако я обещаю лицам, уполномочившим вас, что разберусь и, коль скоро обнаружатся виновные, накажу их. Это в полной мере касается и госпо-дина Банева.

— Господин Банев,— сказал мокрец,— если у вас будут непри-ятности с полицией по поводу этого инцидента, немедленно сообщите господину Голему... До свидания,— сказал он полицмейстеру.

— Всего хорошего,— отвечивал тот.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В восемь вечера Виктор спустился в ресторан и направился было прямо к своему столику, где уже сидела обычная компания, но его окликнул Тэдди.

— Здорово, Тэдди,— сказал Виктор, привалившись к стойке. — Как дела? — Тут он вспомнил. — А! Счет... Сильно я вчера?

— Счет — ладно,— проворчал Тэдди. — Не так уж и много — разбил зеркало и своротил рукомойник. А вот полицмейстера ты помнишь?

— А что такое? — удивился Виктор.

— Так я и знал, что ты не упомнишь,— сказал Тэдди. — Глаза у тебя были, брат, что у вареного пороса. Ничего не соображал... Так вот, ты,— он уставил Виктору в грудь указательный палец,— запер его, беднягу, в сортирной кабинке, припер дверцу метлой и не выпускал. А мы-то не знали, кто там, он только что пришел, мы думали, это Квадрига. Ну, думаем, ладно, пусть посидит... А потом ты его оттуда вытащил, стал кричать: ах, бедный, весь испачкался! — и совать его головой в рукомойник. Рукомойник своротил, и еле мы тебя, брат, оттащили.

— Серьезно? — сказал Виктор. — Ну и ну. То-то он сегодня на меня весь день волком смотрит.

Тэдди сочувственно покивал.

— Да, черт возьми, неудобно,— проговорил Виктор. — Извинить-ся надо бы... Как же он мне позволил? Ведь крепкий же мужчина...

— Я боюсь, не пришли бы тебе дело,— сказал Тэдди. — Сегодня утром тут уже ходил один легавый, снимал показания... Шестьдесят третья статья тебе обеспечена — оскорбительные действия при отягча-ющих обстоятельствах. А может, и того хуже. Террористический акт. Понимаешь, чем пахнет? Я бы на твоём месте... — Тэдди помотал головой.

— Что? — спросил Виктор.

— Говорят, сегодня к тебе бургомистр приходил,— сказал Тэдди.

— Да.

— Ну и что он?

— Да чепуха. Хочет, чтобы я статью написал. Против мокрецов.

— Ага! — сказал Тэдди и оживился. — Ну, тогда и в самом деле чепуха. Напиши ты ему эту статью, и все в порядке. Если бургомистр будет доволен, полицеймейстер и пикнуть не посмеет, можешь его тогда каждый день в унитаз заталкивать. Он у бургомистра вот где... — Тэдди показал громадный костлявый кулак. — Так что все в порядке. Давай я тебе по этому поводу налью за счет заведения. Очищенной?

— Можно и очищенной, — сказал Виктор задумчиво.

Визит бургомистра представлялся ему в совсем новом свете. «Вот как они меня, — подумал Виктор. — Да-а... Либо убирайся, либо делай, что велют, либо мы тебя скрутим. Между прочим, убраться тоже будет нелегко. Террористический акт, разыщут. Экий ты, братец, алкоголик, смотреть противно. И ведь не кого-нибудь, а полицеймейстера... Честно говоря, задумано и выполнено неплохо. — Он не помнил ничего, кроме кафельного пола, залитого водой, но очень хорошо представлял себе всю сцену. — Да, Виктор Банев, любимый ты мой человек, поросся ты мое вареное, оппозиционер кухонный, и даже не кухонный — прибранный, любимец господина Президента... да, видно, пришла к тебе пора, так сказать, продаваться... Рок-Тусов, человек опытный, по этому поводу говорит: продаваться надо легко и дорого — чем честнее твое перо, тем дороже оно обходится власти имущим, так что, и продаваясь, ты наносишь ущерб противнику, и надо стараться, чтобы ущерб этот был максимальным...» Виктор опрокинул рюмку очищенной, не испытав при этом никакого удовольствия.

— Ладно, Тэдди, — сказал он. — Спасибо. Давай счет. Много получилось?

— Твой карман выдержит, — ухмыльнулся Тэдди. Он достал из кассы листок бумаги. — Следует с тебя: за зеркало туалетное — семьдесят семь, за рукомойник фарфоровый — шестьдесят четыре всего, сам понимаешь, сто сорок один. А торшер мы списали на ту драку... Одного не понимаю, — продолжал он, следя, как Виктор отсчитывает деньги, — чем ты это зеркало раскокал? Здоровенное зеркало, в два пальца толщиной. Головой ты в него бился, что ли?

— Чьей? — хмуро спросил Виктор.

— Ладно, не горюй, — сказал Тэдди, принимая деньги, — напишешь статейку, реабилитируешься, гонорарчик отхватишь, вот все и окупится... Налить еще?

— Не надо, потом... Я еще подойду, когда поужинаю, — сказал Виктор и пошел на свое место.

В ресторане все было, как обычно, — полутьма, запахи, звон посуды на кухне; очкастый молодой человек с портфелем, спутником и бутылкой минеральной воды, согбенный доктор Р. Квадрига; прямой и подтянутый, несмотря на насморк, Павор, расплывшийся в

кресле Голем с разрыхленным носом спившегося пророка. Официант.
— Миноги,— сказал Виктор. — Бутылку пива. И чего-нибудь мясного.

— Доигрались,— сказал Павор с упреком. — Говорил я вам — бросьте пьянствовать.

— Когда это вы мне говорили? Не помню.

— А до чего ты доигрался? — осведомился доктор Р. Квадрига. — Убил наконец кого-нибудь?

— А ты тоже ничего не помнишь? — спросил его Виктор.

— Это насчет вчерашнего?

— Да, насчет вчерашнего... Напился, как зюзя,— сказал Виктор, обращаясь к Голему,— загнал господина полицмейстера в клозет...

— А-а! — сказал Р. Квадрига. — Это все вранье. Я так и сказал следователю. Сегодня утром ко мне приходил следователь. Понимаете, изжога зверская, голова трещит, сижу, смотрю в окно, и тут является эта дубина и начинает шить дело...

— Как вы сказали? — спросил Голем. — Шить?

— Ну да, шить,— сказал Р. Квадрига, протыкая воображаемой иглой воображаемую материю. — Только не штаны, а дело... Я ему прямо сказал: все вранье, вчера я весь вечер просидел в ресторане, все было тихо, прилично, как всегда, никаких скандалов, словом, скучища... Обойдется,— ободряюще сказал он Виктору. — Подумаешь... А зачем ты это сделал? Ты его не любишь?

— Давайте об этом не будем,— предложил Виктор.

— Так, а о чем же мы будем? — спросил Р. Квадрига обиженно. — Эти двое все время препираются, кто кого не пускает в лепрозорий. В кои веки случилось что-то интересное, и сразу — не будем.

Виктор откусил половину миноги, пожевал, отхлебнул пива и спросил:

— Кто такой генерал Пферд?

— Лошадь,— сказал Р. Квадрига. — Конь. Дер Пферд. Или дас.

— А все-таки,— сказал Виктор,— знает кто-нибудь такого генерала?

— Когда я служил в армии,— сказал доктор Р. Квадрига,— нашей дивизией командовал его превосходительство генерал от инфантерии Аршманн.

— Ну и что? — сказал Виктор.

— «Арш» по-немецки — задница,— сообщил молчавший до сих пор Голем. — Доктор шутит.

— А где вы слыхали про генерала Пферда? — спросил Павор.

— В кабинете у полицмейстера,— ответил Виктор.

— Ну и что?

— И все. Так никто не знает? Ну и прекрасно. Я просто так спросил.

— А фельдфебеля звали Баттокс,— заявил Р. Квадрига. — Фельдфебель Баттокс.

— Английский вы тоже знаете? — спросил Голем.

— Да, в этих пределах,— ответил Р. Квадрига.

— Давайте выпьем,— предложил Виктор. — Официант, бутылку коньяку!

— Зачем же бутылку? — спросил Павор.

— Чтобы хватило на всех.

— Опять учините какой-нибудь скандал.

— Да бросьте вы, Павор,— сказал Виктор. — Тоже мне абстинент.

— Я не абстинент,— возразил Павор. — Я люблю выпить и никогда не упускаю случая выпить, как и полагается настоящему мужчине. Но я не понимаю, зачем напиваться. И уж совершенно ни к чему, моему, напиваться каждый вечер.

— Опять он здесь,— сказал Р. Квадрига с отчаянием. — И когда успел?..

— Мы не будем напиваться,— сказал Виктор, разливая всем коньяк. — Мы просто выпьем. Как это делает сейчас половина нации. Другая половина напивается, ну и бог с ней, а мы просто выпьем.

— В том-то все и дело,— сказал Павор. — Когда по стране идет поголовное пьянство, и не только по стране, по всему миру, каждый порядочный человек должен сохранять благоразумие.

— Вы искренне полагаете нас порядочными людьми? — спросил Голем.

— Во всяком случае, культурными.

— По-моему,— сказал Виктор,— у культурных людей гораздо больше оснований напиваться, чем у некультурных.

— Возможно,— согласился Павор. — Однако культурный человек обязан держать себя в рамках. Культура обязывает... Мы вот сидим здесь почти каждый вечер, болтаем, пьем, играем в кости. А сказал кто-нибудь из нас за это время что-нибудь, пусть даже не умное, но хотя бы серьезное? Хихиканье, шуточки... одно хихиканье да шуточки.

— А зачем — серьезное? — спросил Голем.

— А затем, что все валится в пропасть, а мы хихикаем да шутим. Пирруем во время чумы. По-моему, стыдно, господа.

— Ну хорошо, Павор,— примирительно сказал Виктор. — Скажите что-нибудь серьезное. Пусть не умное, но хотя бы серьезное.

— Не желаю серьезного,— объявил Р. Квадрига. — Пьявки. Кочки. Фу!

— Цыц! — сказал ему Виктор. — Дрыхни себе... Правильно, Голем, давайте поговорим хоть раз о чем-нибудь серьезном. Павор, начинайте, расскажите нам про пропасть.

— Опять хихикаете? — сказал Павор с горечью.

— Нет,— сказал Виктор. — Честное слово — нет. Я ироничен —

может быть. Но это происходит оттого, что всю свою жизнь я слышу болтовню о пропастях. Все твердят, что человечество валится в пропасть, но доказать ничего не могут. И на поверку всегда оказывается, что весь этот философский пессимизм — следствие семейных неурядиц или нехватки денежных средств...

— Нет,— сказал Павор.— Нет... Человечество валится в пропасть, потому что человечество обанкротилось.

— Нехватка денежных средств,— пробормотал Голем.

Павор не обратил на него внимания. Он обращался исключительно к Виктору, говорил, нагнув голову и глядя исподлобья.

— Человечество обанкротилось биологически — рождаемость падает, распространяется рак, слабоумие, люди превратились в наркоманов. Они заглатывают сотни тонн алкоголя, никотина, просто наркотиков, они начинали с гашиша и кокаина и кончили ЛСД. Мы просто вымираем. Естественную природу мы уничтожили, а искусственная уничтожает нас. Далее, мы обанкротились идеологически — мы перебрали все философские системы и все их дискредитировали, мы перепробовали все мыслимые системы морали, но остались такими же аморальными скотами, как троглодиты. Самое страшное в том, что вся эта серая человеческая масса в наши дни остается той же сволочью, какой была всегда. Она постоянно жаждет и требует богов, вождей и порядка, и каждый раз, когда она получает богов, вождей и порядок, она делается недовольной, потому что на самом деле ни черта ей не надо, ни богов, ни порядка, а надо ей хаоса, анархии, хлеба и зрелищ. Сейчас она скована железной необходимостью еженедельно получать конвертик с зарплатой, но эта необходимость ей претит, и она уходит от нее каждый вечер в алкоголь и наркотики... Да черт с ней, с этой кучей гниющего дерьма, она смердит и воняет десять тысяч лет и ни на что больше не годится, кроме как смердить и вонять. Страшно другое — разложение захватывает нас с вами, людей с большой буквы, личностей. Мы видим это разложение и воображаем, будто оно нас не касается, но оно все равно отравляет нас безнадежностью, подтачивает нашу волю, засасывает... А тут еще это проклятье — демократическое воспитание: эгалитэ, фратэрнитэ, все люди — братья, все из одного теста... Мы постоянно отождествляем себя с чернью и ругаем себя, если случается нам обнаружить, что мы умнее ее, что у нас иные запросы, иные цели в жизни. Пора это понять и сделать выводы — спасаться пора.

— Пора выпить,— сказал Виктор. Он уже жалел, что согласился на серьезный разговор с санитарным инспектором. Было неприятно смотреть на Павора. Павор слишком разгорячился, у него даже глаза закосили. Это выпадало из образа, а говорил он, как и все адепты пропастей, лютую банальщину. Так и хотелось ему сказать: бросьте срамиться, Павор, а лучше повернитесь-ка профилем и иронически усмехнитесь.

— Это все, что вы можете мне ответить? — осведомился Павор.

— Я могу вам еще посоветовать. Побольше иронии, Павор. Не горячитесь так. Все равно вы ничего не можете. А если бы и могли, то не знали бы — что.

Павор иронически усмехнулся.

— Я-то знаю,— сказал он.

— Ну-с?

— Есть только одно средство прекратить разложение...

— Знаем, знаем,— легкомысленно сказал Виктор,— нарядить всех дураков в золотые рубашки и пустить маршировать. Вся Европа у нас под ногами. Было.

— Нет,— сказал Павор. — Это только отсрочка. А решение одно: уничтожить массу.

— У вас сегодня прекрасное настроение,— сказал Виктор.

— Уничтожить девяносто процентов населения,— продолжал Павор. — Может быть, даже девяносто пять. Масса выполнила свое назначение — она породила из своих недр цвет человечества, создавший цивилизацию. Теперь она мертва, как гнилой картофельный клубень, давший жизнь новому кусту картофеля. А когда покойник начинает гнить, его пора закапывать.

— Господи,— сказал Виктор. — И все это только потому, что у вас насморк и нет пропуска в лепрозорий? Или, может быть, семейные неурядицы?

— Не притворяйтесь дураком,— сказал Павор. — Почему вы не хотите задуматься над вещами, которые вам отлично известны? Из-за чего извращаются самые светлые идеи? Из-за тупости серой массы, которая выдвигает правительства, ее достойные. Из-за чего золотой век так же безнадежно далек от нас, как и во время оно? Из-за косности и невежества серой массы. В принципе Гитлер был прав, подсознательно прав, он чувствовал, что на земле слишком много лишнего. Но он был порождением серой массы и все испортил. Глупо было затевать уничтожение по расовому признаку. И кроме того, у него не было настоящих средств уничтожения.

— А по какому признаку собираетесь уничтожать вы? — спросил Виктор.

— По признаку незаметности,— ответил Павор. — Если человек сер, незаметен, значит, его надо уничтожить.

— А кто будет определять, заметный это человек или нет?

— Бросьте, это детали. Я вам излагаю принцип, а кто, что и как — это детали.

— А чего это ради вы связались с бургомистром? — спросил Виктор, которому Павор надоел.

— То есть?

— На кой черт вам этот судебный процесс? Мельчите, Павор! И ведь всегда так с вами, со сверхчеловеками. Собираетесь перепахи-

вать мир, меньше чем на три миллиарда трупов не согласны, а тем временем то беспокоитесь о чинах, то от триппера лечитесь, то за малую корысть помогаете сомнительным людям обделять темные делишки.

— Вы все-таки полегче,— сказал Павор. Видно было, что он здорово взбесился. — Вы же сами — пьяница и бездельник...

— Во всяком случае, я не затеваю дутых политических процессов и не берусь переделывать мир.

— Да,— сказал Павор. — Вы даже на это не способны, Банев. Вы ведь всего-навсего богема, то есть, короче говоря, подонок, дешевый фрондер и дерьмо. Вы сами не знаете, чего вы хотите и делаете только то, чего хотят от вас. Потакаете желаниям таких же подонков, как вы, и воображаете поэтому, что вы потрясатель основ и свободный художник. А вы просто поганый рифмач из тех, которые расписывают общественные сортиры.

— Все это правильно,— согласился Виктор. — Жалко только, что вы не сказали этого раньше. Понадобилось вас обидеть, чтобы вы это сказали. Вот и получается, что вы — гаденькая личность, Павор. Всего лишь один из многих. И если будут уничтожать, то вас уничтожат. По принципу незаметности. Философствующий санитарный инспектор? В печку его!

«Интересно, как мы выглядим со стороны,— подумал он. — Павор отвратителен... Ну и улыбочка! Что это с ним сегодня? А Квадрига спит, что ему ссоры, серая масса и вся эта философия... А Голем развалился, как в театре, рюмочка в пальцах, рука за спинкой кресла, ждет, кто кому врежет. Что-то Павор долго молчит... Аргументы подбирает, что ли?»

— Ну, хорошо,— сказал наконец Павор. — Поговорили и будет.

Улыбочка у него исчезла, глаза снова сделались как у штурмбан-нфюрера. Он бросил на стол кредитку, допил коньяк и, не прощаясь, ушел. Виктор почувствовал приятное разочарование.

— Все-таки для писателя вы отвратительно плохо разбираетесь в людях,— сказал Голем.

— Это не мое дело,— легко сказал Виктор,— пусть в людях разбираются психологи и департамент безопасности. Мое дело — улавливать тенденции повышенным чутьем художника... А к чему вы это говорите? Опять «Виктуар, перестаньте брэнчать»?

— Я вас предупреждал: не трогайте Павора.

— Какого черта,— сказал Виктор. — Во-первых, я его не трогал. Это он меня трогал. А во-вторых, он свинья. Вы знаете, что он помогает бургомистру упечь вас под суд?

— Догадываюсь.

— Вас это не волнует?

— Нет. Руки у них короткие. То есть у бургомистра руки коротки и у суда.

— А у Павора?

— А у Павора руки длинные,— сказал Голем. — И поэтому перестаньте при нем бренчать. Вы же видите, что я при нем не бренчу.

— Интересно, при ком вы бренчите,— проворчал Виктор.

— При вас я иногда бренчу. У меня к вам слабость. Налейте мне коньяку.

— Прошу. — Виктор налил. — Может, разбудим Квадригу? Что он, в самом деле, даже не защитил меня от Павора.

— Нет, не надо его будить. Давайте поговорим. Зачем вы впутываетесь в эти дела? Кто вас просил угонять грузовик?

— Мне так захотелось,— сказал Виктор. — Свинство — задерживать книги. И потом, меня расстроил бургомистр. Он покусился на мою свободу. Каждый раз, когда покушаются на мою свободу, я начинаю хулиганить... Кстати, Голем, а может генерал Пферд заступится за меня перед бургомистром?

— Чихал он на вас вместе с бургомистром,— сказал Голем. — У него своих забот хватает.

— А вы ему скажите — пусть заступится. А не то я напишу разгромную статью против вашего лепрозория, как вы кровь христианских младенцев используете для лечения очковой болезни. Вы думаете, я не знаю, зачем мокрецы приваживают детишек? Они, во-первых, сосут из них кровь, а во-вторых — растлевают. Опозорю вас перед всем миром. Кровосос и растлитель под маской врача. — Виктор чокнулся с Големом и выпил. — Между прочим, я говорю серьезно. Бургомистр принуждает меня написать такую статью. Вам, конечно, это тоже известно.

— Нет,— сказал Голем. — Но это не существенно.

— Я вижу, вам все не существенно,— сказал Виктор. — Весь город против вас — не существенно. Вас отдадут под суд — не существенно. Санинспектор Павор раздражен вашим поведением — не существенно. Модный писатель Банев тоже раздражен и готовит гневное перо — опять же не существенно. Может быть, генерал Пферд — это псевдоним господина Президента? Кстати, этот всемогущий генерал знает, что вы — коммунист?

— А почему раздражен писатель Банев? — спокойно спросил Голем. — Только не орите так, Тэдди оборачивается.

— Тэдди — наш человек,— возразил Виктор. — Впрочем, он тоже раздражен: его заели мыши. — Он насупил брови и закурил сигарету. — Погодите, что это вы меня спрашивали... А, да. Я раздражен потому, что вы не пустили меня в лепрозорий. Все-таки я совершил благородный поступок. Пусть даже глупый, но ведь все благородные поступки глупые. И еще раньше я носил мокреца на спине.

— И дрался за него,— добавил Голем.

— Вот именно. И дрался.

— С фашистами,— сказал Голем.

— Именно с фашистами.

— А у вас пропуск есть? — спросил Голем.

— Пропуск... Вот Павора вы тоже не пускаете, и он на глазах превратился в демофоба.

— Да, Павору здесь не везет, — сказал Голем. — Вообще он способный работник, но здесь у него ничего не получается. Я все жду, когда он начнет делать глупости. Кажется, уже начинается.

Доктор Р. Квадрига поднял взлохмаченную голову и сказал:

— Крепко. Вот пойду, и там посмотрим. Дух вон. — Голова его снова со стуком упала на стол.

— А все-таки, Голем, — сказал Виктор, понизив голос, — это правда, что вы коммунист?

— Мне помнится, компартия у нас запрещена, — заметил Голем.

— Господи, — сказал Виктор. — А какая партия у нас разрешена? Я же не о партии спрашиваю, а о вас...

— Я, как видите, разрешен, — сказал Голем.

— В общем, как хотите, — сказал Виктор. — Мне-то все равно. Но бургомистр... впрочем, на бургомистра вам наплевать. А вот если дознается генерал Пферд...

— Но мы ему не скажем, — доверительно шепнул Голем. — Зачем генералу вдаваться в такие мелочи? Знает он, что есть лепрозорий, а в лепрозории какой-то Голем, мокрецы какие-то, ну и ладно.

— Странный генерал, — задумчиво сказал Виктор. — Генерал от лепрозория... Между прочим, с мокрецами у него скоро, наверное, будут неприятности. Я это чувствую повышенным чутьем художника. В нашем городе прямо-таки свет клином сошелся на мокрецах.

— Если бы только в городе, — сказал Голем.

— А в чем дело? Это же просто больные люди и даже, кажется, не заразные.

— Не хитрите, Виктор. Вы прекрасно знаете, что это не просто больные люди. Они даже заразы не совсем просто.

— То есть?

— То есть. Тэдди вот, например, заразиться от них не может. И бургомистр не может, не говоря уже о полицмейстере. А кто-нибудь другой — может.

— Вы, например?

Голем взял бутылку, с удовольствием посмотрел ее на свет и разлил коньяк.

— Я тоже не могу. Уже.

— А я?

— Не знаю. Вообще все это — только моя гипотеза. Не обращайтесь внимания.

— Не обращаю, — грустно сказал Виктор. — А чем они еще необыкновенны?

— Чем они необыкновенны? — повторил Голем. — Вы могли сами заметить, Виктор, что все люди делятся на три большие группы. Вернее, на две большие и одну маленькую... Есть люди, которые не могут жить без прошлого, они целиком в прошлом, более или менее отдаленном. Они живут традициями, обычаями, заветами, они черпают в прошлом радость и пример. Скажем, господин Президент. Что бы он делал, если бы у нас не было нашего великого прошлого? На что бы он ссылаясь и откуда бы он взялся вообще?.. Потом есть люди, которые живут настоящим и знать не желают будущего и прошлого. Вот вы, например. Все представления о прошлом вам испортил господин Президент, в какое бы прошлое вы ни заглянули, везде вам видится все тот же господин Президент. Что же до будущего, то вы не имеете о нем ни малейшего представления и, по-моему, боитесь иметь... И наконец, есть люди, которые живут будущим. От прошлого они совершенно справедливо не ждут ничего хорошего, а настоящее для них — это только материал для построения будущего, сырье... Да они, собственно, и живут-то уже в будущем... на островках будущего, которые возникли вокруг них в настоящем... — Голем, как-то странно улыбаясь, поднял глаза к потолку. — Они умны, — проговорил он с нежностью. — Они чертовски умны — в отличие от большинства людей. Они все как на подбор талантливы, Виктор. У них странные желания и полностью отсутствуют желания обыкновенные.

— Обыкновенные желания — это, например, женщины...

— В каком-то смысле — да.

— Водка, зрелища?

— Безусловно.

— Страшная болезнь, — сказал Виктор. — Не хочу... И все равно непонятно... Ничего не понимаю. Ну, то, что умных людей сажают за колючую проволоку, — это я понимаю. Но почему их выпускают, а к ним не пускают...

— А может быть, это не они сидят за колючей проволокой, а вы сидите.

Виктор усмехнулся.

— Подождите, — сказал он. — Это еще не все непонятное. При чем здесь, например, Павор? Ну ладно — меня не пускают, я человек посторонний. Но должен же кто-то инспектировать состояние постельного белья и отхожих мест? Может быть, у вас там антисанитарные условия.

— А если его интересуют не санитарные условия?

Виктор в замешательстве посмотрел на Голема.

— Вы опять шутите? — спросил он.

— Опять нет, — ответил Голем.

— Так он что, по-вашему, шпион?

— Шпион — слишком емкое понятие, — возразил Голем.

— Погодите,— сказал Виктор. — Давайте начистоту. Кто намотал проволоку и поставил охрану?

— Ох уж эта проволока,— вздохнул Голем. — Сколько об нее было порвано одежды, а эти солдаты постоянно болеют поносом. Вы знаете лучшее средство от поноса? Табак с портвейном... точнее, портвейн с табаком.

— Ладно,— сказал Виктор. — Значит, генерал Пферд. Ага... — сказал ок. — И этот молодой человек с портфелем... Вот оно что! Значит, это у вас просто военная лаборатория. Понятно... А Павор, значит, не военный. По другому, значит, ведомству. Или, может быть, он шпион не наш, иностранный?

— Упаси бог! — сказал Голем с ужасом. — Этого нам еще не хватало...

— Так... А он знает, кто этот парень с портфелем?

— Думаю, да,— сказал Голем.

— Вы ему ничего не сказали?

— Какое мне дело?

— И генералу Пферду не сказали?

— И не подумал.

— Это несправедливо,— произнес Виктор,— надо сказать.

— Слушайте, Виктор,— сказал Голем,— я позволил вам болтать на эту тему только для того, чтобы вы испугались и не лезли в чужую кашу. Вам это совершенно ни к чему. Вы и так уже на заметке, вас могут погасить, вы даже пикнуть не успеете.

— Меня испугать нетрудно,— сказал Виктор со вздохом. — Я напуган с детства. И все-таки я никак не могу понять: что им всем нужно от мокрецов?

— Кому — им? — устало и укоризненно спросил Голем.

— Павору. Пферду. Парню с портфелем. Всем этим крокодилам.

— Господи,— сказал Голем,— ну что в наше время нужно крокодилам от умных и талантливых людей? Я вот не понимаю, что в а м от них нужно. Что вы лезете во все эти дела? Мало вам собственных неприятностей? Мало вам господина Президента?

— Много,— согласился Виктор. — Я сыт по горло.

— Ну и прекрасно. Поезжайте в санаторий, возьмите с собой пачку бумаги... хотите, я подарю вам пишущую машинку?

— Я пишу по старой системе,— сказал Виктор. — Как Хемингуэй.

— Вот и прекрасно. Я вам подарю огрызок карандаша. Работайте, любите Диану. Может быть, вам еще сюжет дать? Может быть, вы уже исписались?

— Сюжеты рождаются из темы,— важно сказал Виктор. — Я изучаю жизнь.

— Ради бога,— сказал Голем. — Изучайте жизнь, сколько вам угодно. Только не вмешивайтесь в процессы.

— Это невозможно,— возразил Виктор. — Прибор неизбежно влияет на картину эксперимента. Разве вы забыли физику? Ведь мы наблюдаем не мир, как таковой, а мир плюс воздействие наблюдателя.

— Вам уже один раз дали кастетом по черепу, а в следующий раз могут просто пристрелить.

— Ну,— сказал Виктор,— во-первых, может быть, вовсе не кастетом, а кирпичом. А во-вторых, мало ли где мне могут дать по черепу? Меня в любой момент могут подвесить, так что же теперь — из номера не выходить?

Голем покусал нижнюю губу. У него были желтые лошадиные зубы.

— Слушайте, вы, прибор,— сказал он,— вы тогда вмешались в эксперимент совершенно случайно — и немедленно получили по башке. Если теперь вы вмешаетесь сознательно...

— Я ни в какой эксперимент не вмешивался,— сказал Виктор. — Я шел себе спокойно от Лолы и вдруг вижу...

— Идиот,— сказал Голем. — Идет он себе и видит. Надо было перейти на другую сторону, ворона вы безмозглая!

— Чего это ради я буду переходить на другую сторону?

— А того ради, что один ваш хороший знакомый занимался выполнением своих прямых обязанностей, а вы туда влезли, как баран.

Виктор выпрямился.

— Какой еще хороший знакомый? Там не было ни одного знакомого.

— Знакомый подоспел сзади с кастетом. У вас есть знакомые с кастетами?

Виктор залпом допил свой коньяк. С удивительной отчетливостью он вспомнил: Павор с покрасневшим от гриппа носом вытаскивает из кармана платок, и кастет со стуком падает на пол — тяжелый, тусклый, прикладистый.

— Бросьте,— сказал Виктор и откашлялся. — Ерунда. Не мог Павор...

— Я не называл никаких имен,— возразил Голем.

Виктор положил руки на стол и оглядел свои сжатые кулаки.

— При чем здесь его обязанности? — спросил он.

— Кому-то понадобился живой мокрец, очевидно. Киднапинг.

— А я помешал?

— Пытались помешать.

— Значит, они его все-таки схватили?

— И увезли. Скажите спасибо, что вас не прихватили — во избежание утечки информации. Их ведь судьбы литературы не занимают.

— Значит, Павор... — медленно сказал Виктор.

— Никаких имен,— напомнил Голем строго.

— Сукин сын,— сказал Виктор. — Ладно, посмотрим... А зачем им понадобился мокрец?

— Ну как — зачем? Информация... Где взять информацию? Сами знаете — проволока, солдаты, генерал Пферд...

— Значит, сейчас его там допрашивают? — проговорил Виктор.

Голем долго молчал. Потом сказал:

— Он умер.

— Забили?

— Нет. Наоборот. — Голем снова помолчал. — Они болваны. Не давали ему читать, и он умер от голода.

Виктор быстро взглянул на него. Голем печально улыбался. Или плакал от горя. Виктор почувствовал вдруг ужас и тоску, душную тоску. Свет торшера померк. Это было похоже на сердечный приступ. Виктор задохнулся и с трудом оттянул узел галстука. «Боже мой, — подумал он, — какая же это дрянь, какая гадость, бандит, холодный убийца... а после этого, через час, помыл руки, попрыскался духами, прикинул, какие благодарности перепадут от начальства, и сидел рядом, и чокался со мной, и улыбался мне, и говорил со мной, как с товарищем, подлец, и все врал, с удовольствием врал, наслаждался, издевался надо мной, хихикал в кулак, когда я отворачивался, подмигивал сам себе, а потом сочувственно спрашивал, что у меня с головой... — Словно сквозь черный туман, Виктор видел, как доктор Р. Квадрига медленно поднял голову, разинул в неслышном крике запекшийся рот и стал судорожно шарить по скатерти трясущимися руками, как слепой, и глаза у него были, как у слепого, когда он вертел головой и все кричал, кричал, а Виктор ничего не слышал... — И правильно, я сам дерьмо, никому не нужный, мелкий человек, в морду меня, сапогом, и держать за руки, не давать утираться, и на кой черт я кому нужен, надо было бить крепче, чтобы не встал, а я как во сне, ватными кулаками, и боже мой, на кой черт я живу и на кой черт живут все, ведь это так просто, подойти сзади и ударить железом в голову, и ничего не изменится, ничего в мире не изменится, родится за тысячу километров отсюда в ту же самую секунду другой такой же ублюдок... Жирное лицо Голема обрюзгло еще сильнее и стало черным от проступившей щетины, глаза совсем заплыли, он лежал в кресле неподвижно, как бурдюк с прогорклым маслом, двигались только пальцы, когда он медленно брал рюмку за рюмкой, беззвучно отламывал ножку, ронял и снова брал, и снова ломал и ронял... И никого не люблю, не могу любить Диану, мало ли с кем сплю, спать все умеют, но разве можно любить женщину, которая тебя не любит, а женщина не может любить, когда ты не любишь ее, и так все вертится в проклятом бесчеловечном кольце, как змея вертится, гонится за своим хвостом, как животные спариваются и разбегаются... А Тэдди плакал, поставив локти на стойку, положив костлявый подбородок на костлявые кулаки, его лысый лоб шафранно блестел под лампой, и по впалым щекам безостановочно текли слезы, и они тоже блестели

под лампой... А все потому, что я дерьмо и никакой не писатель, какой из меня к черту писатель, если я не терплю писать, если писать — это мучение, стыдное, неприятное занятие, что-то вроде болезненного физиологического отправления, вроде поноса, вроде выдавливания гноя из чирья, ненавижу, страшно подумать, что придется заниматься этим всю жизнь, что уже обречен, что теперь уже не отпустят, а будут требовать: давай, давай, и я буду давать, но сейчас не могу, даже думать об этом не могу, господи, пусть я не буду об этом думать, а то меня вырвет...» Бол-Кунац стоял за спиной Р. Квадриги и смотрел на часы, тоненький, мокрый, с мокрым свежим лицом, с чудными темными глазами, и от него, разрывая плотную горячую духоту, шел свежий запах — запах травы и ключевой воды, запах лилий, солнца и стрекоз над озером... И мир вернулся. Только какое-то смутное воспоминание, или ощущение, или воспоминание об ощущении метнулось за угол: чей-то отчаянный оборвавшийся крик, непонятный скрежет, звон, хруст стекла...

Виктор облизнул губы и потянулся за бутылкой. Доктор Р. Квадрига, лежа головой на скатерти, хрипло бормотал: «Ничего не нужно. Спрячьте меня. Ну их...» Голем озабоченно сметал со стола стеклянные обломки. Бол-Кунац сказал:

— Господин Голем, простите, пожалуйста. Вам письмо. — Он положил перед Големом конверт и снова взглянул на часы. — Добрый вечер, господин Банев.

— Добрый вечер, — сказал Виктор, наливая себе коньяку.

Голем внимательно читал письмо. За стойкой Тэдди шумно сморкался в клетчатый носовой платок.

— Слушай, Бол-Кунац, — сказал Виктор. — Ты видел, кто меня тогда ударил?

— Нет, — ответил Бол-Кунац, поглядев ему в глаза.

— Как так — нет? — сказал Виктор, нахмурившись.

— Он стоял ко мне спиной, — объяснил Бол-Кунац.

— Ты его знаешь, — сказал Виктор. — Кто это был?

Голем издал неопределенный звук. Виктор быстро оглянулся на него. Голем, не обращая ни на кого внимания, задумчиво рвал записку на мелкие клочки. Обрывки он спрятал в карман.

— Вы ошибаетесь, — сказал Бол-Кунац, — я его не знаю.

— Банев, — пробормотал Р. Квадрига. — Я тебя прошу... Я не могу там один... Пойдем со мной... Очень жутко...

Голем поднялся, поискал пальцем в жилетном кармане, потом крикнул:

— Тэдди! Запишите на меня... и учтите, что я разбил четыре рюмки... Ну, я пошел, — сказал он Виктору. — Подумайте и примите разумное решение. Может быть, вам лучше даже уехать.

— До свидания, господин Банев, — вежливо сказал Бол-Кунац.

Виктору показалось, что мальчик едва заметно отрицательно покачал головой.

— До свидания, Бол-Кунац,— сказал он,— до свидания.

Они ушли. Виктор в задумчивости допил коньяк. Подошел официант, лицо у него было опухшее, все в красных пятнах. Он стал убирать со стола, и движения его были непривычно неловки и неуверенны.

— Вы здесь недавно? — спросил Виктор.

— Да, господин Банев. Сегодня с утра.

— А что Питер? Заболел?

— Нет, господин Банев. Он уехал. Не выдержал. Я тоже, наверное, уеду...

Виктор посмотрел на Р. Квадригу.

— Отведите его потом в номер,— сказал он.

— Да, конечно, господин Банев,— ответил официант нетвердым голосом.

Виктор расплатился, прощально помахал Тэдди и вышел в вестибюль. Он поднялся на второй этаж, подошел к двери Павора, поднял руку, чтобы постучать, постоял так немного и, не постучав, снова спустился вниз. Портье за своей конторкой с изумлением рассматривал руки. Руки у него были мокрые, к ним пристали клочья волос, и волосами был обсыпан его форменный сюртук, а на лице, на обеих щеках вспухли свежие царапины. Он посмотрел на Виктора— глаза у него были ошалелые. Но сейчас нельзя было замечать всех этих странностей, это было бы бестактно и жестоко, и тем более нельзя было говорить об этом, необходимо было сделать вид, будто ничего не случилось, все это надо было отложить на потом, на завтра или, может быть, даже на послезавтра. Виктор спросил:

— Где остановился этот... знаете, молодой человек в очках, он всегда ходит с портфелем?

Портье замаялся. Как бы в поисках выхода он посмотрел на номерную доску с ключами, потом все-таки ответил:

— В триста двенадцатом, господин Банев.

— Спасибо,— сказал Виктор, кладя на конторку монету.

— Только они не любят, когда их беспокоят,— нерешительно предупредил портье.

— Я знаю,— сказал Виктор. — Я и не думал их беспокоить. Я просто так спросил... загадал, понимаете ли; если в четном, то все будет хорошо.

Портье бледно улыбнулся.

— Какие же у вас могут быть неприятности, господин Банев,— вежливо сказал он.

— Всякие могут быть,— вздохнул Виктор. — Большие и малые. Спокойной ночи.

Он поднялся на третий этаж, двигаясь неторопливо, нарочито

неторопливо, словно бы для того, чтобы все обдумать, и взвесить, и прикинуть возможные последствия, и учесть все на три года вперед, но на самом деле думал он только о том, что ковер на лестнице давным-давно пора сменить, облез ковер, вытерся. И только уже перед тем как постучать в дверь триста двенадцатого номера (люкс, две спальни и гостиная, телевизор, приемник первого класса, холодильник и бар), он чуть не сказал вслух: «Вы крокодилы, господа? Очень приятно. Так вы у меня будете жрать друг друга».

Стучать пришлось довольно долго: сначала деликатно, костяшками пальцев, а когда не ответили — более решительно, кулаком, а когда и на это не отреагировали — только скрипнули половицей и задышали в замочную скважину — тогда, повернувшись задом, каблуком, уже совсем грубо.

— Кто там? — спросил наконец голос за дверью.

— Сосед,— ответил Виктор. — Откройте на минуту.

— Что вам надо?

— Мне надо сказать вам пару слов.

— Приходите утром,— сказал голос за дверью. — Мы уже спим.

— Черт бы вас подрал,— сказал Виктор, рассердившись. — Вы хотите, чтобы меня здесь увидели? Откройте, чего вы боитесь?

Щелкнул ключ, и дверь приоткрылась. В щели появился тусклый глаз долговязого профессионала. Виктор показал ему раскрытые ладони.

— Пару слов,— сказал он.

— Заходите,— сказал долговязый. — Только без глупостей.

Виктор вошел в прихожую, долговязый закрыл за ним дверь и зажег свет. Прихожая была тесная, вдвоем они с трудом помещались в ней.

— Ну, говорите,— сказал долговязый. Он был в пижаме, спереди чем-то запачканной. Виктор с изумлением принялся — от долговязого несло спиртным. Правую руку он, как и полагалось, держал в кармане.

— Мы так и будем здесь беседовать? — осведомился Виктор.

— Да.

— Нет,— сказал Виктор. — Здесь я беседовать не буду.

— Как хотите. Мое дело маленькое.

Они помолчали. Долговязый, уже не скрываясь, внимательно общался с Виктором глазами.

— Кажется, ваша фамилия Банев? — сказал он.

— Кажется.

— Ага,— сказал долговязый хмуро. — Так какой же вы сосед? Вы живете на втором этаже.

— Сосед по гостинице,— объяснил Виктор.

— Ага... Так что вам нужно, я не пойму.

— Мне нужно кое-что вам сообщить,— сказал Виктор. — Есть кое-какая информация. Но я уже начинаю раздумывать, стоит ли...

— Ну, ладно,— сказал долговязый. — Пойдемте в ванную.

— Знаете,— сказал Виктор,— я, пожалуй, уйду.

— А почему вы не хотите в ванную? Что за капризы?

— Вы знаете,— сказал Виктор,— я раздумал. Я, пожалуй, пойду.

В конце концов, это не мое дело. — Он сделал движение.

Долговязый даже закричал от раздражавших его противоречий.

— Вы, по-моему, писатель,— сказал он. — Или я вас с кем-то путаю?

— Писатель, писатель,— сказал Виктор. — До свидания.

— Да нет, погодите. Так бы сразу и сказали. Пойдемте. Вот сюда.

Они вошли в гостиную, где сплошь были портьеры — справа портьеры, слева портьеры, прямо, на огромном окне, портьеры. Огромный телевизор в углу сверкал цветным экраном, звук был выключен. В другом углу из мягкого кресла под торшером смотрел на Виктора поверх развернутой газеты очкастый молодой человек, тоже в пижаме и шлепанцах. Рядом с ним на журнальном столике возвышалась четырехугольная бутылка и сифон. Портфеля нигде не было видно.

— Добрый вечер,— сказал Виктор.

Молодой человек молча наклонил голову.

— Это ко мне,— сказал долговязый. — Не обращай внимания.

Молодой человек снова кивнул и закрылся газетой.

— Прошу сюда,— сказал долговязый. Они прошли в спальню направо, и долговязый сел на кровать. — Вот кресло,— сказал он. — Садитесь и выкладывайте.

Виктор сел. В спальне густо пахло застоявшимся табачным дымом и офицерским одеколоном. Долговязый сидел на кровати и смотрел на Виктора, не вынимая руки из кармана. В гостиной хрустела газета.

— Ладно,— сказал Виктор. Не то, чтобы ему удалось полностью преодолеть отвращение, но раз он сюда пришел, надо было говорить. — Я примерно представляю себе, кто вы такие. Может быть, я ошибаюсь, и тогда все в порядке. Но если я не ошибаюсь, то вам полезно будет узнать, что за вами следят и стараются вам помешать.

— Предположим,— сказал долговязый. — И кто же за нами следит?

— Вами очень интересуется человек по имени Павор Сумман.

— Что? — сказал долговязый. — Санинспектор, что ли?

— Он не санинспектор. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать. — Виктор встал, но долговязый не пошевелился.

— Предположим,— повторил он. — А откуда вы это, собственно, все знаете?

— Это важно? — спросил Виктор.

— Предположим, что не важно,— произнес он.

— Ваше дело — проверить,— сказал Виктор. — А я больше ничего не знаю. До свидания.

— Да куда же вы, погодите,— сказал долговязый. Он нагнулся

к туалетному столику, вытащил бутылку и стакан. — Так хотели войти и теперь уже уходите... Ничего, если из одного стакана?

— Это смотря что,— ответил Виктор и снова сел.

— Шотландское,— сказал долговязый. — Устраивает?

— Настоящее шотландское?

— Настоящий скоч. Получайте. — Он протянул Виктору стакан.

— Живут же люди,— сказал Виктор и выпил.

— Куда нам до писателей,— сказал долговязый и тоже выпил. — Вы бы все-таки рассказали толком...

— Бросьте,— сказал Виктор. — Вам за это деньги платят. Я вам назвал имя, адрес вы сами знаете, вот и займитесь. Тем более что я на самом деле ничего не знаю. Разве что... — Виктор остановился и сделал вид, что его осенило. Долговязый немедленно клянул.

— Ну? — сказал он. — Ну?

— Я знаю, что он похитил одного мокреца и что он действовал вместе с городскими легионерами. Как его там... Фламинта... Ювента...

— Фламин Ювента,— подсказал долговязый.

— Вот-вот.

— Насчет мокреца — это точно? — спросил долговязый.

— Да. Я пытался помешать, и господин санинспектор треснул меня кастетом по голове. А потом, пока я валялся, они увезли его на машине.

— Так-так,— произнес долговязый. — Значит, это был Сумман... Слушайте, а вы молодец, Банев! Хотите еще виски?

— Хочу,— сказал Виктор. Что бы он ни говорил себе, как бы он ни взвинчивал себя, как бы он себя ни настраивал, ему было противно. «Ну и ладно,— подумал он. — И на том спасибо, что в доносчики я по крайней мере не гожусь. Никакого удовольствия, хотя они теперь и начнут жрать друг друга. Голем был прав: зря я полез в это дело... Или Голем хитрее, чем я думаю?»

— Прошу,— сказал долговязый, протягивая ему полный стакан.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Который час? — сонно спросила Диана.

Виктор аккуратно снял бритвой полоску мыла с левой скулы, поглядел в зеркало, потом сказала:

— Дрыхни, малыш, дрыхни. Рано еще.

— Действительно,— сказала Диана. Диван скрипнул. — Девять часов. А ты что там делаешь?

— Бреюсь,— ответил Виктор, снимая следующую полоску мыла. — Захотелось вдруг побриться. Дай, думаю, побреюсь.

— Сумасшедший,— сказала Диана сквозь зевок. — Вечером надо было бриться. Всю меня исполосовал своими колючками. Кактус.

В зеркало ему было видно, как она ломоющимися шагами подошла

к креслу, забралась с ногами и стала смотреть на него. Виктор ей подмигнул. Опять она была другая, нежная-нежная, мягкая-мягкая, ласковая-ласковая, свернулась, как сытая кошка, ухоженная, обглаженная, благодатная — совсем не та, что ворвалась к нему вчера в номер.

— Сегодня ты похожа на кошку, — сообщил он. — И даже не на кошку — на кошечку, на кошачонку... Чего ты улыбаешься?

— Это не про тебя. Просто почему-то вспомнилось...

Она зевнула и сладко потянулась. Она тонула в пижаме Виктора, из бесформенной кучи шелка в кресле выглядывало только ее чудное лицо и тонкие руки. Как из волны. Виктор стал бриться быстрее.

— Не торопись, — сказала она. — Обрежешься. Все равно мне уже пора ехать.

— Поэтому я и тороплюсь, — возразил Виктор.

— Ну, нет, я так не люблю. Так только кошки... Как там мои шмотки?

Виктор протянул руку и потрогал ее платье и чулки, развешанные на обогревательной решетке. Все высохло.

— Куда ты спешишь? — спросил он.

— Я же тебе говорила. К Росшеперу.

— Что-то я ничего не помню. Что там с Росшепером?

— Ну он же повредился, — сказала Диана.

— Ах, да! — сказал Виктор. — Да-да, ты что-то говорила. Откуда-то он там вывалился. Здорово расшибся?

— Этот дурак, — сказала Диана, — решил вдруг покончить с собой и выбросился в окно. Кинулся, как бык, головой вперед, проломил раму, но забыл при этом, что находится на первом этаже. Повредил коленку, заорал, а теперь лежит.

— Что это он? — равнодушно спросил Виктор. — Белая горячка?

— Что-то вроде.

— Подожди, — сказал Виктор. — Так это ты из-за него два дня ко мне не приезжала? Из-за этого вола?

— Ну да! Главный врач мне приказал с ним сидеть, потому что он, то есть Росшепер, без меня не мог. Мне приходилось изображать журчание воды и рассказывать ему про писсуары.

— Что ты в этом понимаешь, — пробормотал Виктор. — Ты вот ему про писсуары излагала, а я тут мучился один, тоже ничего не мог, ни строчки не написал. Ты знаешь, я вообще не люблю писать, а последнее время... Вообще жизнь у меня последнее время... — Он остановился. «Какое ей дело? — подумал он. — Спарились и разбежались». — Да, слушай... Когда ты говоришь, Росшепер сверзился?

— Третьего дня, — ответила Диана.

— Вечером?

— Угу, — сказала Диана, грызя печенье.

— В десять часов вечера, — сказал Виктор. — Между десятью и одиннадцатью.

Диана перестала жевать.

— Правильно,— сказала она. — А ты откуда знаешь? Принял его некробиотическую телепатеку?

— Подожди,— сказал Виктор. — Я тебе сейчас расскажу кое-что интересное. Но сначала — а ты что делала в этот момент?

— Что я делала?.. А, да. Я в тот вечер, помнится, психанула. Мотала я бинты, и вдруг такая тоска на меня навалилась, как головная боль, хоть в петлю. Сунулась я мордой в эти бинты и реву, да как реву! — в три ручья, с детства так не ревела...

— И вдруг все прошло,— сказал Виктор.

Диана задумалась:

— Да... Нет... Тут вдруг Росшепер как заорет на улице, я перепугалась и выскочила...

Она хотела сказать еще что-то, но в дверь застучали, рванули ручку, и голос Тэдди прохрипел из коридора: «Виктор! Виктор, протснись! Открой, Виктор!» Виктор замер с бритвой в руке. «Виктор! — хрипел Тэдди. — Открой!» — и бешено вертел дверную ручку. Диана вскочила и повернула ключ. Дверь распахнулась, ворвался Тэдди, мокрый, растерзанный, и в руке у него был обрез.

— Где Виктор? — хрипло рявкнул он.

Виктор вышел из ванной.

— Что такое? — спросил он. У него заколотилось сердце. Арест... Война...

— Дети ушли,— тяжело дыша, сказал Тэдди. — Собирайся, дети ушли!

— Постой,— сказал Виктор. — Какие дети?

Тэдди швырнул обрез на стол в кучу исписанной, исчерканной, измятой бумаги.

— Сманили детей, сволочи! — заорал он. — Сманили, гады! Ну, теперь все! Хватит, натерпелись... Теперь все!

Виктор еще ничего не понимал, он только видел, что Тэдди вне себя. Таким он видел Тэдди только один раз, югда во время большого скандала в ресторане у него под шумок взломали кассу. Виктор в растерянности хлопал глазами, а Диана подхватила со спинки кресла белье, проскользнула в ванную и прикрыла за собой дверь. И в этот момент резко и нервно затрещал телефон. Виктор схватил трубку. Это была Лола.

— Виктор,— заныла она. — Я ничего не понимаю, Ирма куда-то пропала, оставила записку, что никогда не вернется, а кругом говорят, что дети ушли из города... Я боюсь! Сделай что-нибудь... — она почти плакала.

— Хорошо, хорошо, сейчас,— сказал Виктор. — Дайте штаны надеть. — Он бросил трубку и оглянулся на Тэдди. Бармен сидел на разво́женной постели и, бормоча страшные слова, сливал в стакан

остатки из всех бутылок. — Погоди, — сказал Виктор. — Надо без паники. Я сейчас...

Он вернулся в ванную и принялся торопливо добривать намыленный подбородок, он несколько раз порезался, ему некогда было направить бритву, а Диана тем временем выскочила из-под душа и шуршала одеждой у него за спиной, лицо у нее было жесткое и решительное, словно она готовилась к драке, но она была совершенно спокойна.

«...А дети шли бесконечной серой колонной по серым размытым дорогам, шли, спотыкаясь, оскальзываясь и падая под проливным дождем, шли, согнувшись, промокшие насквозь, сжимая в посиневших лапках жалкие промокшие узелки, шли маленькие, беспомощные, непонимающие, шли плача, шли молча, а по сторонам дороги вышагивали мрачные черные фигуры без лиц и на месте лиц были черные повязки, а над повязками безжалостно и холодно смотрели нечеловеческие глаза, и руки, затянутые в черные перчатки, сжимали автоматы, и дождь лил на вороненую сталь, и капли дрожали и катились по стали... Чепуха, — думал Виктор, — чепуха, это совсем не то, совсем не теперь, это я видел, но это было очень давно, а теперь совсем не так...

...Они уходили радостно, и дождь был для них другим, они весело шлепали по лужам горячими босыми ногами, они весело болтали и пели и не оглядывались, потому что уже все забыли, потому что у них было только будущее, потому что они навсегда забыли свой храпящий и сопящий предутренний город, скопище клопных нор, гнездо мелких страстишек и мелких желаний, беременное чудовищными преступлениями, непрерывно извергающее преступления и преступные намерения, как муравьиная матка непрерывно извергает яйца, они ушли, щебеча и болтая, и скрылись в тумане, пока мы, пьяные, захлебывались спертым воздухом, поражаемые погаными кошмарами, которых они никогда не видели и никогда не увидят...»

Он надевал брюки, прыгая на одной ноге, когда стекла задрезжали, и густой механический рев проник в комнату. Тэдди опрометью бросился к окну, и Виктор тоже подбежал к окну, но за окном был все тот же дождь, пустая мокрая улица, и только кто-то проехал на велосипеде, мокрый брезентовый мешок, нутужнодвигающий ногами. А стекла продолжали дребезжать и позвякивать, и низкий тоскливый рев продолжался, а минутой спустя к нему присоединились отрывистые жалобные гудки.

— Пошли, — сказала Диана. Она была уже в плаще.

— Нет, погоди, — сказал Тэдди. — Виктор, оружие у тебя есть? Пистолет какой-нибудь, автомат... Есть?

Виктор не ответил, схватил свой плащ, и они втроем сбежали по лестнице в вестибюль, совсем уже пустой, без швейцара и портье. Казалось, в гостинице не осталось ни одного человека, только в ресто-

ране за столом сидел Р. Квадрига, недоуменно крутя головой и, видимо, давно уже дожидаясь завтрака. Они выскочили на улицу и влезли в грузовик Дианы — все трое в кабину. Диана села за руль, и они понеслись по городу. Диана молчала, Виктор курил, стараясь собраться с мыслями, а Тэдди все продолжал вполголоса изрыгать невероятную брань, и даже Виктор не понимал значения многих слов, потому что такие слова мог знать только Тэдди — приютская крыса, воспитанник портовых трущоб, а потом спекулянт наркотиками, а потом вышибала в публичном доме, а потом солдат похоронной команды, а потом бандит и мародер, а потом бармен, бармен, бармен и опять бармен.

В городе людей почти не было видно, только на углу Солнечной Диана остановилась, чтобы взять в кузов растерянную супружескую пару. Низкий рев сирены ПВО и писклявые заводские гудки не прекращались, и было что-то апокалипсическое в этом стоне механических голосов над безлюдным городом. Все сжималось внутри, хотелось куда-то бежать и то ли прятаться, то ли стрелять, и даже «братья по разуму» на стадионе гоняли мяч без обычного энтузиазма, а некоторые из них, разинув рты, оглядывались по сторонам, как бы пытаясь что-то уразуметь.

На шоссе за окраиной люди стали попадаться все чаще и чаще. Некоторые шли пешком, захлебываясь в дожде, жалкие, перепуганные, плохо соображавшие, что они делают и зачем. Другие катили на велосипедах и тоже уже выдохлись, потому что ехать приходилось против ветра. Несколько раз грузовик проехал мимо брошенных автомобилей, поломавшихся или впопыхах не заправленных, а один автомобиль съехал в кювет. Диана останавливалась и подбирала всех, и скоро кузов оказался набитым до отказа. Виктор с Тэдди тоже перебрались в кузов, уступив место женщине с грудным младенцем и какой-то полусумасшедшей старухе. Потом места не осталось и в кузове, и Диана уже больше не останавливалась, и грузовик мчался вперед, заливая потоками воды и обгоняя десятки и сотни людей, тащившихся к лепрозорию. Несколько раз грузовик обгоняли грузовые машины, набитые людьми, мотоциклисты, и еще один грузовик догнал их и пристроился сзади. Диана привыкла возить коньяк для Росшепера или гонять пустую машину по окрестностям для собственного удовольствия, поэтому в кузове было страшно. Сесть все не могли, не было места, и стоявшие цеплялись друг за друга и за головы сидевших, и каждый старался забраться подальше от бортов, и никто ничего не говорил — все только пыхтели и ругались, а одна женщина непрерывно плакала. И шел дождь — такой, какого Виктор не видел никогда в жизни, он даже не представлял себе, что на свете бывают такие дожди — сплошной тропический ливень, но не теплый, а ледяной, пополам с градом, и сильный ветер нес его навстречу движению. Видимость была отвратительная — пятнадцать метров вперед и пятнадцать назад, и Виктор очень боялся, что

Диана вдобавок ко всему сшибет кого-нибудь на шоссе или врежется в затормозившую машину. Но все обошлось благополучно, и Виктору только сильно отдавили ногу, когда все в кузове повалились друг на друга в последний раз и грузовик занесло перед громадным скоплением машин у ворот лепрозория.

Наверное, весь город собрался здесь. Здесь не было дождя, и казалось, что город прибежал сюда, спасаясь от потопа. Вправо и влево от шоссе, насколько хватал глаз, вдоль колючей изгороди растянулась тысячная толпа, в которой тонули разбросанные, стоящие кое-как пустые автомобили — роскошные длинные лимузины, потрепанные легковушки с брезентовым верхом, грузовики, автобусы и даже один автокран, на стрелке которого сидело несколько человек. Над толпой висел глухой гул, иногда раздавались пронзительные выкрики.

Все попрыгали из кузова, и Виктор сразу потерял из виду Диану и Тэдди, вокруг были только незнакомые лица, мрачные, ожесточенные, недоумевающие, плачущие, кричащие, с закатанными в обмороке глазами, оскаленные... Виктор попытался пробиться к воротам, но через несколько шагов безнадежно увяз. Люди стояли плотной стеной, и никто не желал уступать своего места, их можно было толкать, пинать, бить, они даже не оборачивались, они только вжимали головы в плечи и все старались просунуться вперед, вперед, ближе к воротам, ближе к своим детям, они вставали на цыпочки, они тянули шеи, и ничего не было видно за колышавшейся массой капюшонов и шляп.

— Господи, за что? В чем согрешили мы, господи?

— Сволочи! Давно надо было вырезать. Говорили же умные люди...

— А где бургомистр? Какого черта он делает? Где полиция? Где все эти толстобрюхие?

— Сим, меня сейчас задавят... Сим, задыхаюсь! Ох, Сим...

— В чем отказывали? Чего для них жалели? От себя кусок отрывали, ходили босяками, лишь бы их одеть-обуть...

— Напереть всем разом — и ворота к черту...

— Да я его в жизни пальцем не тронула. Я видела, как вы своего ремнем гоняли, а у нас дома в помине такого не было...

— Видал пулеметы? Это что же, в народ стрелять? За своих-то детей?

— Муничка! Муничка! Муничка! Муничка мой! Муничка!

— Да что же это, господа? Это же безумие какое-то! Где это видано?

— Ничего, легионеры им покажут... Они с тылу, поняла? Ворота откроют, тут и мы поднапрям...

— А пулеметы видел? То-то и оно...

— Пустите меня! Да пустите же вы меня! У меня же дочка там!

— Они давно собирались, я уж видела, да боязно было спрашивать.

— А может, и ничего? Что же они, звери, что ли? Это же не оккупанты все-таки, не на расстрел же их повели, не в печи...

— В кр-р-ровь, зубами рвать буду!

— Да-а, видно, совсем мы дерьмом стали, если родные дети от нас к заразам ушли... Брось, сами они ушли, никто их не гнал насильно.

— Эй, у кого ружья есть? Выходи! У кого ружья есть, говорю? Выходи ко мне, давай сюда, вот он я!

— Это мои дети, господин хороший, я их породил, и я ими распоряжаться буду, как пожелаю!

— Да где же полиция, господи!

— Надо телеграмму господину Президенту! Пять тысяч подписей — это вам не шутка!..

— Женщину задавили! Подвинься, говорю, сволочь! Не видишь?

— Муничка мой! Муничка! Муничка!

— Хрен от этих петиций толку. У нас петиций не любят. Дадут этой петицией по мозгам...

— Открывай ворота, так вашу перетак!.. Мокрецы паршивые! Гады!

— Ворота!

— Отворяй ворота!

Виктор полез назад. Это было трудно, несколько раз его ударили, он все-таки выдрался, пробрался к грузовику и снова залез в кузов. Над лепрозорием стоял туман, в десятке метров от изгороди по ту сторону ничего уже не было видно. Ворота были плотно закрыты, перед ними оставалось пустое пространство, и в этом пространстве стояли, расставив ноги, направив в толпу автоматы, человек десять солдат внутренней службы в касках, надвинутых на глаза. На крыльце караульной будки, вставая от напряжения на носки, надсаживаясь, что-то кричал в толпу офицер, но его не было слышно. Над крышей караульной будки, словно громадная этажерка, возвышалась в тумане деревянная башня, на верхней ее площадке стоял пулемет и копошились люди в сером. Потом там, за проволокой, еле слышно позвякивая железом, прокатился вдоль ограды полугусеничный броневик, подпрыгнул несколько раз на кочках и скрылся в тумане. При виде броневика толпа притихла, так что даже стали слышны надсадные вопли офицера («...Спокойствие... имею приказ... по домам...»), затем снова загудела, заворчала, заревела.

Перед воротами возникло движение. Среди темных, синих, серых плащей и накидок засверкали знакомые до тошноты медные шлемы и золотые рубашки. Они возникали в толпе как пятна света, продирались в пустое пространство и там сливались в желто-золотую массу. Здоровенные парни в золотых рубахах до колен, перепоясанные армейскими офицерскими ремнями с тяжелыми пряжками, в начищенных медных касках, из-за которых легионеров звали попросту пожарниками, с короткими массивными дубинками, и каждый заляпан эмблемами

Легиона, эмблема на груди, эмблема на дубинке, эмблема на каске, эмблема на морде, пробу ставить некуда, на спортивной мускулистой морде с волчьими глазами... и значки, созвездия значков, значок Отличного Стрелка, и Отличного Парашютиста, и Отличного Подводника, и еще значки с портретом господина Президента, и его зятя, основателя Легиона, и его сына, обершефа Легиона... и у каждого в кармане бомба со слезоточивым газом, и если хоть один из этих болванов в порыве хулиганского энтузиазма бросит такую бомбу — ударит пулемет на вышке, ударят пулеметы броневика, ударят автоматы солдат, и все по толпе, по толпе, а не по золотым рубашкам. Легионеры строились в шеренгу перед солдатами, вдоль шеренги, размахивая дубинкой, носился Фламин Ювента, племянничек, и Виктор уже начал отчаянно озираться, не зная, что делать, но тут офицеру вынесли из караулки мегафон, и офицер страшно обрадовался, даже заулыбался, и взревел громовым голосом; но он успел прореветь только: «Прошу внимания! Прошу собравшихся...» — а затем мегафон, видимо, опять испортился, офицер, бледнея, подул в раструб, а Фламин Ювента, приготовившийся было слушать, принялся с удвоенным усердием бегать и размахивать, и вдруг толпа грозно загудела — казалось, закричали все разом, и те, кто уже кричали раньше, и те, которые раньше молчали, или просто переговаривались, или плакали, или молились, и Виктор тоже закричал, не помня себя от ужаса при мысли о том, что сейчас произойдет. «Уберите болванов! — кричал он. — Уберите пожарников! Это смерть! Не надо! Диана!» Неизвестно, кто и что кричал в толпе, но толпа, до сих пор неподвижная, стала равномерно колыхаться, как гигантское блюдо студня, и офицер, уронив мегафон, белый, в красных пятнах, попятился к дверям караулки, а лица солдат под касками ощерились и остервенели, а наверху, на башне, больше никто не шевелился, там замерли и целились. И тут раздался Голос.

Он был как гром, он шел со всех сторон сразу, и он сразу покрыл все остальные звуки. Он был спокоен, даже меланхоличен, какая-то безмерная скука слышалась в нем, безмерная снисходительность, словно говорил кто-то огромный, презрительный, высокомерный, стоя спиной к надоевшей толпе, говорил через плечо, оторвавшись на минуту от важных забот ради этой раздражившей его наконец пустяковины.

— Да перестаньте вы кричать, — сказал Голос. — Перестаньте размахивать руками и угрожать. Неужели так трудно прекратить болтовню и несколько минут спокойно подумать? Вы же прекрасно знаете, что дети ваши ушли от вас по собственному желанию, никто их не принуждал, никто не тащил за шиворот. Они ушли потому, что вы им стали окончательно неприятны. Не хотят они жить больше так, как живете вы и жили ваши предки. Вы очень любите подражать своим предкам и полагаете это человеческим достоинством, а они — нет. Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, мелкими людишками, рабами,

конформистами, не хотят, чтобы из них сделали преступников, не хотят ваших семей и вашего государства.

Голос на минуту смолк. И целую минуту не было слышно ни звука — только какой-то шорох, словно туман, шуршал, проползая над землей. Потом Голос заговорил снова:

— Вы можете быть совершенно спокойны за своих детей. Им будет хорошо — лучше, чем с вами, и много лучше, чем вам самим. Сегодня они не могут принять вас, но с завтрашнего дня приходите. В Лошадиной Лощине будет оборудован Дом Встречи, после пятнадцати часов приходите хоть каждый день. Каждый день в четырнадцать тридцать от городской площади будут отходить три больших автобуса. Этого будет мало, во всяком случае завтра, пусть ваш бургомистр позаботится о добавочном транспорте.

Голос снова помолчал. Толпа стояла неподвижной стеной. Люди словно боялись пошевелиться.

— Только имейте в виду, — продолжал Голос. — От вас самих зависит, захотят ли дети встречаться с вами. В первые дни мы еще сможем заставить детей приходиться на свидания, даже если им этого не захочется, а потом... смотрите сами. А теперь расходитесь. Вы мешаете и нам, и детям, и себе. И очень вам советую: подумайте, попытайтесь подумать, что вы можете дать детям. Поглядите на себя. Вы родили их на свет и калечите их по своему образу и подобию. Подумайте об этом, а теперь расходитесь.

Толпа оставалась неподвижной, может быть, она пыталась думать. Виктор пытался. Это были отрывочные мысли. Не мысли даже, а просто обрывки воспоминаний, куски каких-то разговоров, глупое раскрашенное лицо Лолы... А может быть, лучше аборт? Зачем это нам сейчас... Отец с дрожащими от ярости губами... Я из тебя сделаю человека, щенок паршивый, я с тебя всю шкуру спущу... У меня объявилась дочка двенадцати лет, не можешь ли ты ее куда-нибудь прилично пристроить?... Ирма с любопытством смотрит на расхлябанного Росшепера... не на Росшепера, а на меня... мне, пожалуй, стыдно, но что она понимает, соплячка?. Брысь на место!.. Вот тебе кукла, хорошая кукла?.. Тебе еще рано, вырастешь — узнаешь...

— Ну что же вы стоите? — спросил громовой Голос. — Расходитесь!

Налетел тугой холодный ветер, ударил в лицо и затих.

— Идите же! — сказал Голос.

И снова налетел ветер, уже совсем плотный, как тяжелая мокрая ладонь — уперлась в лицо, толкнула и убралась. Виктор вытер щеки и увидел, что толпа попятилась. Кто-то вскрикнул громко, раздались возгласы, звучащие неуверенно, вокруг автомобилей и автобусов возникли небольшие водовороты. В кузов грузовика полезли со всех сторон, и все заторопились, отталкивая друг друга, лезли в дверцы

машин, нетерпеливо расталкивали сцепившиеся рулями велосипеды, затрещали двигатели, а многие уходили пешком, часто оглядываясь назад, но не на автоматчиков, не на пулемет на башне, не на броневик, который подкатил с железным лязгом и встал с раскрытыми люками у всех на виду. Виктор знал, почему они оборачиваются и почему они торопятся, у него горели щеки, и если он чего-нибудь боялся, так это что Голос снова скажет: «Идите!» — и снова тяжелая мокрая ладонь брезгливо толкнет его в лицо. Кучка дураков в золотых рубашках все еще нерешительно топталась перед воротами, но их уже стало меньше, а к оставшимся подошел офицер и рявкнул на них, внушительный, уверенный, исполняющий приятный долг, и они тоже попятились, потом повернулись и побрели прочь, подбирая на ходу брошенные на землю серые, синие, темные плащи, и вот уже золотых пятен не осталось ни одного, а мимо катили автобусы, легковые машины, и люди в кузове, встревоженно и нетерпеливо озираясь, спрашивали друг друга: «А где же водитель?»

Потом откуда-то вынырнула Диана, Диана Свириная, поднялась на подножку, поглядела в кузов, крикнула сердито: «Только до перекрестка! Машина идет в санаторий!» — и никто не осмелился возразить, все были на редкость тихие и на все согласные. Тэдди так и не появился, должно быть, сел в другую машину. Диана развернула грузовик, и они поехали по знакомой бетонке, обгоняя кучки пешеходов и велосипедистов, а их обгоняли перегруженные легковые машины, грузно приседающие на амортизаторах. Дождя не было, только туман и мелкая изморось. Дождь пошел уже тогда, когда Диана подвела грузовик к перекрестку, и люди вылезли из кузова, а Виктор пересел в кабину.

Они молчали до самого санатория.

Диана сразу ушла к Росшперу — так она по крайней мере сказала, — а Виктор, сбросив плащ, рухнул на кровать в своей комнате, закурил и уставился в потолок. Может быть, час, а может быть, два он непрерывно курил, вращался, вставал, ходил по комнате, бессмысленно выглядывая в окно, задерживал и снова раздвигал портьеры, пил воду из-под крана, потому что его мучила жажда, и снова валился на кровать.

«...Унижение, — думал он. — Да, конечно. Надавали пощечин, называли подонком, как надоевшего попрошайку, но все-таки это были отцы и матери, все-таки они любили своих детенышей, били их, но готовы были отдать за них жизни, разрабатывали своим примером, но ведь не специально же, а по невежеству... матери рожали их в муках, а отцы кормили их и одевали, и они ведь гордились своими детьми и хвастались друг перед другом, проклинали их за частую, но не представляли себе жизни без них... и ведь сейчас действительно жизнь совсем опустела, вообще ничего не осталось. Так разве же можно

с ними так жестоко, так презрительно, так холодно, так разумно и еще надавать на прощание по морде...

...Неужели же, черт возьми, гадко все, что в человеке от животного? Даже материнство, даже улыбка мадонн, их ласковые мягкие руки, подносящие младенца к груди... Да, конечно, инстинкт и целая религия, построенная на инстинкте... наверное, вся беда в том, что эту религию пытаются распространять и дальше, на воспитание, где никакие инстинкты уже не работают, а если и работают, то только во вред... потому что волчица говорит своим волчатам: «Кусайте как я», и этого тоже достаточно, и зайчиха учит зайчат: «Удирайте как я», и этого тоже достаточно, но человек-то учит детеныша: «Думай как я», а это уже преступление... Ну а эти-то как — мокрецы, заразы, гады, кто угоден, только не люди, по меньшей мере сверхлюди, — эти-то как? Сначала: «Посмотри, как думали до тебя, посмотри, что из этого получилось, это плохо, потому что то-то и то-то, а должно быть так-то и так-то. Посмотрел? А теперь начинай думать сам, думай, как сделать, чтобы не было то-то и то-то, а получилось так-то и так-то». Только я не знаю, что это за то-то и что это за так-то, и вообще все это уже было, все это уже пробовали, получались отдельные хорошие люди, но главная масса перла по старой дороге, никуда не сворачивая, по-нашему, по-простому... Да и как ему воспитывать своего детеныша, когда отец его не воспитывал, а натаскивал: «Кусай как я и прячься как я», и так же натаскивал его отца его дед, а деда — прадед, и так до глубины пещер, до волосатых копыеносцев, пожирателей мамонтов. Я-то их жалею, этих безволосых потомков, жалею их, потому что жалею самого себя, но им-то... им-то наплевать, им мы вообще не нужны, и не собираются они нас перевоспитывать, не собираются они даже взрывать старый мир, нет им дела до старого мира, у них свои дела, и от старого мира они требуют только одного — чтобы к ним не лезли. Теперь это стало возможно, теперь можно торговать идеями, теперь есть могущественные покупатели идей, и они будут охранять тебя, весь мир загонят за колючую проволоку, чтобы не мешал тебе старый мир, будут кормить тебя, будут тебя холить... будут самым предупредительным образом точить топор, которым ты рубишь тот самый сук, на котором они восседают, сверкая шитьем и орденами...

...И черт возьми, это по-своему грандиозно — все уже пробовали, только этого не пробовали: холодное воспитание без розовых соплей, без слез... хотя что это я мелю, откуда я знаю, что у них там за воспитание... но все равно — жестокость, презрение, это же видно... Ничего у них не получится, потому что, ну ладно — разум — думайте, учитесь, анализируйте, — а как же руки матери, ласковые руки, которые снимают боль и делают мир теплым? И колючая щетина отца, который играет в войну и в тигра, и учит боксу, и самый сильный, и знает больше всех на свете? Ведь это же тоже было! Не только визгливые (или тихие) свары

родителей, не только ремень и пьяное бормотание, не только беспорядочное обрывание ушей, сменяющееся внезапно и непонятно судорожным одарением конфетами и медью на кино... Да откуда я знаю — быть может, у них есть эквивалент всему хорошему, что существует в материнстве и отцовстве... как Ирма смотрела на того мокреца!.. каким же это нужно быть, чтобы на тебя так смотрели... и уж, во всяком случае, ни Бол-Кунац, ни Ирма, ни прыщавый нигилист-обличитель никогда не наденут золотых рубашек, а разве этого мало? Да черт возьми — мне от людей больше ничего и не надо!..

...Подожди, сказал он себе. Найди главное. Ты за них или против? Бывает ещё третий выход: наплевать, но мне не наплевать. Ах, как бы я хотел быть циником, как легко, просто и роскошно жить циником!.. Ведь надо же — всю жизнь из меня делают циника, стараются, тратят гигантские средства, тратят пули, цветы красноречия, бумагу, не жалеют кулаков, не жалеют людей, ничего не жалеют, только бы я стал циником, а я никак... Ну, хорошо, хорошо. Все-таки: за или против? Конечно, против, потому что не терплю пренебрежения, ненавижу всяческую элиту, ненавижу всяческую нетерпимость и не люблю, ох, как не люблю, когда меня бьют по морде и прогоняют вон... И я — за, потому что люблю людей умных, талантливых, и ненавижу дураков, ненавижу тупиц, ненавижу золотые рубашки, фашистов ненавижу, и ясно, конечно, что так я ничего не определяю, я слишком мало знаю о них, а из того, что знаю, из того, что видел сам, в глаза бросается скорее плохое — жестокость, презрительность, нечеловечность, физическое уродство, наконец... И вот что получается: за них — Диана, которую я люблю, и Голем, которого я люблю, Ирма, которую я люблю, и Бол-Кунац, и прыщавый нигилист... а кто против? Бургомистр против, старая сволочь, фашист и демагог, и полицмейстер, продажная шкура, и Росшепер Нант, и дура Лола, и шайка золотых рубашек, и Павор... Правда, с другой стороны, за них — долговязый профессионал, а также некий генерал Пферд — не терплю генералов, а против — Тэдди и, наверное, еще много таких, как Тэдди... Да, тут большинством голосов ничего не решишь. Это что-то вроде свободных демократических выборов: большинство всегда за сволочь...»

Часа в два пришла Диана, Диана Веселая Обыкновенная, в туго перетянутом белом халате, подмазанная и причесанная.

— Как работа? — спросила она.

— Горю, — ответил он. — Сгораю, светя другим.

— Да, дыму много. Ты бы хоть окно открыл... Лопать хочешь?

— Черт возьми, да! — сказал Виктор. Он вспомнил, что не завтракал.

— Тогда, черт возьми, пошли!

Они спустились в столовую. За длинными столами чинно и молча хлебали диетический суп «Братья по разуму», темные от физической

усталости. Обтянутый синим свитером толстый тренер ходил у них за спинами, хлопал по плечам, ерошил им волосы и внимательно заглядывал в тарелки.

— Я тебя сейчас познакомлю с одним человеком,— сказала Диана. — Он будет с нами обедать.

— Кто таков? — с неудовольствием осведомился Виктор. Ему хотелось помолчать за едой.

— Мой муж,— сказала Диана. — Мой бывший муж.

— Ага,— произнес Виктор. — Ага. Что ж... Очень приятно.

«И чего это ей вздумалось,— подумал он уныло. — И кому это нужно». Он жалобно взглянул на Диану, но она уже быстро вела его к служебному столику в дальнем углу. Муж поднялся им навстречу — желтолицый, горбоносый, в темном костюме и в черных перчатках. Руки он Виктору не подал, а просто поклонился и негромко сказал:

— Здравствуйте, рад вас видеть.

— Банев,— представился Виктор с фальшивой сердечностью, которая всегда нападала на него при виде мужей.

— Мы, собственно, уже знакомы,— сказал муж. — Я — Зурзматор.

— Ах, да! — воскликнул Виктор. — Ну конечно! У меня, должен вам сказать, память... — Он замолчал. — Погодите,— сказал он. — Какой Зурзматор?

— Павел Зурзматор. Вы меня, вероятно, читали, а недавно даже весьма энергично вступились за меня в ресторане. Кроме того, мы еще в одном месте встречались, тоже при несчастных обстоятельствах... Давайте сядем.

Виктор сел. «Ну, хорошо,— подумал он. — Пусть. Значит, без повязки они такие. Кто бы мог подумать? Пardon, а где же его «очки»? У Зурзматора — он же почему-то муж Дианы, он же горбоносый танцор, играющий танцора, который играет танцора, который на самом деле мокрец, или даже сразу четыре мокреца, или даже пять, считая с ресторанным,— не было у Зурзматора «очков», будто они расплылись по всему лицу и окрасили кожу в желтоватый латиноамериканский цвет». А Диана со странной, какой-то материнской улыбкой смотрела то на него, то на своего мужа. И это было неприятно, Виктор почувствовал что-то вроде ревности, которой раньше никогда не ощущал, имея дело с мужьями. Официантка принесла суп.

— Ирма передает вам привет,— сказал Зурзматор, разламывая кусочек хлеба,— просит не беспокоиться.

— Спасибо,— отозвался Виктор машинально. Он взял ложку и принялся есть, не чувствуя вкуса. Зурзматор тоже ел, поглядывая на Виктора исподлобья — без улыбки, но с каким-то юмористическим выражением. Перчаток он не снял, но в том, как он орудовал ложкой,

как изящно ломал хлеб, как пользовался салфеткой, чувствовалось хорошее воспитание.

— Значит, вы все-таки тот самый Зурзмандор, — произнес Виктор. — Философ...

— Боюсь, что нет, — сказал Зурзмандор, промакивая губы салфеткой. — Боюсь, что к тому знаменитому философу я имею теперь весьма отдаленное отношение.

Виктор не нашелся, что сказать, и решил подождать с беседой. «В конце концов не я инициатор встречи, мое дело маленькое, он меня хотел увидеть, пусть он и начинает...» Принесли второе. Внимательно следя за собой, Виктор принялся резать мясо. За длинными столами дружно и простоудушно чавкали «Братья по разуму», гремя ножами и вилками. «А ведь я здесь дурак дураком, — подумал Виктор. — Братец по разуму. Она ведь, наверное, до сих пор его любит. Он заболел, пришлось им расстаться, а она не захотела расстаться, иначе зачем бы она поперлась в эту дыру выносить горшки за Росшепером... И они часто видятся, он пробирается в санаторий, снимает повязку и танцует с ней... — Он вспомнил, как они танцевали — шерочка с машерочкой... — Все равно. Она его любит. А мне какое дело? А ведь есть какое-то дело. Что уж там — есть. Только — что есть? Они отобрали у меня дочь, но я ревную к ним дочь не как отец. Они отобрали у меня женщину, но я ревную к нему Диану не как мужчина... О черт, какие слова! Отобрали женщину отобрали дочь... Дочь, которая увидела меня впервые за двенадцать лет жизни... или ей уже тринадцать? Женщину, которую я знаю считанные дни... Но, заметьте, ревную — и притом не как отец и не как мужчина. Да, было бы гораздо проще, если бы он сейчас сказал: «Милостивый государь, мне все известно вы запятнали мою честь. Как насчет сатисфакции?»

— Как продвигается работа над статьей? — спросил Зурзмандор.

Виктор угрюмо посмотрел на него. Нет, это была не насмешка. И не светский вопрос чтобы завязать беседу. Этому мокрецу, кажется, действительно было любопытно узнать, как продвигается работа над статьей.

— Никак, — сказал он.

— Было бы любопытно прочесть, — сообщил Зурзмандор.

— А вы знаете, что это должна быть за статья?

— Да, представляем. Но ведь вы такую писать не станете.

— А если меня вынудят? Меня генерал Пферд защищать не станет.

— Видите ли, — сказал Зурзмандор, — статья, которую ждет господин Бургомистр, у вас все равно не получится. Даже если вы будете очень стараться. Существуют люди, которые автоматически, независимо от своих желаний трансформируют по-своему любое задание, которое им дается. Вы относитесь к таким людям.

— Это хорошо или плохо? — спросил Виктор.

— С нашей точки зрения, хорошо. О человеческой личности очень мало известно, если не считать той ее составляющей, которая представляет собой набор рефлексов. Правда, массовая личность почти ничего больше в себе и не содержит. Поэтому особенно ценны так называемые творческие личности, перерабатывающие информацию о действительности индивидуально. Сравнивая известное и хорошо изученное явление с отражением этого явления в творчестве этой личности, мы можем многое узнать о психическом аппарате, перерабатывающем информацию.

— А вам не кажется, что это звучит оскорбительно? — сказал Виктор.

Зурзмансор, странно искривив лицо, посмотрел на него.

— А, понимаю, — сказал он. — Творец, а не подопытный кролик... Но, видите ли, я изложил вам только одно обстоятельство, сообщаящее вам ценность в наших глазах. Другие обстоятельства общеизвестны, это правдивая информация об объективной действительности, машина эмоций, средство возбуждения фантазии, удовлетворение потребности в сопереживании... Собственно, я хотел вам польстить.

— В таком случае я польщен, — сказал Виктор. — Однако все эти разговоры к написанию пасквилей никакого отношения не имеют. Берется последняя речь господина Президента и переписывается целиком, причем слова «враги свободы» заменяются словами «так называемые мокрецы», или «пациенты кровавого доктора», или «вурдалаки из лепрозория»... так что мой психический аппарат участвовать в этом деле не будет.

— Это вам только кажется, — возразил Зурзмансор. — Вы прочтите эту речь и прежде всего обнаружите, что она безобразна. Стилистически безобразна, я имею в виду. Вы начнете исправлять стиль, приметесь искать более точные выражения, заработает фантазия, замутит от затхлых слов, захочется сделать слова живыми, заменить казенное вранье животрепещущими фактами, и вы сами не заметите, как начнете писать правду.

— Может быть, — сказал Виктор. — Во всяком случае, писать эту статью мне сейчас не хочется.

— А что-нибудь другое — хочется?

— Да, — сказал Виктор, глядя Зурзмансору в глаза. — Я бы с удовольствием написал, как дети ушли из города. Нового Гаммельнского крысолова.

Зурзмансор удовлетворенно кивнул:

— Прекрасная мысль. Напишите.

«Напишите, — подумал Виктор с горечью. — Мать твою так, а кто это напечатает? Ты, что ли, это напечатает?»

— Диана, — сказал он. — А нельзя здесь что-нибудь выпить?

Диана молча поднялась и ушла.

— И еще я с удовольствием написал бы про обреченный город,— сказал Виктор. — И про непонятную возню вокруг лепрозория. И про злых волшебников.

— У вас нет денег? — спросил Зурзмансор.

— Пока есть.

— Имейте в виду, вы, по-видимому, станете лауреатом премии лепрозория за прошлый год. Вы вышли в последний тур вместе с Тусовым, но у Тусова шансов меньше, это очевидно. Так что деньги у вас будут.

— Н-да,— сказал Виктор. — Такого со мной еще не бывало. И много денег?

— Тысячи три... Не помню точно.

Вернулась Диана и все так же молча поставила на стол бутылку и один стакан.

— Еще стакан,— попросил Виктор.

— Я не буду,— сказал Зурзмансор.

— Я, собственно... Гм...

— Я тоже не буду,— сказала Диана.

— Это за «Беду»? — спросил Виктор, наливая.

— Да. И за «Кошку». Так что месяца на три вы будете обеспечены. Или меньше?

— Месяца на два,— сказал Виктор. — Но не в этом дело... Вот что: я хотел бы побывать у вас в лепрозории.

— Обязательно,— сказал Зурзмансор. — Премию вам вручать будут именно там. Только вы разочаруетесь. Чудес не будет. Будет выходной день. Десяток домиков и лечебный корпус.

— Лечебный корпус,— повторил Виктор. — И кого же у вас там лечат?

— Людей,— сказал Зурзмансор со странной интонацией. Он усмехнулся, и вдруг что-то страшное произошло с его лицом. Правый глаз опустел и съехал к подбородку, рот стал треугольным, а левая щека вместе с ухом отделилась от черепа и повисла. Это длилось одно мгновение. Диана уронила тарелку. Виктор машинально оглянулся, а когда снова уставился на Зурзмансора, тот уже был прежний — желтый, вежливый. «Тьфу, тьфу, тьфу,— мысленно сказал Виктор. — Изыди: нечистый дух. Или показалось?» Он торопливо вытащил пачку сигарет, закурил и стал смотреть в стакан. «Братья по разуму» с бошшим шумом поднялись из-за столов и побрели к выходу, зычно рекликаясь. Зурзмансор сказал:

— Вообще мы хотели бы, чтобы вы чувствовали себя спокойно. Вам не надо ничего бояться. Вы, наверное, догадываетесь, что наша организация занимает определенное положение и пользуется определенными привилегиями. Мы многое делаем, и за это нам многое разрешается. Разрешаются опыты над климатом, разрешается подго-

товка нашей смены... и так далее. Не стоит об этом распространяться. Некоторые господа воображают, будто мы работаем на них, ну а мы их не разубеждаем. — Он помолчал. — Пишите о чем хотите и как хотите, Банев, не обращайте внимания на псов лающих. Если у вас будут трудности с издательствами или денежные затруднения, мы вас поддержим. В крайнем случае мы будем издавать вас сами. Для себя, конечно. Так что ваши миноги будут вам обеспечены.

Виктор выпил и покачал головой.

— Ясно,— сказал он. — Опять меня покупают.

— Если угодно,— сказал Зурмансор. — Главное, чтобы вы осознали: есть контингент читателей, пусть пока не очень многочисленный, который весьма заинтересован в вашей работе. Вы нам нужны, Банев. Причем вы нам нужны такой, какой вы есть. Нам не нужен Банев — наш сторонник и наш певец, поэтому не ломайте себе голову, на чьей вы стороне. Будьте на своей стороне, как и полагается всякой творческой личности. Вот все, что нам от вас нужно.

— Оч-чень, оч-чень льготные условия,— сказал Виктор. — Карбланш и штабеля маринованных миног в перспективе. В перспективе и в горчичном соусе. И какая вдова ему б молвила «нет»?.. Слушайте, Зурмансор, а вам приходилось когда-нибудь продавать душу и перо?

— Да, конечно,— сказал Зурмансор. — И вы знаете, платили безобразно мало. Но это было тысячу лет назад и на другой планете. — Он снова помолчал. — Вы неправы, Банев,— сказал он. — Мы не покупаем вас. Мы просто хотим, чтобы вы оставались самим собой, мы опасаемся, что вас сомнут. Ведь многих уже смяли... Моральные ценности не продаются, Банев. Их можно только разрушить, купить их нельзя. Каждая данная моральная ценность нужна только одной стороне, красть или покупать ее не имеет смысла. Господин Президент считает, что купил живописца Р. Квадригу. Это ошибка. Он купил халтурщика Р. Квадригу, а живописец протек у него между пальцами и умер. А мы не хотим, чтобы писатель Банев протек между чьими-то пальцами, пусть даже нашими, и умер. Нам нужны художники, а не пропагандисты.

Он встал. Виктор тоже поднялся, ощущая неловкость, и гордость, и недоверие, и унижение, разочарование и ответственность, и еще что-то, в чем он пока не мог разобраться.

— Было очень приятно побеседовать,— сказал Зурмансор. — Желаю успешной работы.

— До свидания,— сказал Виктор.

Зурмансор коротко поклонился и ушел, вскинув голову, широко и твердо шагая. Виктор смотрел ему вслед.

— Вот за это я тебя и люблю,— сказала Диана.

Виктор рухнул на стул и потянулся к бутылке.

— За что? — рассеянно спросил он.

— За то, что ты им нужен. За то, что ты, кобель, пьяница, неряха, скандалист, подонок, все-таки нужен таким людям.

Она перегнулась через стол и поцеловала его в щеку. Это была еще одна Диана: Диана Влюбленная — с огромными сухими глазами, Мария из Магдалы, Диана Смотрящая Снизу Вверх.

— Подумаешь,— пробормотал Виктор. — Интеллектуалы... Новые калифы на час...

Однако это были только слова. На самом деле все было не так просто.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Виктор вернулся в гостиницу на следующий день, после завтрака. На прощание Диана сунула ему в руки берестяной туесок: Росшеперу прислали из столичных оранжерей полпуда клубники, и Диана здраво рассудила, что Росшеперу, даже при всей его аномальной прожорливости, с такой массой ягоды в одиночку не управиться.

Мрачный швейцар отворил перед Виктором дверь, Виктор угостил его клубникой, швейцар взял несколько ягод, положил их в рот, пожевал, как хлеб, и сказал:

— Щенок-то мой, оказывается, заводилой у них был.

— Ну что уж вы так,— сказал Виктор. — Он славный парнишка. Умница, и воспитан хорошо.

— Так уж драл я его! — сказал швейцар, приободрившись. — Старался... — Он снова помрачнел. — Соседи заедаются,— сообщил он. — А я что? Я и не знал ничего...

— Плюньте на соседей,— посоветовал Виктор. — Это же они от зависти. Мальчишка у вас — прелесть. Я, например, очень рад, что моя дочка с ним дружит.

— Ха! — сказал швейцар, вновь приободрившись. — Так, может, еще породнимся?

— А что же,— сказал Виктор. — Очень даже может быть. — Он представил себе Бол-Кунаца. — Отчего же...

Посмеялись по этому поводу, пошутили.

— Стрельбы вчера не слышали? — спросил швейцар.

— Нет,— сказал Виктор, насторожившись. — А что?

— А так получилось,— сказал швейцар,— что, значит, когда мы все оттуда разошлись, кое-кто, значит, не разошелся, подобрались-таки отчаянные головы, разрезали проволоку и — внутрь, а по ним из пулеметов.

— Вот черт,— сказал Виктор.

— Сам я не видел,— сказал швейцар. — Люди рассказывают. — Он осторожно огляделся по сторонам, поманил к себе Виктора и сказал ему шепотом на ухо: — Тэдди наш там оказался, подранили его. Но ничего, обошлось. Дома сейчас отлеживается.

— Обидно,— пробормотал Виктор, расстроившись.

Он угостил клубникой портье, взял ключ и поднялся к себе. Не раздеваясь, набрал номер Тэдди. Сноха Тэдди сообщила, что все в общем ничего, прострелили ему мякоть, лежит на животе, ругается и сосет водку. Сама же она нынче собирается в Дом Встречи провести сына. Виктор попросил передать Тэдди привет, пообещал зайти и повесил трубку. Надо было бы еще позвонить Лоле, но он представил себе этот разговор, упреки, вскрики и звонить не стал. Снял плащ, поглядел на клубнику, спустился на кухню и выпросил бутылочку сливок. Когда он вернулся, в номере сидел Павор.

— Добрый день,— сказал Павор, ослепительно улыбаясь.

Виктор подошел к столу, высыпал клубнику в полоскательницу, залил сливками, засыпал сахарным песком и сел.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте,— сказал он мрачно. — Что скажете?

Смотреть на Павора ему не хотелось. Во-первых, Павор был сволочь, а во-вторых, неприятно, оказывается, смотреть на человека, на которого ты донес. Даже если он и сволочь, даже если ты донес из самых безукоризненных соображений.

— Слушайте, Виктор,— сказал Павор,— я готов извиниться. Мы оба вели себя глупо, но я — в особенности. Это все от служебных неприятностей. Искренне прошу извинения. Мне было бы чертовски неприятно, если бы мы с вами рассорились из-за такой ерунды.

Виктор помешал ложечкой в клубнике со сливками и стал есть.

— Ей-богу, до того мне в последнее время не везет,— продолжал Павор,— весь мир обругал бы. И ни сочувствия тебе ни от кого, ни поддержки, бургомистр этот, скотина, завлек меня в грязную историю...

— Господин Сумман,— сказал Виктор. — Перестаньте ваньку валять. Притворяться вы умеете хорошо, но я, к счастью, вас раскусил, и наблюдать ваши артистические таланты не доставляет мне никакого удовольствия. Не портите мне аппетита, ступайте себе.

— Виктор,— произнес Павор укоризненно. — Мы же взрослые люди. Нельзя же придавать столько значения застольной болтовне. Неужели вы вообразили, будто я действительно исповедую ту чушь, которую молот? Мигрень, неприятности, насморк... Ну что вы хотите от человека?

— Я хотел бы, чтобы человек не бил меня со спины кастетом по черепу,— объяснил Виктор. — А если уж бьет — бывают обстоятельства,— то чтобы не разыгрывал потом друга-приятеля.

— Ах, вот вы о чем,— сказал Павор задумчиво. Лицо у него словно осунулось. — Слушайте, Виктор, я вам все объясню. Это была чистая случайность. Я понятия не имел, что это вы. И потом... Вы же сами говорите, что бывают обстоятельства.

— Господин Сумман,— сказал Виктор, облизывая ложку. — Я всег-

да недолюбливал людей вашей профессии. Одного я даже застрелил — он был очень смелый в штабе, когда обвинял офицеров в нелояльности, но когда его послали на передовую... В общем, убирайтесь.

Однако Павор не убрался. Он закурил сигарету, положил ногу на ногу и откинулся в кресле. Ну понятно — здоровый мужик, и дзюдо, наверное, знает, и кастет у него есть... Хорошо бы разозлиться сейчас. Что он, в самом деле, мне лакомство портит...

— Я вижу, вы много знаете,— сказал Павор. — Это плохо. Я имею в виду — для вас. Ну, ладно. Во всяком случае, вы не знаете, что я самым искренним образом уважаю вас и люблю. Ну, не дергайтесь и не делайте вид, что вас тошнит. Я говорю серьезно. Я с удовольствием готов выразить сожаление по поводу инцидента с кастетом. Я даже признаюсь вам, что знал, кого бью, но мне ничего не оставалось делать. За углом валяется один свидетель, теперь вы приперлись... В общем, единственное, на что я мог бы пойти, это треснуть вас по возможности деликатно, что я и сделал. Приношу самые искренние извинения.

Павор сделал аристократический жест. Виктор смотрел на него с каким-то даже любопытством. Что-то в этой ситуации было свежее, неиспытанное и труднопредставимое.

— Однако извиниться за то, что я — работник известного вам департамента,— продолжал Павор,— я не могу, да и не хочу, в общем-то. Не воображайте, пожалуйста, будто у нас там собрались сплошные душителы вольной мысли и подонки-карьеристы. Да, я — контрразведчик. Да, работа у меня грязная. Только работа всегда грязная, чистой работы не бывает. Вы в своих романах изливаете подсознание, либидо свое пресловутое, ну а я — по-другому... Подробности я вам рассказывать не могу, но вы, наверное, сами обо всем догадываетесь. Да, слежу за лепрозорием, ненавижу этих мокрых тварей, боюсь их — и не только за себя боюсь, за всех людей боюсь, которые хоть чего-то стоят. За вас, например. Вы же ни черта не понимаете. Вы — вольный художник, эмоционал, ах, ох — и все разговоры. А речь идет о судьбе человечества. Вот вы ругаете господина Президента — диктатор, тиран, дурак... А надвигается такая диктатура, какая вам, вольным художникам, и не снилась. Я давеча в ресторане много чепухи наговорил, но главное зерно верное: человек — животное анархическое, и анархия его сожрет, если система не будет достаточно жесткой. Так вот ваши любезные мокрецы обещают такую жестокость, что места для обыкновенного человека уже не останется. Вы того не понимаете. Вы думаете, что если человек цитирует Зурзмансору или Гегеля, то это — о! А такой человек смотрит на вас и видит кучу дерьма, ему вас не жалко, потому что вы и по Гегелю дерьмо, и по Зурзмансору тоже дерьмо. Дерьмо по определению. А что за границами этого определения — его не интересует. Господин Президент по прирожденной своей ограниченности... ну, облает вас, ну в крайнем случае прикажет посадить, а потом к праздни-

ку амнистирует от полноты чувств и еще обедать к себе пригласит. А Зурзмансор поглядит на вас в лупу, проклассифицирует: дерьмо собачье, никуда не годное, и вдумчиво, от большого ума, от всеобщей философии смахнет грязной тряпкой в мусорное ведро и забудет о том, что вы были...

Виктор даже есть перестал. Странное было зрелище, неожиданное. Павор волновался, губы у него подергивались, от лица отлила кровь, он даже задыхался. Он явно верил в то, что говорил, в глазах у него ужасом застыло видение страшного мира. «Ну-ну,— сказал себе Виктор предостерегающе. — Это же враг, мерзавец. Он же актер, он же тебя покупает за ломаный грошик... — Он вдруг понял, что насильно отталкивается от Павора. — Это же чиновник, не забывай. У него, по определению, не может быть идейных соображений — начальство приказало, вот он и работает за компот. Прикажут ему защищать мокрецов — будет защищать. Знаю я эту сволочь, выдывал...»

Павор взял себя в руки и улыбнулся.

— Я знаю, что вы думаете,— сказал он. — По вашей физиономии видно, как вы пытаетесь угадать: чего ко мне этот тип пристал, что ему от меня нужно. А вот представьте себе, ничего мне от вас не нужно. Искренне хочу предостеречь вас, искренне хочу, чтобы вы разобрались, чтобы вы выбрали правильную сторону... — Он болезненно оскалился. — Не хочу, чтобы вы стали предателем человечества. Потом спохватитесь, да поздно будет... Я уже не говорю о том, что вам вообще нужно отсюда убираться, я и пришел-то к вам, чтобы настоять на этом. Сейчас наступают тяжелые времена, у начальства приступ служебного равения, кое-кому намекнули, что, мол, плохо работаете, господа, порядка нет... Но это — ладно, это чепуха, об этом мы еще поговорим. Я хочу, чтобы вы в главном разобрались. А главное — это не то, что будет завтра. Завтра они еще будут сидеть за проволокой под охраной этих кретинов... — Он опять оскалился. — А пройдет десяток лет...

Виктор так и не узнал, что произойдет через десяток лет. Дверь номера открылась без стука, и вошли двое в одинаковых серых плащах, и Виктор сразу понял, кто это. У него привычно екнуло внутри, и он покорно поднялся, чувствуя тошноту и бессилие. Но ему сказали: «Сядьте», а Павору сказали: «Встаньте».

— Павор Сумман, вы арестованы.

Павор, белый, даже какой-то синевато-белый, как образ, поднялся и хрипло сказал:

— Ордер.

Ему дали посмотреть какую-то бумагу, и пока он глядел в нее невидящими глазами, взяли под локти, вывели и затворили за собой дверь. Виктор остался сидеть, весь обмякнув, глядя в полоскательницу и повторяя про себя: пусть жрут друг друга, пусть жрут друг друга... Он все ждал, что на улице зашумит машина, стукнут дверцы, но так ничего

и не дождался. Тогда он закурил и, чувствуя, что не может больше сидеть здесь, чувствуя, что нужно с кем-то поговорить, как-то рассеяться или по крайней мере выпить с кем-нибудь водки, вышел в коридор. Интересно, откуда они узнали, что он у меня. Нет, совсем не интересно. Ничего интересного в этом нет... На лестничной клетке маячил долговязый профессионал. Было так непривычно видеть его одного, что Виктор огляделся — и точно: в углу на диване сидел молодой человек с портфелем и разворачивал газету.

— А, вот он сам,— сказал долговязый. Молодой человек посмотрел на Виктора, поднялся и принялся складывать газету. — Я как раз к вам,— сказал долговязый. — Но раз уж так получилось, пойдемте к нам, там даже спокойнее.

Виктору было все равно, куда идти, и он покорно поплелся на третий этаж. Долговязый долго отпирал дверь триста двенадцатого номера. У него была целая связка ключей, и он, кажется, перепробовал их все. Тем временем Виктор и молодой человек в очках стояли рядом, и у молодого человека было скуающее выражение на лице, а Виктор думал, что было бы, если бы дать ему сейчас по башке, выхватить портфель и помчаться по коридору. Потом они вошли в номер, и молодой человек сейчас же ушел в спальню налево, а долговязый сказал Виктору «одну минуточку» и удалился в спальню направо. Виктор присел за стол красного дерева и стал водить пальцем по шершавым кругам, оставленным на полированной поверхности стаканами и рюмками. Кругов этих было множество, со столом не церемонились и не смотрели, что он из красного дерева, на него клали горячие сигареты и по крайней мере один раз стряхнули авторучку. Потом из своей спальни снова вышел молодой человек, на этот раз без портфеля и без пиджака, в домашних шлепанцах, с газетой в одной руке и с полным стаканом в другой. Он сел в свое кресло под торшером, и сейчас же из своей спальни появился долговязый с подносом, который он тут же поставил на стол. На подносе стояла початая бутылка скоча, стакан и лежала большая квадратная коробка, обтянутая синим сафьяном.

— Сначала формальности,— сказал долговязый. — Хотя нет, пождидте, сначала второй стакан. — Он огляделся, взял с письменного столика стаканчик для карандашей, заглянул в него, подул и поставил на поднос. — Итак, формальности,— сказал он.

Он выпрямился, опустил руки по швам и строго выкатил глаза. Молодой человек отложил газету и тоже встал, скуающе глядя в стену. Тогда Виктор тоже поднялся.

— Виктор Банев! — провозгласил долговязый казенно-возвышенным голосом. — Милостивый государь! От имени и по специальному повелению господина Президента я имею вручить вам медаль «Серебряный Трилистник Второй Степени» в награду за особые услуги, оказанные вами департаменту, который я здесь представляю.

Он раскрыл синюю коробку, торжественно извлек из нее медаль на белой муаровой ленточке и принялся прищипливать ее к груди Виктора. Молодой человек разразился вежливыми аплодисментами. Потом долговязый вручил Виктору удостоверение и коробку, пожал Виктору руку, отступил на шаг, полюбовался и тоже похлопал в ладоши. Виктор, чувствуя себя идиотом, тоже похлопал.

— А теперь это надо обмыть,— сказал долговязый.

Все сели. Долговязый разлил виски и взял себе стаканчик для карандашей.

— За кавалера «Трилистника»! — провозгласил он.

Все снова встали, обменялись улыбками, выпили и снова сели. Молодой человек в очках тут же взял газету и закрылся ею.

— Третья степень у вас, кажется, была,— сказал долговязый. — Теперь вам еще первую, и будете полным кавалером. Бесплатный проезд и все такое. За что третью схватили?

— Не помню,— сказал Виктор. — Было там что-то такое, убил, наверное, кого-нибудь... А, помню. Это за Китчинганский плацдарм.

— О! — сказал долговязый и снова разлил виски. — А я вот не воевал. Не успел.

— Вам повезло,— сказал Виктор. Они выпили. — Между нами говоря, не понимаю, за что мне дали эту штуку.

— Я же сказал: за особые услуги.

— За Суммана, что ли? — произнес Виктор, горестно усмехаясь.

— Бросьте! — сказал долговязый. — Вы же важная персона. Вы же там, в кругах... — он неопределенно помахал пальцем возле уха.

— В каких там кругах... — сказал Виктор.

— Знаем, знаем! — лукаво закричал долговязый. — Все знаем! Генерал Пферд, генерал Пукки, полковник Бамбарха... Вы — молодец.

— В первый раз слышу,— сказал Виктор нервно.

— Начал это дело полковник. Никто, сами понимаете, не возражал — еще бы! Ну, а потом генерал Пферд был на докладе у Президента и подсунил ему представление на вас... — Долговязый засмеялся. — Потеха, говорят, была. Старик заорал: «Какой Банев? Куплетист? Ни за что!» Но генерал ему эдак сурово: надо, ваше высокопревосходительство! В общем, обошлось. Старик растрогался, ладно, говорит, прощаю. Что там у вас с ним получилось?

— Да так,— неохотно сказал Виктор,— о литературе поспорили.

— Вы действительно пишете книжки? — спросил долговязый.

— Да. Как полковник Лоуренс.

— И прилично платят?

— ...

— Надо будет и мне попробовать,— сказал долговязый. — Времени вот только свободного все нет. То одно то другое...

— Да, времени нет,— согласился Виктор. При каждом движении

медаль покачивалась и стучала по ребрам. От нее было ощущение, как от горчичника. Хотелось снять, и тогда сразу полегчает.

— Вы знаете, я пойду,— сказал он, поднимаясь. — Время.

Долговязый тотчас вскочил.

— Конечно,— сказал он.

— До свидания.

— Честь имею,— сказал долговязый. Молодой человек в очках приспустил газету и поклонился.

Виктор вышел в коридор и сейчас же содрал с себя медаль. У него было сильное желание бросить ее в урну, но он удержался и сунул ее в карман. Он спустился вниз на кухню, взял бутылку джину, а когда шел обратно, портье окликнул его:

— Господин Банев, вам звонил господин бургомистр. В номере вас не было, и я...

— Что ему нужно? — угрюмо спросил Виктор.

— Он просил, чтобы вы ему немедленно позвонили. Вы сейчас к себе? Если он позвонит еще раз...

— Пошлите его в задницу,— сказал Виктор. — Я сейчас выключу у себя телефон, и если он будет звонить вам, то так и передайте: господин Банев, кавалер «Трилистника Второй Степени», посылает-де вас, господин бургомистр, в задницу.

Он заперся в номере, выключил телефон и еще зачем-то прикрыл его подушкой. Потом он сел за стол, налил джину и, не разбавляя, выпил залпом целый стакан. Джин обжег глотку и пищевод. Тогда он схватил ложку и стал жрать клубнику в сливках, не замечая вкуса, не замечая, что делает. «Хватит, хватит с меня,— думал он. — Не нужно мне ничего, ни орденов, ни гонораров, ни подачек ваших, не нужно мне вашего внимания, ни злобы вашей, ни любви вашей, оставьте меня одного, я по горло сыт самим собой, и не впутывайте меня в ваши истории... Он охватил голову руками, чтобы не видеть перед собой белосинего лица Павора и этих бесцветных безжалостных морд в одинаковых плащах. Генерал Пферд с вами, генерал Баттокс, генерал Аршманн с вашими орденоносными объятиями, и Зурзмандор с отклеивающимся ликом... Он все пытался понять, на что это похоже. Высосал еще полстакана и понял, что, корчась, прячется на дне траншеи, а под ним ворочается земля, целые геологические пласты, гигантские массы гранита, базальта, лавы выгибают друг друга, стена от напряжения, вспучиваются, выпячиваются и между делом, походя, выдавливают его наверх, все выше, выжимают его из траншеи, выпирают над бруствером, а времена тяжелые, у властей приступ служебного рвения, намекнули кому-то, что плохо-де работаете, а он — вот он, над бруствером, голенький, глаза руками зажал, а весь на виду. — Лечь бы на дно,— думал он. — Лечь бы, чтобы не слышали и не видели. Лечь бы на дно, как подводная лодка, думал он, и кто-то подсказал ему: чтоб не могли запе-

ленговать. Да-да, лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. И никому не давать о себе знать. Нет меня. Молчу. Разбирайтесь сами. Господи, почему я никак не могу сделаться циником?.. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Лечь бы на дно, как подводная лодка,— твердил он,— и позывных не передавать. — Он уже почувствовал ритм, и сразу заработало: сыт я по горло... до подбородка... и не хочу ни пить, ни писать... — Он налил джину и выпил. — Я не хочу ни петь, ни писать... ох, надоело петь и писать... Где банджо,— подумал он. — Куда я сунул банджо? — Он полез под кровать и вытащил банджо. — А мне на вас плевать,— подумал он. — Ох, до какой степени мне наплевать! Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. — Он ритмично бил по струнам, и в этом ритме сначала стол, потом вся комната, а потом весь мир пошел притоптывать и поводить плечами. Все генералы и полковники, все мокрые люди с отваливающимися лицами, все департаменты безопасности, все президенты и Павор Сумман, которому выкрутили руки и били по морде... — Сыт я по горло, до подбородка, даже от песен стал уставать... не стал уставать, уже устал, но «стал уставать» — это хорошо, а значит, это так и есть... лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Подводная лодка... горькая водка... а также молодка, а также наводка, а лагерь — не тетка... вот как, вот как...»

В дверь уже давно стучали, все громче и громче, и Виктор наконец услышал, но не испугался, потому что это был не ТОТ стук. Обыкновенный радующий стук мирного человека, который злится, что ему не открывают. Виктор открыл дверь. Это был Голем.

— Веселитесь? — сказал он. — Павора арестовали.

— Знаю, знаю,— сказал Виктор весело. — Садитесь и слушайте...

Голем не сел, но Виктор все равно ударил по струнам и запел:

Сыт я по горло, до подбородка,
Даже от песен стал уставать.
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не могли запеленговать...

— Дальше я еще не сочинил,— крикнул он. — Дальше будет водка... молодка... лагерь не тетка... А потом — слушайте:

Не помогают ни девки, ни водка,
С водки — похмелье, а с девок — что взять?
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
И позывных не передавать...

Сыт я по горло, сыт я по глотку,
О-о-ох, надоело петь и играть!
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не могли запеленговать... *

* Стихи В. Высоцкого

— Все! — крикнул он и швырнул банджо на кровать. Он почувствовал огромное облегчение, как будто что-то изменилось, как будто он стал вдруг очень нужен там, над бруствером, на виду у всех, — оторвал руки от зажмуренных глаз и оглядел серое грязное поле, ржавую колючую проволоку, серые мешки, которые раньше были людьми, нудное, бесчестное действо, которое раньше было жизнью, и со всех сторон над бруствером поднялись люди и тоже огляделись, и кто-то снял палец со спускового крючка...

— Завидую, — сказал Голем. — Но не пора ли вам засесть за статью?

— И не подумаю, — сказал Виктор. — Вы меня не знаете, Голем, — я на всех плевал. Да садитесь же, черт возьми! Я пьян, и вы тоже напейтесь! Снимайте плащ... Снимайте, я вам говорю! — заорал он. — И садитесь! Вот стакан, пейте! Вы ничего не понимаете, Голем, хоть вы и пророк. И я вам не позволю. Не понимать — это моя прерогатива. В этом мире все слишком уж хорошо понимают, что должно быть, что есть и что будет, и большая нехватка в людях, которые не понимают. Вы думаете, почему я представляю ценность? Только потому, что я не понимаю. Передо мной разворачивают перспективы — а я говорю: нет, непонятно. Меня оболванивают теориями, предельно простыми, — а я говорю: нет, ничего не понимаю... Вот поэтому я нужен... Хотите клубники? Хотя я все съел. Тогда закурим...

Он встал и прошелся по комнате. Голем со стаканом в руке следил за ним, не поворачивая головы.

— Это удивительный парадокс, Голем. Было время, когда я все понимал. Мне было шестнадцать лет, я был старшим рыцарем Легиона, я абсолютно все понимал, и я был никому не нужен! В одной драке мне проломили голову, я месяц пролежал в больнице, и все шло своим чередом — Легион победно двигался вперед без меня, господин Президент неумолимо становился господином Президентом, и опять же без меня. Все прекрасно обходились без меня. Потом то же самое повторилось на войне. Я офицерил, хватал ордена и при этом, естественно, все понимал. Мне прострелили грудь, я угодил в госпиталь, и что же — кто-нибудь побеспокоился, заинтересовался, где Банев, куда делся наш Банев, наш храбрый, все понимающий Банев? Ни хрена подобного! А вот когда я перестал понимать что бы то ни было — о, тогда все переменялось. Все газеты заметили меня. Куча департаментов заметила меня. Господин Президент лично удостоил... А? Вы представляете, какая это редкость — непонимающий человек! Его знают, о нем пекутся генералы и покой... э-э... полковники, он позарез нужен мокрецам, его почитают личностью, кошмар! За что? А за то, господа, что он ничего не понимает. — Виктор сел. — Я здорово пьян? — спросил он.

— Не без, — сказал Голем, — но это неважно, продолжайте.

Виктор развел руки.

— Все,— сказал он виновато. — Я иссяк... Может быть, вам спеть?

— Спойте,— согласился Голем.

Виктор взял банджо и стал петь. Он спел «Мы — храбрые ребята», потом «Урановые люди», потом «Про пастуха, которому бык выбодал один глаз и который поэтому нарушил государственную границу», потом «Сыт я по горло», потом «Равнодушный город», потом про правду и ложь, потом снова «Сыт я по горло», потом затянул государственный гимн на мотив «Ах, какие ножки у нее!», но забыл слова, перепутал строфы и отложил банджо.

— Опять иссяк,— сказал он грустно. — Так, говорите, Павора арестовали? А я это знаю. Он сидел как раз у меня, где вы сидите... А вы знаете, что он хотел сказать, но не успел? Что через десять лет мокрецы овладеют земным шаром и всех нас передавят. Как вы полагаете?

— Вряд ли,— сказал Голем. — Зачем нас давить? Мы сами друг друга передавим.

— А мокрецы?

— Может быть, они не дадут нам передавить друг друга... Трудно сказать.

— А может быть, помогут? — сказал Виктор с пьяным смехом. — А то ведь мы даже давить не умеем. Десять тысяч лет давим и все никак не передавим... Слушайте, Голем, а зачем вы мне врили, что вы их лечите? Никакие они не больные, они все здоровые, как мы с вами, только желтые почему-то...

— Гм,— произнес Голем. — Откуда у вас такие сведения? Я этого не знал.

— Ладно-ладно, больше вы меня не обманете, я говорил с Зуэр... с Зу... с Зурзмансором. Он мне все рассказал: секретный институт... обмотались повязками в целях сохранения... Вы знаете, Голем, они там у вас воображают, будто смогут вертеть генералом Пфердом до бесконечности. А на самом деле — калифы на час. Сожрет он их вместе с повязками и с перчатками, когда проголодается... Фу, черт, как пьян — все плывет...

Но он немного лукавил. Он хорошо видел перед собой толстое сизое лицо и маленькие, непривычно внимательные глазки.

— И Зурзмансор сказал вам, что он здоров?

— Да,— сказал Виктор. — Впрочем, не помню... Скорее всего, нет. Но видно же.

Голем поскреб подбородок краем стакана.

— Жалко, что вы пьяны,— сказал он. — Впрочем, может быть, это хорошо. У меня сегодня настроение. Хотите, я расскажу вам все, о чем догадываюсь и что думаю о мокрецах?

— Валяйте,— согласился Виктор. — Только больше не врите.

— Очковая болезнь,— сказал Голем,— это очень любопытная шту-

ка. Вы знаете, кого поражает очковая болезнь? — Он замолчал. — Нет, не буду я вам ничего рассказывать.

— Бросьте,— сказал Виктор. — Вы уже начали.

— Ну и дурак, что начал,— возразил Голем. Он посмотрел на Виктора и ухмыльнулся. — Задавайте вопросы,— сказал он. — Если вопросы будут глупые, я на них с удовольствием отвечу... Давайте, давайте, а то я опять раздумую.

В дверь постучали.

— Идите к черту! — гаркнул Виктор. — Я занят!

— Простите, господин Банев,— сказал робкий голос портье. — Вам звонит ваша супруга.

— Вранье! У меня нет никакой супруги... Впрочем, пардон. Я забыл. Ладно, я ей сейчас позвоню, спасибо. — Он схватил стакан, налил до краев, сунул Голему и сказал: — Пейте и ни о чем не думайте. Я сейчас.

Он включил телефон и набрал номер Лолы. Лола говорила очень сухо: извини, что помешала, но я собираюсь ехать к Ирме, не соблаговолишь ли ты присоединиться.

— Нет,— сказал Виктор. — Не соблаговолю. Я занят.

— Все-таки это твоя дочь! Неужели ты опустился до такой степени...

— Я занят! — рякнул Виктор.

— Тебя не волнует, что с твоей дочерью?

— Перестань валять дурака,— сказал Виктор. — Ты, кажется, хотела избавиться от Ирмы. Ты избавилась. Чего тебе еще нужно?

Лола принялась плакать.

— Перестань,— сказал Виктор, морщась. — Ирме там хорошо. Лучше, чем в самом лучшем пансионе. Поезжай и убедись сама.

— Грубая, бездушная, эгоистическая свинья,— объявила Лола и повесила трубку. Виктор шепотом выругался, снова выключил телефон и вернулся к столу.

— Слушай, Голем,— сказал он. — Что вы там делаете с моими детьми? Если вы там готовите себе смену, то я не согласен.

— Какую смену?

— Ну, какую... Вот я и спрашиваю: какую?

— Насколько мне известно,— сказал Голем,— дети очень довольны.

— Мало ли что... Я и без вас знаю, что они довольны. Но что они там делают?

— А разве они вам не говорили?

— Кто?

— Дети.

— Как они мне могли говорить, если я здесь, а они там?

— Они строят новый мир,— сказал Голем.

— А... Да, это они мне говорили. Но это же так, философия... Что

вы мне опять врете, Голем? Какой может быть новый мир за колючей проволокой? Новый мир под командованием генерала Пфферда!.. А если они там заразятся?

— Чем? — спросил Голем.

— Очковой болезнью, естественно!

— В шестой раз повторяю вам, что генетические болезни не заразы.

— В шестой, в шестой... — проворчал Виктор, потеряв нить. — А что это такое вообще очковая болезнь? Что от нее болит? Или, может быть, это секрет?

— Нет, это везде опубликовано.

— Ну расскажите, — сказал Виктор. — Только без терминов.

— Сначала — изменения кожи. Прыщи, волдыри, особенно на руках и на ногах... иногда — гнойные язвы...

— Слушайте, Голем, а это вообще важно?

— Для чего?

— Для сути.

— Для сути — нет, — сказал Голем. — Я думал, вам это интересно.

— Я хочу понять суть! — сказал Виктор проникновенно.

— А сути вы не поймете, — сказал Голем, слегка повысив голос.

— Почему?

— Во-первых, потому что вы пьяны...

— Это еще не причина, — сказал Виктор.

— А во-вторых, потому что это вообще невозможно объяснить.

— Так не бывает, — заявил Виктор. — Вы просто не хотите говорить. Но я на вас не в обиде. Подписка, разглашение, военный трибунал... Павора вот забрали. Бог с вами. Я только не понимаю, почему ребенок должен строить новый мир в лепрозории. Другого места не нашлось?

— Не нашлось, — ответил Голем. — В лепрозории живут архитекторы. И подрядчики.

— С автоматами, — сказал Виктор. — Видел. Ничего не понимаю. Кто-то из вас врет. Либо вы, либо Зурзмансор.

— Конечно, Зурзмансор, — хладнокровно сказал Голем.

— А может быть, вы оба врете. А я вам обоим верю, потому что есть в вас что-то... Вы мне только скажите, Голем, чего они хотят? Только честно.

— Счастья, — сказал Голем.

— Для кого? Для себя?

— Не только.

— А за чей счет?

— Для них этот вопрос не имеет смысла, — медленно сказал Голем. — За счет травы, за счет облаков, за счет текучей воды... за счет звезд.

— Совсем как мы,— сказал Виктор.

— Ну нет,— возразил Голем. — Совсем не так.

— Почему? Мы тоже...

— Нет, потому что мы вытаптываем траву, рассеиваем облака, тормозим воду... Вы меня поняли слишком буквально, а это аналогия.

— Не понимаю,— сказал Виктор.

— Я вас предупреждал. Я сам многого не понимаю, но я догадываюсь.

— А есть кто-нибудь, кто понимает?

— Не знаю. Вряд ли. Может быть, дети... Но даже если они и понимают, то по-своему. Очень по-своему.

Виктор взял банджо и потрогал струны. Пальцы не слушались. Он положил банджо на стол.

— Голем,— сказал он. — Вот вы — коммунист. Какого черта вы делаете в лепрозории? Почему вы не на баррикаде? Почему вы не на митинге? Москва вас не похвалит.

— Я — архитектор,— спокойно сказал Голем.

— Какой вы архитектор, если вы ни черта не понимаете? И вообще, чего вы меня водите за нос? Мы с вами час бьемся, а что вы мне сказали? Жрете джин и напускаете туману. Стыдно, Голем. И врете бесперечь.

— Ну уж и бесперечь,— сказал Голем. — Хотя не без этого. Не бывает у них гнойных язв.

— Дайте сюда стакан,— сказал Виктор. — Уже напился. — Он плеснул из бутылки и выпил. — Черт вас разберет, Голем. Ну зачем вам все это? Что это за игры? Если можете рассказать — рассказывайте, а если это тайна — нечего было начинать.

— Это очень просто объясняется,— благодушно сказал Голем, вытягивая ноги. — Я же пророк, вы меня сами так обзывали. А пророки все в таком положении: знают они много и рассказать им хочется — поделиться с приятным собеседником, похвастаться для придания себе веса. А когда начинают рассказывать, появляется этакое ощущение неудобства, неловкости... Вот они и зуммерят, как господь бог, когда его спросили насчет камня.

— Как угодно,— сказал Виктор. — Поеду в лепрозорий и узнаю все без вас... А ну подскажите что-нибудь.

Он с интересом следил, как отнимаются руки и ноги, и думал, что хорошо бы выпить еще стакан для комплекта и завалиться спать, а потом проснуться и поехать к Диане. Все получится не так уж плохо. И вообще все не так плохо. Он представил себе, как споет Диане про подводную лодку, и ему стало совсем хорошо. Он взял мокрое весло, которое лежало на корме, и оттолкнулся от берега, и лодка сразу же закачалась. Никакого дождя не было, даже облаков не было, был красный закат, и он поплыл прямо на закат, и весла срывались с верху-

шек волн. Лечь бы на дно... И он бы лег, но было неловко, потому что над ухом лениво гудел голос Голема:

— ...Они очень молоды, у них все впереди, а у нас впереди — только они. Конечно, человек овладеет Вселенной, но это будет не краснощекий богатырь с мышцами, и конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он изменит себя... Природа не обманывает, она выполняет свои обещания, но не так, как мы думали, и зачастую не так, как нам хотелось бы...

Зурзмансор, который сидел на носу лодки, повернул голову, и стало видно, что у него нез лица, лицо он держал в руках, и лицо смотрело на Виктора — хорошее лицо, честное, но от него тошнило, а Голем все не отставал, все гудел...

— Ложитесь спать, — пробормотал Виктор, растягиваясь на дне лодки. Шпангоуты резали ему бока, и было очень неудобно, но уж очень хотелось спать. — Ложитесь спать, Голем...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Проснувшись, он обнаружил, что лежит в постели. Было темно, в окна с дробным треском хлестал дождь. Он с трудом поднял руку и потянулся к ночнику, но пальцы наткнулись на холодную гладкую стену. «Странно, — подумал он. — А где Диана? Или это не санаторий? — Он попробовал облизать губы, толстый шершавый язык не повиновался. Очень хотелось курить, но курить было нельзя ни в коем случае... — Ага, собственно, мне хочется пить».

— Диана! — позвал он.

«Да, здесь же не санаторий. В санатории ночник справа, а здесь справа стена... Так это же мой номер! — подумал он с восторгом. — Как я сюда попал? — Он лежал под одеялом и был раздет до белья. — Что-то я не помню, чтобы я раздевался сам. Если на мне ботинки, то я разделся сам... Он потер ногой об ногу. Ага, босой. Черт, руки чешутся, волдыри какие-то, поразвели клопов в номерах. Съеду. Куда это я ехал в лодке?.. А, это Павор здесь клопов развел... — Он вдруг вспомнил о Паворе и сел, но его замутило, и он опять лег на спину. — Давно так не надирался, однако... Павор... «Серебряный Трилистник»... Когда это было? Вчера? — Он скривился и стал драть ногтями левую руку. — Что сейчас — утро или вечер? Наверное, утро... А может быть, вечер. Голем! — вспомнил он. — Мы с Големом высосали целую бутылку. И не разбавляли. А до этого полбутылки высосали с долговязым. А до этого я еще где-то сосал. Или это было вчера? Постой-ка, а сейчас — сегодня или вчера? Встать бы надо, попить, то, се... Нет, — подумал он упрямо. — Я сначала разберусь.

Что-то Голем рассказывал интересное, он решил, что я пьян и ничего не понимаю, и можно поэтому говорить со мной откровенно. Впро-

чем, я действительно был пьян, но, помнится, все понимал. Что же я понимал?... Он яростно потер тыльной стороной правой ладони по шерстяному одеялу. Тяжелые времена наступают... Нет, это из Павора... Ага, вот из Голема: у них все впереди, а у нас впереди — только они. И генетическая болезнь... А что же, вполне возможно. Когда-нибудь это должно произойти. Может быть, давно уже происходит. Внутри вида зарождается новый вид, а мы это называем генетической болезнью. Старый вид — для одних условий, новый вид — для других. Раньше нужны были мощные мышцы, плодовитость, морозоустойчивость, агрессивность и, так сказать, практическая сметка. Сейчас, положим, это тоже нужно, но скорее по инерции. Можно укокошить миллион с практической сметкой, и ничего существенного не произойдет. Это уж точно, много раз испробовано. Кто это сказал, что если из истории вынуть несколько десятков... ну, пусть несколько сотен человек, то мы бы моментально оказались в каменном веке. Ну, пусть несколько тысяч... Что это за люди? Это, брат, совсем другие люди.

А вполне возможно: Ньютон, Эйнштейн, Аристотель — мутанты. Среда, конечно, была не слишком благоприятная, и вполне возможно, что масса таких мутантов погибла, не обнаружив себя, как тот мальчишка из рассказа Чапека... Они, конечно, особенные: ни практической сметки у них не было, ни нормальных человеческих потребностей... Или, может быть, это кажется? Просто духовная сторона так гипертрофирована, что все прочее незаметно. Ну, это ты зря, — сказал он. — Эйнштейн говорил, что лучше всего работать смотрителем маяка — это уже само по себе звучит... А вообще интересно было бы себе представить, как в наши дни рождается хомо супер. Хороший сюжет... Черт, руки зудят нестерпимо... Написать бы такую утопию в духе Орвелла или Бернарда Вольфа. Правда, трудно представить себе такого супера: огромный лысый череп, хиленькие ручки-ножки, импотент — банальщина. Но вообще что-то в этом роде и должно быть. Во всяком случае, смещение потребностей. Водки не надо, жратвы какой-нибудь особенной не надо, роскоши никакой, да и женщин, в общем-то... так только, для спокойствия и вящей сосредоточенности. Идеальный объект для эксплуатации: отдельный ему кабинет, стол, бумагу, кучку книг... аллею для перипатетических размышлений, а взамен он выдает идеи... Никакой утопии не получится — загребут его военные, вот и вся утопия. Сделают секретный институт, всех этих суперов туда свезут, поставят часового, вот и все...»

Виктор, кряхтя, поднялся, ступая босыми ногами по холодному полу, прошел в ванную, открыл кран и с наслаждением напился, не зажигая света. Страшно было даже подумать — зажечь свет. Потом он снова вернулся на кровать и некоторое время чесался, проклиная клопов. «Вообще-то для сюжета это даже хорошо: секретный институт, часовые, шпионы — патриотизм патриотической уборщицы Кла-

ры... экая дешевка. Трудность в том, чтобы представить себе их работу, идеи, возможности — куда уж мне... Это вообще невозможно. Шимпанзе не может написать роман о людях. Как я могу написать роман о человеке, у которого никаких потребностей, кроме духовных? Конечно, кое-что представить можно. Атмосферу. Состояние непрерывного творческого экстаза. Ощущение своего всемогущества, независимости... отсутствие комплексов, совершенное бесстрашие... Да, чтобы написать такую штуку, надо набраться ЛСД. Вообще эмоциональная сфера супера с точки зрения обычного человека представлялась бы как патология. Болезнь... Жизнь — болезнь материи, мышление — болезнь жизни. Очковая болезнь», — подумал он.

И вдруг все встало на свои места. «Так вот что он имел в виду! — подумал Виктор про Голема. — Умные и все как на подбор талантливые... Тогда что же это выходит? Тогда выходит, что они уже не люди. Зурзматор мне просто баки забивал. Значит, началось... Ничего нельзя скрыть, — подумал он с удовлетворением. — А такую штуку тем более. Пойду к Голему, нечего ему строить пророка. Они, наверное, многое ему рассказали... Черт подери, это же будущее, то самое будущее, которое запускает щупальца в сердце сегодняшнего дня! У нас впереди — только они...» Его охватило лихорадочное возбуждение. Каждая секунда была исторической, и жалко, что он не знал об этом вчера, потому что вчера, и позавчера, и неделю назад каждая секунда тоже была исторической...

Он вскочил, зажег свет и, морщась от рези в глазах, стал на ощупь искать свою одежду. Одежды не было, но потом глаза привыкли к свету, он схватил брюки, висящие на спинке кровати, и вдруг увидел свою руку. Рука до локтя была покрыта красной сыпью и мертвенно-белыми бугорками. Некоторые бугорки кровоточили от расчесов. На другой руке было то же самое. Что за черт, подумал он, холодея, потому что уже знал — что это. Он уже вспомнил: изменения кожи, сыпь, волдыри, иногда — гнойные язвы... Гнойных язв пока не было, но он покрылся холодным потом и, уронив брюки, сел на кровать. «Не может быть, — подумал он. — Я тоже. Неужели я тоже?.. — Он осторожно погладил ладонью бугорчатую кожу, потом закрыл глаза и, задержав дыхание, прислушался к себе. Гулко и редко стучало сердце, в ушах тонко звенела кровь, голова казалась огромной, пустой, не было боли, не было ватной тяжести в мозгу. — Дурак, — подумал он, улыбаясь. — Что я надеюсь заметить? Это должно быть как смерть: секунду назад ты был человеком, мелькнул квант времени, и ты уже бог, и не знаешь этого, и никогда не узнаешь, как дурак не знает, что он — дурак, как умный, если он действительно умен, не знает, что он умный... Это, наверное, случилось, пока я спал. Во всяком случае, до того, как я заснул, суть мокрецов была для меня чрезвычайно туманна, а сейчас я вижу все с предельной резкостью и постиг это голой логикой, даже не заметив...»

Он счастливо засмеялся, ступил на пол и, хрустнув мышцами, подошел к окну. Мой мир, подумал он, глядя сквозь залитое водой стекло, и стекло исчезло, далеко внизу утонул в дожде замерший в ужасе город, и огромная мокрая страна, а потом все сдвинулось, уплыло, и остался только маленький голубой шарик с длинным голубым хвостом, и он увидел гигантскую чечевицу галактики, косо и мертво висящую в мерцающей бездне, клочья светящейся материи, скрученные силовыми полями, и бездонные провалы там, где не было света, и он протянул руку, и погрузил ее в пухлое белое ядро, и ощутил легкое тепло, и когда он сжал кулак, материя прошла сквозь пальцы, как мыльная пена. Он снова засмеялся, щелкнул по носу свое отражение в стекле и нежно погладил бугорки на вспухшей коже.

— По такому поводу необходимо выпить! — сказал он вслух.

В бутылке оставалось еще немного джину, бедный старый Голем не смог допить до конца, бедный старый лжепророк... не потому лжепророк, что прорицания его неверны, а потому, что он всего-навсего говорящая марионетка. «Я всегда буду любить тебя, Голем,— подумал Виктор,— ты хороший человек, ты умный человек, но ты — всего лишь человек... — Он слил остатки в стакан, привычным движением опрокинул спиртное в глотку и, еще не успев проглотить, бросился в ванную. Его стошнило. — Черт,— подумал он. — Какая мерзость. — В зеркале он увидел свое лицо — мятое, слегка обрюзгшее, с неестественно большими и неестественно черными глазами. — Ну, вот и все,— подумал он,— ну вот и все, Виктор Банев, пьяница и хвостун. Не пить тебе больше, и не орать песен, и не хохотать над глупостями, и не молоть веселую чепуху деревянным языком, не драться, не буйствовать и не хулиганить, не пугать прохожих, не ругаться с полицией, не ссориться с господином Президентом, не вваливаться в ночные бары с галдящей компанией молодых почитателей... — Он вернулся на кровать. Курить не хотелось. Ничего не хотелось, от всего мутило и стало грустно. Ощущение потери, сначала легкое, чуть заметное, как прикосновение паутины, разрасталось, мрачные ряды колючей проволоки вставали между ним и тем миром, который он так любил. — За все надо платить,— думал он,— ничего не получают даром, и чем больше ты получил, тем больше нужно платить, за новую жизнь надо платить старой жизнью».

Он яростно чесал руки, обдирая кожу, и не замечал этого.

Диана вошла, не постучавшись, сбросила плащ и остановилась перед ним, улыбающаяся, соблазнительная, и подняла руки, оправляя волосы.

— Замерзла,— сказала она. — Пускают погреться?

— Да,— сказал он, плохо понимая, что она говорит.

Она выключила свет, и теперь он не видел ее, только слышал ключ, повернувшийся в скважине, треск расстегиваемых кнопок, шорох одеж-

ды и как туфли упали на пол, а потом она оказалась рядом, теплая, гладкая, душистая, а он все думал, что теперь всему конец — вечный дождь, угрюмые дома с крышами, как решето, чужие незнакомые лица в мокрой черной одежде, с мокрыми повязками на лицах... и вот они снимают повязки, снимают перчатки, снимают лица и кладут их в специальные шкафчики, а руки их покрыты гнойными язвами — тоска, ужас, одиночество... Диана прижалась к нему, и он привычным движением обнял ее. Она была прежняя, но он-то уже был не прежний, он больше ничего не мог, потому что ему ничего не было нужно.

— Что с тобой, малыш? — ласково спросила Диана. — Перебрал?

Он осторожно снял ее руки со своей шеи. Ему стало окончательно страшно.

— Подожди, — сказал он. — Подожди.

Он встал, нащупал выключатель, зажег свет и несколько секунд стоял к ней спиной, не решаясь обернуться, но все-таки обернулся. Нет, она была прекрасна. Она была, наверное, даже красивее, чем обычно, она всегда была красивее, чем обычно, но это было как картина. Это возбуждало гордость за человека, восхищение человеческим совершенством, но больше это ничего не возбуждало. Она смотрела на него, удивленно подняв брови, а потом, видимо, испугалась, потому что вдруг быстро села, и он увидел, что губы ее шевелятся. Она что-то говорила, но он не слышал.

— Подожди, — повторил он. — Не может быть. Подожди.

Он одевался с лихорадочной поспешностью и все твердил: подожди, подожди, но он уже думал не о ней, дело было не только в ней. Он выскочил в коридор, ткнулся в номер Голема, в запертую дверь, не сразу сообразил, куда теперь, а затем сорвался и побежал вниз, в ресторан. Не надо, твердил он, не надо мне этого, я не просил.

Слава богу, Голем был на обычном месте. Он сидел, закинув руку за спинку кресла, и рассматривал на просвет рюмку с коньяком. А доктор Р. Квадрига был красен, агрессивен и, увидевши Виктора, сказал на весь зал:

— Эти мокрецы. Стервы. Прочь.

Виктор рухнул в свое кресло, и Голем, не говоря ни слова, налил ему коньяку.

— Голем, — сказал Виктор. — Ах, Голем, я заразился!

— Спринцевание, — провозгласил Р. Квадрига. — Мне тоже.

— Выпейте коньячку, Виктор, — сказал Голем. — Не надо так волноваться.

— Идите к черту, — сказал Виктор, в ужасе глядя на него. — У меня очковая болезнь? Что делать?

— Хорошо, хорошо, — сказал Голем. — Вы все-таки выпейте. — Он поднял палец и крикнул официанту: — Содовой! И еще коньяку.

— Голем, — сказал Виктор с отчаянием. — Вы не понимаете. Я не

могу. Я заболел, говорю я вам! Заразился! Это нечестно... Я не хотел... Вы же говорили — не заразно...

Он ужаснулся при мысли, что говорит слишком несвязно, что Голем его не понимает и думает, что он просто пьян. Тогда он сунул Голему под нос свои руки. Рюмка опрокинулась, прокатилась по столу и упала на пол.

Голем сначала отшатнулся, потом пригляделся, наклонился вперед, взял руки Виктора за кончики пальцев и стал рассматривать расчесанную бугристую кожу. Пальцы у него были холодные и твердые. «Ну вот и все,— думал Виктор,— вот и первый врачебный осмотр, а потом будут еще осмотры и лживые обещания, что есть еще надежда, и успокоительные микстуры, а потом он привыкнет, и уже не будет никаких осмотров, и его отвезут в лепрозорий, заматают рот черной тряпкой, и все будет кончено».

— Землянику ели? — спросил Голем.

— Да,— покорно сказал Виктор. — Клубнику.

— Сlopали, небось, килограмма два,— сказал Голем.

— При чем здесь земляника? — закричал Виктор, вырывая руки. — Сделайте что-нибудь! Не может быть, чтобы было поздно. Только что началось...

— Перестаньте орать. У вас крапивница. Аллергия. Вам противопоказано жрать клубнику в таких количествах.

Виктор еще не понимал. Разглядывая свои руки, он бормотал:

— Вы же сами говорили... волдыри... сыпь...

— Волдыри и от клопов бывают,— сказал Голем наставительно. — У вас идиосинкразия к некоторым веществам. И воображение не по разуму. Как у большинства писателей. Тоже туда же — мокрец...

Виктор почувствовал, что оживает. Обошлось, стучало у него в голове. Обошлось, кажется. Если обошлось, я не знаю, что сделаю. Курить брошу...

— А вы не врете? — сказал он жалким голосом.

Голем усмехнулся.

— Выпейте коньяку,— предложил он. — При аллергии нельзя пить коньяк, но вы выпейте. А то у вас уж очень жалкий вид.

Виктор взял его рюмку, зажмурился и выпил. Ничего! Подташнивает немного, но это, надо понимать, с похмелья. Сейчас пройдет. И все прошло.

— Милый писатель,— сказал Голем. — Чтобы стать архитектором, одних волдырей недостаточно.

Подошел официант и поставил на стол коньяк и содовую. Виктор глубоко и вольно вздохнул, вдохнул знакомый ресторанный воздух и ощутил прекрасные запахи табачного дыма, маринованного лука, подгоревшего масла и жареного мяса. Жизнь вернулась.

— Дружище,— сказал он официанту. — Бутылку джину, лимонный

сок, лед и четыре порции миног в двести шестнадцатый. И быстро!.. Алкоголики,— сказал он Голему и Р. Квадриге. — Пропадите вы тут пропадом, а я пойду к Диане! — Он готов был расцеловать их.

Голем сказал, ни к кому не обращаясь:

— Бедный прекрасный утенок!

На секунду Виктор ощутил сожаление. Всплыло и исчезло воспоминание о каких-то огромных упущенных возможностях. Но он только рассмеялся, отпихнул кресло и зашагал к выходу.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Через год после войны поручика Б. демобилизовали по ранению. Ему повесили медаль «Виктория», сунули в зубы месячный оклад денежного содержания и картонный ящик с подарком господина Президента: бутылка трофейного шнапса, две жестянки страсбургского паштета, два круга копченой конской колбасы и трофейные же шелковые подштанники для устройства семейной жизни. Вернувшись в столицу, поручик не унывает. Он хороший механик, и его в любой момент возьмут работать в университетские мастерские, откуда он ушел добровольцем, но он не торопится — восстанавливает старые знакомства, заводит новые, а в промежутках пропихивает барахло, изъятое у неприятеля в счет репараций. На одной вечеринке он встречается женщину по имени Нора, очень похожую на Диану. Описание вечеринки: заезженные довоенные пластинки, денатурат домашней очистки, американская тушенка, шелковые блузки на голое тело и морковь во всех видах. Поручик, звеня медалями, мигом разгоняет разных штатских, неустанно подкладываяющих Норе вареную морковку, и начинает правильную осаду. Нора ведет себя странно. С одной стороны, она явно непрочь, но, с другой стороны, она дает ему понять, что связываться с нею опасно. Однако разгоряченный денатуратом экс-поручик не желает ничего знать. Они покидают вечеринку и отправляются к Норе. Послевоенная столица ночью: редкие фонари, мостовая в выбоинах, огороженные развалины, недостроенный цирк, в котором гниют шесть тысяч пленных под охраной двух инвалидов, в совершенно уже темном переулке кого-то грабят. Нора живет в старинном трехэтажном доме, лестница загажена, на одной двери надпись мелом: «Здесь живет немецкая овчарка». В длинном коридоре, заваленном разным хламом, отшатываются в тень затхлые личности. Нора, гремя многочисленными ключами, отпирает свою дверь, обитую чудом сохранившейся блестящей кожей. В прихожей она делает еще одно предупреждение, но Б., полагая, что речь идет всего лишь о какой-нибудь уголовщине, отвечает только, что хаживал на танки в конном строю. Квартирка не по времени чистенькая и уютная, огромный диван. Нора смотрит на поручика с каким-то сожалением, уходит ненадолго и возвращается с початой

бутылкой коньяка, одетая в высшей степени соблазнительно. Оказывается, в их распоряжении всего полчаса. По истечении получаса удовлетворенный поручик уходит с надеждой встретиться вновь. В конце коридора его уже ждут — два затхлых человека из тени. Неприятно усмехаясь, они загораживают дорогу и предлагают поговорить. Поручик без лишних слов принимается их бить и одерживает неожиданную легкую победу. Сбитые с ног, затхлые люди, плача и хихикая, разъясняют поручику Б. его положение. Экс-поручик бил своих. Они теперь все свои. Нора не просто соблазнительная женщина, Нора — королева столичных клопов. Вам теперь конец, господин офицер, встретимся в «Атакаме», мы все там встречаемся, каждую ночь. Идите домой, а когда вам станет невтерпёж, приходите, у нас открыто до утра...

На западной окраине столицы, в доходном доме рядом с химическим заводом, живет многосемейный титулярный советник Б. Нарочито подробное и нарочито скучное описание обстоятельств героя: три комнатки, кухня, прихожая, стертая жена, пятеро зеленоватых детей, крепкая старая теща, переселившаяся из деревни. Химический завод воняет, днем и ночью над ним стоят столбы разноцветного дыма, от ядовитого смрада умирают деревья, желтеет трава, дико и страшно мутируют мухи. Несколько лет титулярный советник ведет кампанию по укрощению завода: гневные требования в адрес администрации, слезные петиции во все инстанции, разгромные фельетоны во все газеты, бесплодные попытки организовать пикеты у проходной. Однако завод стоит, как бастион. На набережной перед заводом замертво падают отравленные постовые; дохнут домашние животные; покидают квартиры и уходят бродяжничать целые семьи; в газетах появляется некролог на преждевременную кончину директора завода. У титулярного советника Б. умирает жена, дети по очереди заболевают астмой. Однажды вечером, спустившись в подвал за дровами, он обнаруживает там сохранившийся со времен Сопrotивления миномет и огромные запасы мин. Той же ночью он перетаскивает все это на чердак и открывает слуховое окно. Завод лежит перед ним как на ладони: в резком свете прожекторных ламп спуют рабочие, бегают вагонетки, плывут желтые и зеленые клубы ядовитых паров. Я тебя убью, шепчет титулярный советник и открывает огонь. В этот день он не идет на службу, на следующий день — тоже. Он не спит и не ест, он сидит на корточках под слуховым окном и стреляет. Время от времени он делает перерывы, чтобы охладился ствол миномета. Он оглох от выстрелов и ослеп от порохового дыма. Иногда ему кажется, что химический смрад ослабевает, и тогда он улыбается, облизывает губы и шепчет: я убью тебя. Потом он падает без сил и засыпает, а проснувшись, видит, что мины кончились — осталось три штуки. Он выстреливает их и высовывается в окно. Обширный двор завода усеян воронками, зияют выбитые стекла, на боках гигантских газгольдеров темнеют вмятины, двор

перерыл сложной системой траншей, по траншеям короткими перебежками двигаются рабочие, быстрее прежнего бегают вагонетки, водители автокаров защищены железными листами, а когда ветер относит клубы ядовитых паров, на кирпичной стене заводоуправления открывается свежая белая надпись: «Внимание! При обстреле эта сторона особенно опасна»...

Виктор дочитал последнюю страницу, закурил и поглядел на листок, заправленный в машинку. Там было всего полторы строчки: «Выйдя из редакции, журналист Б. хотел было взять такси, но передумал и спустился в подземку». Виктор совершенно точно знал, что случилось затем с журналистом Б., но писать он больше не мог. Часы показывали без четверти три. Виктор поднялся и распахнул окно. На улице было черным-черно, и в черноте сверкал дождь. Виктор докурил у окна сигарету, выбросил окурочек в мокрую ночь и позвонил портье. Отозвался незнакомый голос. Виктор осведомился, какой сегодня день недели. Незнакомый голос, помедлив, сообщил, что сейчас ночь с пятницы на субботу. Виктор поморгал, положил трубку и решительно выдернул листок из машинки. «Хватит. Двое суток подряд, не разгибаясь, никого не видя, ни с кем не разговаривая, выключив телефон, не отвечая на стук, без Дианы, без выпивки, кажется, даже без еды, только время от времени забираясь на кровать, чтобы увидеть во сне королеву клопов, как она сидит у притолоки и шевелит черными усиками... Хватит. Журналист Б. подождет на платформе, пока подойдет поезд с надписью «Посадки нет». Ничего ему не сделается. А мы пока закусим, мы это заслужили, ей-богу... — Виктор убрал машинку, спрятал в стол рукопись и пошарил в пустом баре. Потом он жевал черствую булку с джемом и горько сетовал на себя за то, что вылил вчера полбутылки брэнди в раковину во избежание соблазна, и радовался, что цикл «За кулисами большого города» все-таки начат, и начат неплохо, прекрасно начат, вполне удовлетворительно. Хотя, наверное, придется все переписать. — Странно все-таки, — подумал он, — почему эти рассказы пошли именно сейчас? Почему не год назад, не два года назад, когда я их придумал? Сейчас я должен был бы писать о ханурике, вообразившем себя суперменом, вот о чем. Я ведь и начал с этого. Впрочем, такое со мной не в первый раз. А если подумать и хорошенько вспомнить, то так бывает всегда. И именно поэтому невозможно писать по заказу. Начинаешь писать роман о юных годах господина Президента, а получается про необитаемый остров, где живут странные обезьяны, которые питаются не бананами, а мыслями потерпевших кораблекрушение... Ну, здесь, положим, связь на поверхности. Э, да чего там, всегда она есть. Надо только покопаться, а кому охота копаться, если хочется выпить после двухдневного воздержания. Спустишься-ка я сейчас вниз, у портье всегда найдется выпить. Дождю вот сейчас и спущусь...»

Виктор вздрогнул и перестал жевать. Из черного провала за окном

сквозь плеск дождя донесся звук, как будто ударили молотком по доске. «Стреляют», — с удивлением подумал Виктор. Некоторое время он напряженно прислушивался.

...Ну, хорошо, а что автор хотел сказать этими своими сочинениями? Зачем ему понадобилось воскрешать тяжелые послевоенные времена, когда кое-где еще встречались клопы и легкомысленные женщины? Может быть, автор хотел показать героизм и стойкость столицы, которая под водительством его высокопревосходительства... Не выйдет, господин Банев! Не позволим! Весь мир знает, что по прямому указанию господина Президента на владельцев химических предприятий, загрязняющих воздух, только в столице наложен штраф в размере... Что благодаря личной и неусыпной заботе господина Президента более ста тысяч детей столицы ежегодно выезжают в загородные лагеря... что согласно табели о рангах чины ниже надворных советников не имеют права собирать подписи под петициями...

Тут свет погас. «Эге!» — сказал Виктор вслух, и лампа загорелась снова, но вполнекала. «Эт-то еще что?» — произнес Виктор, однако светлее не сделалось. Виктор подождал немного, затем позвонил портье. Никто не отозвался. Можно позвонить на электростанцию, но для этого надо найти телефонную книгу, а где ее искать, и все равно пора ложиться. Только сначала надо выпить. Виктор поднялся и вдруг услышал какой-то шорох. Кто-то возил по двери руками. Потом в дверь начали толкаться. «Кто там?» — спросил Виктор, ему не ответили, слышно было только, как толкаются и сопят. Виктору стало жутко. Озаренные красноватым полусветом стены казались чужими и непривычными, в углах сгустилось слишком много тени, а за дверью возилось что-то большое, тупое и бессмысленное. «Чем бы его?» — подумал Виктор, озираясь, но тут за дверью сказали сиплым шепотом: «Банев, эй, Банев, ты здесь?» Отпустив вполголоса «идиота», Виктор вышел в прихожую и повернул ключ. В номер ввалился Р. Квадрига. Он был в халате, волосы у него были всклокочены, глаза бежали.

— Слава богу, что хоть ты на месте, — сразу же заговорил он. — А то я совсем со страху спятил... Слушай, Банев, надо удирать... Пойдем, а? Пойдем отсюда, Банев. — Он схватил Виктора за рубашку и потянул в коридор. — Пойдем, невозможно больше...

— Обалдел, — сказал Виктор, вырываясь. — Иди спать, рамолик. Три часа.

Но Квадрига снова ловко ухватил его за рубашку, и Виктор с изумлением обнаружил, что доктор гонорис кауза совершенно трезв, от него даже не пахло.

— Нельзя спать, — сказал Квадрига. — Из этого проклятого дома надо удирать. Видишь, что со светом? Мы здесь погибнем... И вообще из города надо удирать. У меня на вилле машина. Пошли. Я бы один уехал, да боюсь выйти.

— Погоди, не хватайся,— сказал Виктор. — Успокойся сначала.

Он втащил Квадригу в номер, усадил в кресло, а сам пошел в ванную за стаканом воды. Квадрига сейчас же вскочил и побежал за ним.

— Мы здесь с тобой одни, никого не осталось,— сказал он. — Голема нет, швейцара нет, директора нет...

Виктор открутил кран. В трубах заворчал, вылилось несколько капель.

— Тебе что,— сказал Квадрига,— воды надо? Пойдем, у меня есть целая бутылка. Только быстро. И вместе.

Виктор потряс кран. Вылилось еще несколько капель, и ворчание прекратилось.

— В чем дело? — спросил Виктор, холодея. — Война?

Квадрига махнул рукой:

— Да какая война... Удирать надо пока не поздно, а он — война...

— Почему — удирать?

— По дороге,— сказал Квадрига, идиотски хихикнув.

Виктор отодвинул его локтем, вышел из номера и направился вниз, к портье. Квадрига семенил следом.

— Слушай,— бормотал он. — Давай через черный ход... Только бы выйти, а там у меня машина. Уже заправлена, погружена... Я как чувствовал, ей-богу... Водочки выпьем и поедем, а то здесь водки не осталось...

В коридоре тускло, как красные карлики, светились плафоны, на лестнице света не было вообще, в вестибюле — тоже, только над конторкой портье тлела лампочка. Там кто-то сидел, но это был не портье.

— Пойдем, пойдем,— сказал шепотом Квадрига и потянул Виктора к выходу. — Туда не надо, там нехорошо...

Виктор высвободился и подошел к конторке.

— Что у вас тут за безобразие... — начал он и замолчал.

За конторкой портье сидел Зурзматор и быстро писал в толстой тетради.

— Банев,— сказал он, не поднимая головы. — Вот и все, Банев. Прощайте. И не забывайте наш разговор.

— А я не собираюсь уезжать,— возразил Виктор. Голос у него сорвался. — Я намерен узнать, что делается с электричеством и водой. Это ваша работа?

Зурзматор поднял желтое лицо.

— Нет,— сказал он. — Мы больше не работаем. Прощайте, Банев. — Он протянул через конторку руку в перчатке. Виктор машинально взял эту руку, ощутил пожатие и пожал сам. — Такова жизнь,— сказал Зурзматор. — Будущее создается тобой, но не для тебя. Вы, наверное, это уже поняли. Или скоро поймете. Вас это касается больше, чем нас. Прощайте.

Он кивнул и снова принялся писать.

— Пойдем! — прошипел над ухом Квадрига.

— Ничего не понимаю, — громко, на весь вестибюль произнес Виктор. — Что здесь происходит?

Он не желал, чтобы в вестибюле было тихо. Он не желал ощущать себя здесь посторонним. Не он здесь посторонний, и нечего Зурзмансору сидеть в три часа ночи за конторкой портье. И нечего меня запугивать, я вам не Квадрига... Но Зурзмансор не услышал или не захотел услышать. Тогда Виктор демонстративно пожал плечами, повернулся и направился в ресторан. В дверях он остановился.

В зале тускло светились торшеры, тускло светилась люстра, тускло светились рожки на стенах, и зал был полон. За столиками сидели мокрецы. Они все были одинаковы, только сидели в разных позах. Одни читали, другие спали, а многие, словно окоченев, неподвижно смотрели в пространство. Светлели голые черепа, пахло сыростью и медикаментами. Окна были распахнуты, на полу темнела вода. Не было слышно ни звука, только плеск дождя доносился снаружи...

Потом перед Виктором появился Голем, напряженный, озабоченный, совсем старый.

— Почему вы еще здесь? — спросил он вполголоса. — Уходите, здесь нельзя.

— Что значит — нельзя? — сказал Виктор, снова раздражаясь. — Я хочу выпить.

— Тише, — сказал Голем. — Я думал, вы уже уехали. Я стучал к вам. Куда вы сейчас?

— К себе в номер. Возьму бутылку и пойду к себе в номер.

— Здесь нет спиртного, — сказал Голем.

Виктор молча показал пальцем на бар, где тускло блестели ряды бутылок. Голем оглянулся.

— Нет, — сказал он. — Увы.

— Я хочу выпить! — повторил Виктор упрямым голосом.

Но он не ощущал в себе упрямства. Он хорохорился. Мокрецы смотрели на него. Читавшие опустили книги, окоченевшие повернули черепа, и только спавшие продолжали спать. Десятки блестящих глаз, словно бы повисших в красноватом сумраке, смотрели на него.

— Не ходите в номер, — сказал Голем. — Уходите из гостиницы. К Лоле... Или к доктору на виллу... Только, чтобы я знал, где вы находитесь. Я за вами заеду. Слушайте, Виктор, не ерепеньтесь, делайте, как я говорю. Рассказывать сейчас некогда и непристойно. Жалко, Дианы нет, она бы подтвердила...

— А где Диана?

Голем опять оглянулся, посмотрел на часы:

— В четыре часа... или в пять... она будет на автостанции у Солнечных ворот.

— А где она сейчас?

— Сейчас она занята.

— Так,— сказал Виктор и тоже посмотрел на часы. — В четыре или в пять у Солнечных ворот. — Ему очень хотелось уйти. Невыносимо было стоять вот так, в фокусе внимания этого тихого собрания.

— Может быть, в шесть,— сказал Голем.

— У Солнечных ворот... — повторил Виктор. — Это там, где вилла нашего доктора.

— Вот-вот,— сказал Голем. — Отправляйтесь на виллу и там ждите.

— По-моему, вы просто хотите меня выпроводить,— сказал Виктор.

— Да,— сказал Голем. Он вдруг с интересом уставился Виктору в лицо. — Виттуар, неужели вам совсем-совсем не хочется отсюда убираться?

— Мне хочется спать,— небрежно сказал Виктор. — Я две ночи не спал. — Он взял Голема за пуговицу и вывел в вестибюль. — Ладно, я уйду,— сказал он. — Но что это за пандемониум? У вас здесь съезд?

— Да,— сказал Голем.

— Или вы подняли восстание?

— Да,— сказал Голем.

— А может быть, война началась?

— Да,— сказал Голем. — Да, да, да. Убирайтесь отсюда.

— Ладно,— сказал Виктор. Он повернулся, чтобы идти, но остановился. — А Диана? — спросил он.

— Ей ничего не грозит. Во всяком случае, до шести. Может быть, до семи.

— Вы мне отвечаете за Диану,— сказал Виктор тихо.

Голем вынул носовой платок и вытер шею.

— Я отвечаю за все,— сказал он.

— Да? Я бы предпочел, чтобы вы отвечали только за Диану.

— Вы мне надоели,— сказал Голем. — Ох, как вы мне надоели, прекрасный утенок. Диана с детьми. Диане абсолютно ничто не грозит. И уходите. Мне надо работать.

Виктор повернулся и пошел к лестнице. Зурзмансора за конторкой не было, только тлела лампочка над толстой клеенчатой тетрадкой.

— Банев,— позвал Р. Квадрига из какого-то темного угла,— куда ты? Пойдем!

— Не могу же я тащиться под дождем в шлепанцах! — сердито отозвался Виктор, не оборачиваясь. «Выперли,— думал он. — Из гостиницы они нас выперли. А может быть, из ратуши они нас тоже выперли. И может быть, из города... А дальше что?» У себя в номере он быстро переоделся и натянул плащ. Квадрига неотступно путался под ногами.

— Так и пойдешь в халате? — спросил Виктор.

— Он теплый,— сказал Квадрига. — А дома еще один есть.

— Болван, иди оденься.

— Не пойду,— твердо сказал Квадрига.

— Пойдем вместе,— предложил Виктор.

— Нет. И вместе не надо. Да ты не бойся, я так... Я привык.

Квадрига был как пудель, рвущийся гулять. Он подпрыгивал, заглядывал в глаза, громко дышал, тянул за одежду, подбегал к двери и возвращался. Убеждать его было бесполезно. Виктор сунул ему свой старый плащ и задумался. Он вынул из стола документы и деньги, рассовал их по карманам, закрыл окно и погасил свет. Затем он отдался на волю Квадриги.

Доктор гонорис кауза, нагнув голову, стремительно протащил его через коридор, по служебной лестнице, мимо темной холодной кухни, впихнул его в дверь под проливной дождь в крошечную темноту и выскочил следом.

— Слава богу, выбрались! — сказал он. — Бежим!

Но бегать он не умел. Его одолевала одышка, да и темно было так, что идти приходилось почти на ощупь, держась за стены. Разве только общее направление можно было угадать по уличным фонарям, горевшим вполнакала, да кое-где просачивался сквозь щели в занавесках красноватый свет. Дождь лупил без передышки, но улицы не были совершенно безлюдны. Где-то переговаривались вполголоса, мяукал грудной младенец, пару раз проехали тяжелые грузовики, какая-то телега прогремела железными ободьями по асфальту.

— Все бегут,— бормотал Квадрига. — Все удирают. Одни мы тащимся...

Виктор молчал. Под ногами хлюпало, туфли промокли, по лицу ползла тепловатая вода, Квадрига цеплялся, как клещ, все это было глупо, бездарно, тащиться предстояло через весь город, и конца этому не было видно. Он налетел на водосточную трубу, что-то хрустнуло, Квадрига оторвался и сейчас же плачуще заорал на весь город:

— Банев! Где ты?

Пока они шарили в мокрой темноте, ища друг друга, над головами хлопнуло окошко, и придушенный голос осведомился:

— Ну, что слышно?

— Темно, так и не так... — ответил Виктор.

— Точно! — с энтузиазмом подхватил голос. — И воды нет... Хорошо, мы корыто успели набрать.

— А что будет? — спросил Виктор, придерживая Квадригу, рвущегося вперед.

После некоторого молчания голос произнес:

— Эвакуацию объявят, не иначе... Эх, жизнь!

И окошко захлопнулось. Потянулись дальше. Квадрига, держась за Виктора обеими руками, принялся сбивчиво рассказывать, как он проснулся от ужаса, спустился вниз и увидел там этот шабаш... Налетели

впотьмах на грузовик, ощупью обогнули его и налетели на человека, с каким-то грузом. Квадрига опять заорал.

— В чем дело? — свирепо спросил Виктор.

— Дерется, — обиженно сообщил Квадрига. — Прямо по печени. Ящиком.

На тротуарах оказывались наперекосяк поставленные автомобили, холодильники, буфеты, целые заросли растений в горшках. Квадригу занесло в раскрытый зеркальный шкаф, потом он запутался в велосипеде. Виктор медленно стервенел. На каком-то углу их остановили, осветив фонариком. Блеснули мокрые солдатские каски, грубый голос с южным выговором объявил: «Военный патруль. Предъявите документы». У Квадриги документов, естественно, не было, и он немедленно стал кричать, что он доктор, что он лауреат, что он лично знаком... Грубый голос презрительно сказал: «Шпаки. Пропустить». Пересекли городскую площадь. Перед полицейским управлением сгрудились автомобили с зажженными фарами. Бессмысленно металась золоторубашечники, сверкая медью своих пожарных шлемов, раздавались зычные неразборчивые команды. Видно было, что центр паники здесь. Отсветы фар еще некоторое время озаряли дорогу, затем снова стало темно.

Квадрига больше не бормотал, а только пыхтел и постанывал. Несколько раз он падал, увлекая за собой Виктора. Они извозились, как свиньи. Виктор совершенно отупел и больше не ругался, пелена покорной апатии обволокла мозг, надо идти, идти, сегодня идти и завтра идти, отпихивать невидимых встречных, снова и снова поднимать Квадригу за ворот разбухшего халата, нельзя было только останавливаться и ни в коем случае нельзя было идти назад. Что-то вспомнилось ему, что-то давно бывшее, позорное, горькое, неправдоподобное, только тогда было зарево и людская каша на улицах, и вдали грохотало и бухало, позади был ужас, а вокруг были опустевшие дома с окнами, заклеенными крест-накрест, и в лицо летел пепел, и вонь горелой бумаги, а на крыльцо красивого особняка с огромным национальным флагом вышел высокий полковник в роскошной лейб-гусарской форме, снял фуражку и застрелился, а мы, ободранные, окровавленные, преданные и проданные, тоже в гусарской форме, но уже не гусары, а почти дезертиры, засвистели, заржали, заулюлюкали, а кто-то запустил в труп полковника обломком своей сабли...

— А ну, стой! — шепотом сказали из темноты и уперлись в грудь чем-то очень знакомым. Виктор машинально поднял руки.

— Как вы смеете! — взвизгнул Р. Квадрига у него за спиной.

— А ну, тихо, — сказал голос.

— Караул! — заорал Квадрига.

— Тише, дурак, — сказал ему Виктор. — Сдаюсь, сдаюсь, — сказал он в темноту, откуда упирались в грудь стволом автомата и тяжело дышали.

— Стрелять буду! — испуганно предупредил голос.

— Не надо,— сказал Виктор. — Мы же сдаемся. — В горле у него пересохло.

— А ну, раздевайся! — скомандовал голос.

— То есть как?

— Ботинки снимай, плащ снимай, штаны...

— Зачем?

— Быстро, быстро! — прошипел голос.

Виктор присмотрелся, опустил руки, шагнул в сторону и, ухватившись за автомат, задрал ствол вверх. Грабитель пискнул, рванулся, но почему-то не выстрелил. Оба нутжно кряхтели, выворачивая друг у друга оружие. «Банев! Где ты?» — в отчаянии вопил Квадрига. На ощупь и по запаху человек с автоматом был солдат. Некоторое время он еще рыпался, но Виктор был гораздо сильнее.

— Все,— сказал Виктор сквозь зубы. — Все... Не дергайся, а то по морде получишь.

— А вы пустите! — прошипел солдат, слабо сопротивляясь.

— Тебе зачем мои штаны? Ты кто такой?

Солдат только пыхтел. «Виктор! — вопил Квадрига уже где-то вдалеке. — А-а-а!» Из-за угла вывернула машина, осветила на секунду фарами знакомое веснушчатое лицо, круглые от страха глаза под каской и умчалась.

— Э, а ведь я тебя знаю,— сказал Виктор. — Ты что же это людей грабишь? Отдай автомат.

Солдат, цепляясь каской, покорно вылез из ремня.

— Так зачем тебе мои штаны? — спросил Виктор. — Дезертируешь?

Солдат сопел. Симпатичный такой солдатик, веснушчатый.

— Ну, чего молчишь?

Солдатик заплакал — тоненько, с подвыванием.

— Все равно мне теперь... — забормотал он. — Все равно расстрел. С поста я ушел. Убежал я с поста, пост бросил, куда мне теперь деваться... Отпустили бы меня, сударь, а? Я же не со зла, не злодей, ведь я какой-нибудь, не выдавайте, а?

Он хлюпал и сморкался и в темноте, вероятно, утирал сопли рукавом шинели — жалкий, как все дезертиры, напуганный, как все дезертиры, готовый на все.

— Ладно,— сказал Виктор. — Пойдешь с нами. Не выдадим. Одежда найдется. Пошли, только не отставай.

Он пошел вперед, а солдатик потащился за ним, все еще всхлипывая.

По собачьему вою нашли Квадригу. Теперь у Виктора на шее висел автомат, за левую его руку судорожно цеплялся всхлипывающий солдатик, за правую — тихо завывающий Квадрига. Бред какой-

то. Можно, конечно, вернуть разряженный автомат этому мальчишке и дать сопляку пинка. Нет, жалко. Сопляка жалко, и автомат, возможно, еще пригодится. Мы тут посоветовались с народом, и есть мнение, что разоружаться преждевременно. Автомат еще может понадобиться в грядущих боях...

— Перестаньте ныть, вы оба,— сказал Виктор. — Патрули сбегутся.

Они притихли, а через пять минут, когда впереди забрезжили тусклые огни автостанции, Квадрига потянул Виктора вправо, радостно бормоча: «Пришли, слава тебе, господи...»

Ключ от калитки Квадрига, конечно, забыл в гостинице, в брюках. Чертыхаясь, перелезли через ограду; чертыхаясь, путались некоторое время в мокрой сирени; чуть не упали в фонтан; добрались наконец до подъезда, вышибли дверь и ввалились в холл. Щелкнул выключатель, и холл озарился багровым полусветом. Виктор повалился в ближайшее кресло. Пока Квадрига бегал по дому в поисках полотенец и сухой одежды, солдатик живо разделся до белья, смотал обмундирование в узел и засунул его под диван. После этого он несколько успокоился и перестал всхлипывать. Потом вернулся Квадрига, и они долго и ожесточенно растирались полотенцами и переодевались.

В холле царил хаос. Все было перевернуто, разбросано, заслякочено. Книги валялись вперемежку с пыльным тряпьем и свернутыми холстами. Под ногами хрустело стекло, валялись сморщенные тюбики из-под красок, телевизор смотрел пустым прямоугольником экрана, а стол был заставлен грязной посудой с тухлыми объедками. В общем, только что не было навалено в углах, а может быть, и было навалено — в темноте не разберешь. Запах в доме стоял такой, что Виктор не вытерпел и распахнул окно.

Квадрига принялся хозяйничать. Сначала он взялся за край стола, наклонил его и с дребезгом ссыпал все на пол. Затем вытер стол мокрым халатом, сбежал куда-то, принес три хрустальных бокала антикварной красоты и две квадратные бутылки. Подсигивая от нетерпения, он вытащил пробки и наполнил бокалы.

— Будем здоровы... — неразборчиво пробормотал он, схватив свои бокал, и жадно приник к нему, заранее закатывая глаза от наслаждения.

Виктор, снисходительно усмехаясь, смотрел на него, разминая волглую сигарету. На лице Квадриги изобразилось вдруг неопишемое изумление пополам с обидой.

— И здесь тоже... — проговорил он с отвращением.

— Что такое? — спросил Виктор.

— Вода, — робко подал голос солдатик. — Как есть вода. Холодная.

Виктор отхлебнул из своего бокала. Да, это была вода, чистая, холодная, возможно, даже дистиллированная.

— Ты чем поишь, Квадрига? — спросил он.

Квадрига, не говоря ни слова, схватил вторую бутылку и сделал глоток. Лицо его исказилось. Он сплюнул, сказал: «Боже мой!», пригнулся и на цыпочках вышел из комнаты. Солдатик опять всхлипнул. Виктор посмотрел на бутылочные этикетки: ром, виски. Он снова отхлебнул из бокала: вода. Запахло обыкновенной чертовщиной, сами собой скрипнули где-то половицы, кожа на спине съезжилась под пристальным взглядом чьих-то глаз. Солдатик ушел головой в воротник огромного квадригиного свитера и засунул руки глубоко в рукава. Глаза у него были круглые, он не отрываясь смотрел на Виктора. Виктор спросил хрипло:

— Ну, чего уставился?

— А вы чего? — шепотом спросил солдатик.

— Я-то ничего, а ты вот что таращишься?

— Так, а чего вы... Страшно как-то... Не надо так...

Спокойствие, сказал себе Виктор. Ничего страшного. Это же суперы. Суперы еще и не то могут. Они, брат, все могут. Воду в вино, а вино в воду. Сидят себе в ресторане и превращают. Основу подрывают, краеугольный камень... Трезвенники, мать их...

— Струсил? — сказал он солдатiku. — Зас...ц ты.

— Так страшно! — сказал солдатик, оживившись. — Вам-то что, а я там натерпелся... Стоишь на посту ночью, а он вылетит из зоны, глянет на тебя сверху и дальше... Капрал у нас один даже запачкался... Капитан все говорил: привыкнете, мол, служба, мол, присяга, мол... Ни фига невозможно привыкнуть. Давеча вон один прилетел, сел на крышу караулки и смотрит, и смотрит... а глаза-то ведь не человечесь, красные, светятся, и серой от него ну прямо так и несет... — Солдатик вынул руки из рукавов и перекрестился.

Из недр виллы вновь появился Квадрига, все так же пригнувшись и на цыпочках.

— Одна вода, — сказал он. — Виктор, давай удирать. Машина стоит в гараже, заправленная, сядем и — эх! А?

— Не паникуй, — сказал Виктор. — Удрать всегда успеем... А впрочем, как хочешь. Я сейчас не поеду, а ты валяй. И парнишку прихватишь.

— Нет, — сказал Квадрига. — Без тебя я не поеду.

— А тогда перестань трястись и принеси чего-нибудь пожрать, — приказал Виктор. — Хлеб у тебя в камень еще не превратился?

Хлеб в камень не превратился. Консервы тоже остались консервами, и неплохими консервами. Они ели, и солдатик рассказывал, какого страха он натерпелся за последние два дня, про летающих мокрецов, про нашествие дождевых червей, про ребятишек, которые за два дня стали взрослыми, про друга своего, рядового Крупмана, парнишечку двадцати лет, который со страху сделал себе самострел... и еще как обед в караулку принесли, поставили разогревать, два часа обед на плите стоял, так и не разогрелся, холодным скушали... А нынче засту-

пил на пост, в восемь часов вечера, дождь крошечный с градом, над зоной — неположенные огни, музыка раздается нечеловеческая, и какой-то голос все говорит и говорит, говорит и говорит, а что говорит — не понять ни слова. А потом из степи крутящиеся вышли столбы и — в зону. И только они в зону зашли, как отворяются ворота и вылетает из зоны господин капитан на своей машине. Я и на караул взять не успел, вижу только, что господин капитан — на заднем сидении без фуражки, без плаща — лупит шофера в шею и орет: «Давай, сукин сын! — орет. — Давай!» Оторвалось у меня что-то внутри, и словно мне кто-то сказал: беги, говорит, рви когти, а то костей не соберешь. Ну, я и рванул. Да не по дороге, а напрямик, через степь, через овраги, чуть в болоте не завяз, накидку где-то там оставил, новую, вчера выдали, но к городу вышел, а в городе — патрули. Раз я от них еле ушел, второй раз от них еле ушел, добрался досюда вот, до автостанции, смотрю — народ бежит, гражданских так пускают, а нашего брата — шиш, пропуск требуют. Ну, я и решил...

Рассказав свою историю, солдатик свернулся в кресле и тут же заснул. Мучительно трезвый Квадрига снова принялся твердить, что надо удирать — и немедленно. «Вот же человек, — твердил он, тыча вилкой в сторону заснувшего воина. — Понимает же человек... А ты — дубина, Банев, непроницаемая дубина. Как ты не чувствуешь, я просто физически ощущаю, как на меня с севера давит... Ты поверь мне... я знаю, ты мне не веришь, но сейчас поверь, я ведь давно вам говорю: нельзя здесь оставаться... Голем тебе голову заморочил, пьяница носатая... ты пойми, сейчас дорога свободна, все ждут рассвета, а потом все мосты забьют, как в сороковом... Дубина ты упрямая, Банев, и всегда был такой, и в гимназии ты такой был...» Виктор велел ему спать или убираться к черту. Квадрига надул, доел консервы и забрался на диван, закутавшись в мохеровое одеяло. Некоторое время он ворочался, крихтел, бормотал апокалипсические предупреждения, потом затих. Было четыре часа.

В четыре десять свет мигнул и погас совсем. Виктор вытянулся в кресле, укрылся каким-то сухим тряпьем и лежал тихо, глядя в темное окно и прислушиваясь. Постанывал солдатик во сне, всхрапывал намаевшийся доктор гонорис кауза. Где-то — наверное, на автостанции — взрывывали двигатели, неразборчиво кричали голоса. Виктор попытался разобраться в происходящем и пришел к выводу, что мокрецы рассорились-таки с генералом Пфердом, выперли его из лепрозория, легкомысленно перенесли свою резиденцию в город и воображают, что раз умеют превращать вино в воду и наводить на людей ужас, то смогут продержаться и против современной армии... да что там — против современной полиции. «Идиоты. Разрушат город, сами погибнут, людей оставят без крова. И дети... Детей же загубят, сволочи! А зачем? Что им надо? Неужели опять драка за власть? Эх, вы, а еще

суперы. Тоже мне — умные, талантливые... та же дрянь, что и мы. Еще один новый порядок, а чем порядок новее, тем хуже — это уж известно. Ирма... Диана... — Он встрепенулся, нащупал в темноте телефон, снял трубку. Телефон молчал. — Опять они что-то не поделили, а мы, которым не надо ни тех ни других, а надо, чтобы нас оставили в покое, мы опять должны срываться с места, топтать друг друга, бежать, спасаться или того хуже — выбирать свою сторону, ничего не понимая, ничего не зная, веря на слово, и даже не на слово, а черт знает на что... стрелять друг в друга, грызть друг друга...

Привычные мысли в привычном русле. Тысячу раз я уже так думал. Приучены-с. Сызмальства приучены-с. Либо ура-ура, либо пошли вы все к черту, никому не верю. Думать не умеете, господин Банев, вот что. А потому упрощаете. Какое бы сложное социальное движение ни встретилось вам на пути, вы прежде всего стремитесь его упростить. Либо верой, либо неверием. И если уж верите, то аж до обомления, до преданнейшего щенячьего визга. А если не верите, то со сладострастием харкаете растравленной желчью на все идеалы — и на ложные, и на истинные. Перри Мэйсон говаривал: улики сами по себе не страшны, страшна неправильная интерпретация. То же и с политикой. Жулье интерпретирует так, как ему выгодно, а мы, простаки, подхватываем готовую интерпретацию. Потому что не умеем, не можем и не хотим подумать сами. А когда простак Банев, никогда в жизни ничего, кроме политического жулья, не видевший, начинает интерпретировать сам, то опять же садится в лужу, потому что неграмотен, думать по-настоящему не обучен и потому, естественно, ни в какой иной терминологии, кроме как в жульнической, интерпретировать не способен. Новый мир, старый мир... и сразу же ассоциации: нойе орднунг, альте орднунг... Ну, ладно, но ведь простак Банев существует не первый день, кое-что повидал, кое-чему научился. Не полный же он маразматик. Есть ведь Диана, Зурзмансор, Голем. Почему я должен верить фашисту Павору, или этому сопливому деревенскому недорослю, или трезвому Квадриге? Почему обязательно кровь, гной, грязь? Мокрецы выступили против Пферда? Прекрасно! Гнать его в шею. Давно пора... И детей они не дадут в обиду, непохоже это на них... и не рвут они на себе жилеток, не зывают к национальному самосознанию, не развязывают дремучих инстинктов... То, что наиболее естественно, но наименее приличествует человеку, — правильно, Бол-Кунац, молодец... И вполне может быть, что это новый мир без нового порядка. Страшно? Неуютно? Но так и должно быть. Будущее создается тобой, но не для тебя. Ишь как я взвился, когда меня покрыло пятнами будущего! Как запросился назад, к миногам и водке... Вспоминать противно, а ведь так и должно было быть. Да, ненавижу старый мир. Глупость его ненавижу, равнодушие, невежество, фашизм... А что я без всего этого? Это хлеб мой и вода моя. Очистите вокруг меня мир, сделайте его таким, каким я хочу его

видеть, и мне конец. Восхвалять я не умею, ненавижу восхваления, а ругать будет нечего, ненавидеть будет нечего — тоска, смерть... Новый мир — строгий, справедливый, умный, стерильно чистый — я ему не нужен, я в нем — нуль. Я был ему нужен, когда боролся за него... а раз я ему не нужен, то и он мне не нужен, но если он мне не нужен, то зачем я за него дерусь?.. Эх, старые добрые времена, когда можно было отдать свою жизнь за построение нового мира, а умереть в старом. Акселерация, везде акселерация... Но нельзя же бороться против, не борясь за! Ну что же, значит, когда ты рубишь лес, больше всего достается тому самому суку, на котором ты сидишь..»

...Где-то в огромном пустом мире плакала девочка, жалобно повторяла: не хочу, не хочу, несправедливо, жестоко, мало ли что будет лучше, тогда пускай не будет лучше, пускай они останутся, пускай они будут, неужели нельзя сделать так, чтобы они остались с нами, как глупо, как бессмысленно... «Это же Ирма», — подумал Виктор. «Ирма!» — крикнул он и проснулся.

Храпел Квадрига. Дождь за окном прекратился, и стало как будто светлее. Виктор поднес к глазам часы. Светящиеся стрелки показывали без четверти пять. Тянуло промозглым холодом, надо было встать и закрыть окно, но он угрелся, шевелиться не хотелось, и веки сами собой напоззали на глаза. Не то во сне, не то наяву где-то рядом проходили машины, одна за другой проходили машины, тащились по грязной разбитой дороге машины, через бесконечное грязное поле, под серым грязным небом, мимо покосившихся телеграфных столбов с оборванными проводами, мимо раздавленной пушки с задранным стволом, мимо обгорелой печной трубы, на которой сидели сытые вороны, и промозглая сырость проникала под брезент, под шинель, и страшно хотелось спать, но спать было нельзя, потому что должна была проехать Диана, а калитка заперта, в окнах темно, она подумала, что меня здесь нет, и поехала дальше, а он выскочил из окна, и изо всех сил погнался за машиной, и кричал так, что лопались жилы, но тут как раз рядом шли танки, грохотали и гремели, он не слышал самого себя, и Диана укатила туда, к переправе, где все горело, где ее убьют, и он останется один, и тут возник свирепый пронзительный визг бомбы, прямо в темя, прямо в мозг... Виктор бросился в кювет и вывалился из кресла.

Визжал Р. Квадрига. Он раскорячился перед раскрытым окном, глядел в небо и визжал, как баба, было светло, но это не был дневной свет: на захламленном полу лежали ровные ясные прямоугольники. Виктор подбежал к окну и взглянул. Это была луна — ледяная, маленькая, ослепительно яркая. В ней было что-то невыносимо страшное, Виктор не сразу понял — что. Небо было по-прежнему затянуто тучами, но в этих тучах кто-то вырезал ровный аккуратный квадрат, и в центре квадрата была луна.

Квадрига уже не визжал. Он зашелся от визга и издавал только слабые скрипучие звуки. Виктор с трудом перевел дыхание и вдруг почувствовал злость. «Да что это им здесь — цирк, что ли? За кого они меня принимают?..» Квадрига все скрипел.

— Перестань! — рявкнул Виктор с ненавистью. — Квадратов не видел? Живописец дерьмовый! Холуй!

Он схватил Квадригу за мохеровое одеяло и тряхнул изо всех сил. Квадрига повалился на пол и замер.

— Хорошо, — сказал он вдруг неожиданно ясным и отчетливым голосом. — С меня хватит.

Он поднялся на четвереньки и прямо с четверенек, как спринтер, кинулся вон. Виктор снова посмотрел в окно. В глубине души он надеялся, что ему привиделось, но все оставалось по-прежнему, и он даже разглядел в правом нижнем углу квадрата крошечную звездочку, почти утонувшую в лунном блеске. Прекрасно были видны мокрые кусты сирени и бездействующий фонтан с аллегорической рыбой из мрамора, и узорчатые ворота, а за воротами — черная лента шоссе. Виктор сел на подоконник и, следя за тем, чтобы не дрожали пальцы, закурил. Мельком он заметил, что солдатики в холле нет — то ли удрал солдатик, то ли спрятался под диван и помер со страха. Автомат, во всяком случае, лежал на прежнем месте, и Виктор истерически хихикнул, сопоставив эту несчастную железяку с силами, которые проделали квадратный колодец в тучах. «Ну и фокусники. Не-ет, если новый мир и погибнет, то старому тоже достанется на орехи... А все-таки хорошо, что под рукой автомат. Глупо, но с ним как-то спокойнее. А подумавши — и неглупо вовсе. Ведь ясно же — ожидается великий драп, это же в воздухе висит, а когда идет великий драп, всегда лучше держаться в сторонке и иметь при себе оружие».

Во дворе взревел мотор, из-за угла вынесся огромный, бесконечно длинный «иммузин Квадриги (личный подарок господина Президента за бескорыстную службу преданной кистью), не разбирая дороги, устремился к воротам, вышиб их с треском, вылетел на шоссе, повернул и скрылся из виду.

— Удрал-таки, скотина, — пробормотал Виктор не без зависти. Он слез с подоконника, повесил на плечо автомат, сверху накиннул плащ и окликинул солдатика. Солдатик не отзывался. Виктор заглянул под диван, но там был только серый узел с обмундированием. Виктор закурил еще одну сигарету и вышел во двор. В кустах сирени рядом с выбитыми воротами он нашел скамейку странной формы, но очень удобную, а главное — с хорошим видом на шоссе, уселся, положив ногу на ногу, и поплотнее закутался в плащ. Сначала на шоссе было пусто, но потом прошла машина, другая, третья, и он понял, что драп начался.

Город прорвало, как нарыв. Впереди драпали избранные, драпала

магистратура и полиция, драпала промышленность и торговля, драпали суд и акциз, финансы и народное просвещение, почта и телеграф, драпали золотые рубашки — все, все, в облаках бензиновой вони, в трескотне выхлопов, встрепанные, агрессивные, злобные и тупые, лихоимцы, стяжатели, слуги народа, в вое автомобильных сирен, в истерическом стоне сигналов — рев стоял на шоссе, а гигантский фурункул все выдавливался и выдавливался, и когда схлынул гной, потекла кровь: собственно народ — на битком набитых грузовиках, в перекошенных автобусах, в навьюченных малолитражках, на мотоциклах, на велосипедах, на повозках, пешком, сгибаясь под тяжестью узлов, толкая ручные тележки, пешком с пустыми руками, угрюмые, молчаливые, потерянные, оставляя позади свои дома, своих клопов, свое нехитрое счастье, налаженную жизнь, свое прошлое и свое будущее. За народом отступала армия. Медленно прополз вездеход с офицерами, бронетранспортер, проехали два грузовика с солдатами и наши лучшие в мире походные кухни, а последним двигался полугусеничный броневик с пулеметами, развернутыми назад.

Светало, побледнела луна, страшный квадрат расплылся, тучи таяли, наступало утро. Виктор подождал минут пятнадцать, никого больше не дождался и вышел за ворота. На асфальте валялись грязные тряпки, чей-то раздавленный чемодан — хороший чемодан, по всему видно — начальство обронило, колесо от телеги, а немного поодаль, на обочине, — сама телега со старым продраным диваном и фикусом. На середине шоссе, прямо напротив ворот — одинокая галоша. Вокруг было пусто. Виктор посмотрел в сторону автостанции. Там тоже больше не было ни одной машины, ни одного человека. В садах засвистели птицы, поднималось солнце, которого Виктор не видел уже полмесяца, а город — несколько лет. Но теперь на него здесь некому было смотреть. Снова раздалось жужжание мотора, и из-за поворота вынырнул автобус. Виктор сошел на обочину. Это были «братья по разуму». Они проплыли мимо, одинаково повернув к нему равнодушные бессмысленные лица. «Вот и все, — подумал Виктор. — Выпить бы. Где же Диана?»

Он медленно пошел обратно в город.

Солнце было справа, оно то пряталось за крышами особняков, то выглядывало в промежутки, то брызгало теплым светом сквозь ветви полусгнивших деревьев. Тучи исчезли, и небо было удивительно чистое. От земли поднимался легкий туман. Было совершенно тихо, и Виктор обратил внимание на странные, едва слышные звуки, доносившиеся словно бы из-под земли, — слабое какое-то потрескивание, шорохи, шелест. Но потом он привык и забыл о них. Удивительное чувство покоя и безопасности охватило его. Он шел, как пьяный, и почти все время смотрел в небо. На проспекте Президента возле него остановился джип.

— Садитесь, — сказал Голем.

Голем был серый от усталости и какой-то придавленный, а рядом

с ним сидела Диана, тоже усталая, но все равно красивая, самая красивая из всех усталых женщин.

— Солнце,— сказал Виктор, улыбаясь ей. — Поглядите, какое солнце.

— Он не поедет,— сказала Диана. — Я вас предупреждала, Голем.

— Почему не поеду? — удивился Виктор. — Поеду. Только зачем торопиться? — Он не удержался и снова посмотрел на небо. Потом посмотрел назад на пустую улицу, посмотрел вперед на пустую улицу. Все было залито солнцем. Где-то в поле тащились беженцы, громыхла отступающая армия, драпало начальство, там были пробки, там висела ругань, орались бессмысленные команды и угрозы, а с севера на город надвигались победители, и здесь была пустая полоса покоя и безопасности, несколько километров пустоты, и в пустоте машина и три человека...

— Голем, это идет новый мир?

— Да,— сказал Голем. — Он вглядывался в Виктора из-под опухших век.

— А где же ваши мокрецы? Идут пешком?

— Мокрецов нет,— сказал Голем.

— Как так — нет? — спросил Виктор. Он поглядел на Диану. Диана молча отвернулась.

— Мокрецов нет,— повторил Голем. Голос у него был сдавленный, и Виктору вдруг почудилось, что он вот-вот заплачет. — Можете считать, что их не было. И не будет.

— Прекрасно,— сказал Виктор. — Пойдемте прогуляемся.

— Вы поедете или нет? — вяло спросил Голем.

— Я бы поехал,— сказал Виктор, улыбаясь,— но мне надо зайти в гостиницу, забрать рукописи... и вообще посмотреть... Вы знаете, Голем, мне здесь нравится.

— Я тоже остаюсь,— сказала вдруг Диана и вылезла из машины. — Что мне там делать?

— А что вам здесь делать? — спросил Голем.

— Не знаю,— сказала Диана. — У меня же теперь никого нет, кроме этого человека.

— Ну, хорошо,— сказал Голем. — Он не понимает. Но вы же понимаете...

— Но должен же он посмотреть,— возразила Диана. — Не может же он уехать, не посмотрев...

— Вот именно,— подхватил Виктор. — На кой черт я нужен, если я не посмотрю? Это же моя специальность — смотреть.

— Слушайте, дети,— сказал Голем. — Вы соображаете, на что идете? Виктор, вам же говорили: оставайтесь на своей стороне, если хотите, чтобы от вас была польза. На своей!

— Я всю жизнь на своей стороне,— сказал Виктор.

— Здесь это будет невозможно.

— Посмотрим,— сказал Виктор.

— Господи,— сказал Голем. — Как будто мне не хочется остаться! Но нужно же немножко думать головой! Нужно же разбираться, черт побери, что хочется и что должно... — Он словно убеждал самого себя. — Эх, вы... Ну и оставайтесь. Желаю вам приятно провести время. — Он включил скорость. — Где тетрадь, Диана? А, вот она. Так я беру ее себе. Вам она не понадобится.

— Да,— сказала Диана. — Он так и хотел.

— Голем,— сказал Виктор,— а вы-то почему бежите? Вы же хотели этот мир.

— Я не бегу,— строго сказал Голем. — Я еду. Оттуда, где я больше не нужен, туда, где я еще нужен. Не в пример вам. Прощайте.

И он уехал. Диана и Виктор взялись за руки и пошли вверх по проспекту господина Президента в пустой город, навстречу наступающим победителям. Они не разговаривали, они полной грудью вдыхали непривычно истый свежий воздух, жмурились на солнце и ничего не боялись. Город смотрел на них пустыми окнами, он был удивлен, этот город, покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, весь в каких-то злокачественных пятнах, словно изъеденный экземой, словно он много лет гнил на дне моря, и вот наконец его вытащили на поверхность на посмешище солнцу, и солнце, насмеявшись вдоволь, принялось его разрушать.

Таяли и испарялись крыши, жесть и черепица дымились ржавым паром и исчезали на глазах. В стенах росли проталины, расползались, открывая обшарпанные обои, облупленные кровати, колченогую мебель и выцветшие фотографии. Мягко подламываясь, стаявали уличные фонари, растворялись в воздухе киоски и рекламные тумбы — все вокруг потрескивало, тихонько шипело, шелестело, делалось пористым, прозрачным, превращалось в сугробы грязи и пропадало. Вдали башня ратуши изменила очертания, сделалась зыбкой и слилась с синевой неба. Некоторое время в небе, отдельно от всего, висели старинные башенные часы, потом исчезли и они...

Пропали мои рукописи, весело подумал Виктор. Вокруг уже не было города — торчал кое-где чахлый кустарник, и остались больные деревья и пятна зеленой травы, только вдалеке за туманом еще угадывались какие-то здания, остатки зданий, призраки зданий, а недалеко от бывшей мостовой, на каменном крылечке, которое никуда не вело, сидел Тэдди, вытянув раненую ногу и положив рядом с собой костыли.

— Привет, Тэдди,— сказал Виктор. — Остался?

— Ага,— сказал Тэдди.

— Что так?

— Да ну их,— сказал Тэдди. — Набились, как сельди в бочку, ногу некуда вытянуть, я говорю снохе: ну зачем тебе, дура, сервант? А она меня кроет... Плюнул я на них и остался.

— Пойдешь с нами?

— Да нет, идите,— сказал Тэдди. — Я уж посижу. Ходок я теперь никудышный, а мое меня не минует...

Они пошли дальше. Становилось жарко, и Виктор сбросил на землю ненужный плащ, стряхнул с себя ржавые остатки автомата и засмеялся от облегчения. Диана поцеловала его и сказала: «Хорошо!» Он не возражал. Они шли и шли под синим небом, под горячим солнцем, по земле, которая уже зазеленела молодой травой, и пришли к тому месту, где была гостиница. Гостиница не исчезла вовсе — она стала огромным серым кубом из грубого шершавого бетона, и Виктор подумал, что это памятник, а может быть, пограничный знак между старым и новым миром. И едва он это подумал, как из-за глыбы бетона беззвучно выскользнул реактивный истребитель со щитком Легиона на фюзеляже, беззвучно промелькнул над головой, все еще бесшумно вошел в разворот где-то возле солнца и исчез, и только тогда налетел адский свистящий рев, ударил в уши, в лицо, в душу, но навстречу уже шел Бол-Кунац с выгоревшими усиками на загоревшем лице, а поодаль шла Ирма, тоже почти взрослая, босая, в простом легком платье с прутиком в руке. Она посмотрела вслед истребителю, подняла прутик, словно прицеливаясь, и сказала: «Кх-х!»

Диана рассмеялась. Виктор посмотрел на нее и увидел, что это еще одна Диана, совсем новая, какой она никогда прежде не была, он и не предполагал даже, что такая Диана возможна — Диана Счастливая. И тогда он погрозил себе пальцем и подумал: все это прекрасно, но вот что, не забыть бы мне вернуться.

Ленинград — Москва,
сентябрь 1966 —
сентябрь 1967.

Дмитрий Биленкин

УИК-ЭНД

Небо было не таким полосатым, как обычно, солнце светило тлеющим угольком — в такой день можно было выскользнуть за город, отдохнуть в пустынном местечке, даже искупаться при солнечном свете. Почему бы и нет?

Арно круто направил моторку в укромный заливчик, лихо, когда удар о камни казался уже неминуемым, сбросил газ. Лакми прижалась

к маме: под днищем плавно зашуршала мокрая галька, мотор издал последний чмокающий звук, и стало необыкновенно тихо.

ИМЕННО ТАК ПРИЧАЛИВАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ!

Ни один из этих журнальных заголовков не припомнился Арно, ни одна из соответствующих телекартинок не мелькнула в сознании, но все это жило в нем, было частью его души, и, высаживаясь, разгружая лодку, он невольно сверял происходящее с образцами: так или не так? Да, удовлетворенно отвечало перенасыщенное ими подсознание. Умелый муж, мощная лодка, стройная блондинка-жена, хорошо одетые, добронравные дети...

День был что надо, остров был что надо, и Арно чувствовал себя удачливым авантюристом. Первым делом был натянут противосолнечный тент (СЛУЖБА РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ...) и сброшены глухие одежды. Приятный ветерок приласкал истосковавшиеся по свежему воздуху тела.

— Пап, а можно...

— Можно. — С широкой улыбкой Арно сделал движение, как бы вручая детям этот остров, а с ним и весь мир. — Нужно! Мы будем играть, мы будем купаться, мы будем...

— Только недолго. И наденьте все-таки сомбреро, — косясь на небо, сказала Кора.

Слова жены испортили Арно настроение. Сомбреро! С тех пор как люди стали бояться солнца, этим головным убором, говорят, обзавелись даже эскимосы.

Тьфу! Он наловчился не думать о таких вещах, как угроза атомного испепеления, «бунт Голема» или экологическая катастрофа. Будто человеку мало знания, что он смертен! «Все вы свихнутые, — бывало, бормотал дед. — Все вы с колыбели отравленные! Психически облученные! Да, да, и не спорьте: только такие старики, как мы, это и видим: у нас, понимаешь, было нормальное детство...»

Остров оказался невелик, но прелестен. Они обошли его в полчаса, восхитились родником, который спрятался среди деревьев и скал. Такой замечательной воды они не пили давно. Детей больше всего поразило, что вода эта течет просто так и — совершенно бесплатно. Арно радовался их восторгу, но про себя вдруг подумал, что в их возрасте ему в голову не пришла бы та мысль, которая пришла им. А, плевать!

— Р-р...

Это была их игра. Арно с ревом выпрыгнул из-за куста (из дремучих джунглей вынырнул!), схватил обоих детишек поперек туловищ, высоко поднял, те завизжали. Дрыгаясь, Берт саданул коленом в скулу, это было довольно чувствительно, но кто обижается? Мгновение спустя они уже образовали кучу малу, и «тигр» был повержен, укрощен, распластан.

— Лазеры к бою! — закричал Берт, заноса над папиной головой камень. — Смерть террористам!

Под конец все запыхались, и боже мой, во что обратились новенькие сомбреро! Зато мускулы горели, по телу бежал бодрый ток крови, даже Кора, глядя на них, радовалась и не замечала помятых шляп.

— Ах вы мои ребята-зверята!..

И вдруг она спохватилась:

— Под тент, дети, под тент! Вы слишком...

Начинается... Арно сплюнул приставший к губе плоский камешек. Здесь они не под крышей, здесь всюду небо и солнце, небезопасное даже на склоне дня, и все же гнать детей сразу под тент — это, конечно, перестраховка, но попробуй докажи Коре! Все на свете меняется, кроме женщин.

— Искупаемся позже, — буркнул он. — Когда свечерееет. Будем плавать сколько заблагорассудится!

Кора улыбнулась. Господи! Дурного настроения как не бывало. Господи, если бы повернуть время вспять!

«КОСМИЧЕСКИЙ ЩИТ» — ЭТО НАШ СТРАХОВОЙ ПОЛИСИ!

Арно, не отрываясь, глядел на светлые волны, которые набегали на сушу уже четыре миллиарда лет и были готовы трудиться еще столько же. Клонящийся к закату уголок солнца отражался в их всплесках изломами вспышек. Проклятье! Ведь совсем недавно, до рождения детей, никто не боялся солнца. Это ракеты повредили озоновый слой атмосферы, грохочущие «Шаттлы», которые спешно доставляли тысячи и тысячи тонн груза для установки в космосе всякой убийственной сверхтехники.

СОИ — ПУТЬ К МИРУ И РАЗОРУЖЕНИЮ!

Небо не выдержало напора столько ракет, на землю хлынул космический ультрафиолет, и выйти на солнце стало почти тем же самым, что побыть под рентгеновским облучением.

— Арно, ты что?..

Он вздрогнул, недоуменно уставился на свой кулак. Да, он только что молотил им по земле, руке было больно, и на него, отца, с замершими лицами смотрели дети и Кора. Этот их взгляд был знаком, слишком хорошо знаком!

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА...

— Спорим, что я быстрее всех построю крепость? — Арно надеялся, что его голос прозвучит азартно.

— Лучше дворец, — прошептала Лакми.

— Крепость! — Берт дернулся. — Космическую, как в кино! Чтобы разбомбить!

После недолгих препирательств решили построить и то и другое. Арно сам не заметил, как увлекся, все увлеклись. Великая вещь! Неваж-

но, чем заняты голова, руки — игрой или бизнесом, важно, что они заняты, а если этого нет...

Дворец и крепость получились на славу. Они их построили, затем разбомбили. Тем временем наступил вечер.

— Купаться, купаться, купаться!..

Они с размаху ринулись в море и в блаженном безмыслии закачались на волнах, как расслабленные медузы. Кора нашарила под водой руку мужа, тихонько погладила ее. Но тут загомонили, стали плескаться дети, она на всякий случай отплыла к ним. Почти обморочный покой охватил Арно.

Звезды уже горели в небе, не совсем те, которые были даже десятилетие назад. Свет боевых геостационаров был так же кроток, как блеск настоящих звезд. Недавно Лакми спросила: «Мам, а когда небо обрушится, мы все сгорим?»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ! «ЯДЕРНЫЙ ЩИТ» — САМОЕ ГРАНДИОЗНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕКА!

И самое сложное. Управляемое компьютерами, которые только и могут молниеносно реагировать на чужие ракеты. Хитроумно защищенное от тысяч уловок и контрмер, изощренно бдительное, мгновенно готовое испепелить все и вся, впитавшее в свои электронные схемы сам дух войны. Нервно следящее — слишком нервно! Когда с поврежденного «шаттлами» неба хлынул смертоносный ультрафиолет, тогда наконец прозрели самые воинственные генералы, самые глупые политики, самые алчные подрядчики, и Договор о разоружении был подписан. Но первый же «шаттл», направленный для демонтажа космических крепостей, был сожжен лазерами собственных батарей.

Было ли то следствием поломки? Ошибки в изощренной программе нападения и самозащиты? Неважно! Нечто подобное, даже помимо воли создателей, было заложено изначально, ибо нет техники, которая не своевольничала и не ломалась, и уже имелся опыт «свихнувшихся роботов».

«Раньше люди умирали счастливыми, — из дали лет послышался голос деда. — Они знали, что после них жизнь пребудет вовеки».

Темная глубина была нежна и спокойна, перед глазами медленно вращались звезды. Издали донесся смех детей. Чуть встревоженный голос Кору позвал:

— Арно, где ты?..

Он рванулсЯ вверх, так что под руками вспикели буруны.

Спасите Галю!

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ИЗ ОТЧЕТА

18 сентября в 16 часов 40 минут при переходе экскурсии из цеха № 3 в профилакторий с целью ознакомления экскурсантов с условиями отдыха работников Предприятия от группы отстала Галя Н. ученица седьмого «Б» класса подшефной школы. Несмотря на принятые меры охраны детей, выразившиеся в том, что, помимо Главного технолога Щукина Н. Р. и его заместителя Клопатога Р. Г., группу сопровождали преподаватель 7 «Б» класса Калинина Р. Р. и стрелок специализированной охраны Варнавский Г. Л., Гале Н. удалось, как сообщили ее друзья по классу, присутствовавшие при инциденте, незаметно отойти в сторону под предлогом поправления чулка. Ее действия были вызваны слухами, имевшими место среди детей, о том, что запретная Зона Предприятия таит в себе некие сокровища и пресловутое озеро Желаний. По сообщению преподавательницы Калининой Р. Р., вышеупомянутая Галя Н. отличается непостоянством характера, тяжелыми семейными обстоятельствами и слабой дисциплиной.

По обнаружении исчезновения Галины Н. были приняты следующие меры:

- а) сделано объявление по внутренней сети Предприятия в надежде на то, что Галя Н. недалеко углубилась в Зону и, услышав призывы, вернется обратно. Эта мера эффекта не дала;
- б) группа школьников была временно задержана в профилактории, где им был выдан горячий ужин и включен видеофон для того, чтобы слухи об исчезновении Гали Н. не распространялись по городу и не вызывали излишней паники населения;
- в) был вызван из дома Васюнин Г. В., сборщик цеха № 2, который, как известно, самовольно бывал в Зоне, за что имеет выговор и предупрежден об увольнении в случае повторения.

ГЛАВА ВТОРАЯ. СТАЛКЕР ЖОРА

Меня подняли с койки. Я сменился в два и лег спать. Звонят от главного технолога.

— Пропал ребенок. Упустили в Зону. Немедленно приезжай.

Я, конечно, ответил, что когда получать выговоры, то Васюнин плохой. Когда же прошляпили, ребенка упустили — Васюнин, спасай!

Оделся, приехал на Предприятие.

Там у третьего корпуса директор, главный технолог, заместители, спецхрана. Суетятся. Директор ко мне:

— Сталкер, надо помочь.

Сталкером меня после одного фильма зовут. Там был такой тип, чем-то вроде меня. И Зона тоже была. Смотрел я тот фильм, впечатления не получил. Пугают, а не страшно. Им бы в нашу Зону.

— Нет,— говорю,— я не в форме.

— Премии дадим, улучшим жилищные условия,— говорит директор.

Еще бы, думаю, что в городе поднимется, когда поймут, что ребенок пропал с концами! А выйти у нее шансов немного. Бывало, совались в Зону. Где они? Кто кормит их детей? Хотя, конечно, соблазнов немало. Но сокровищ нету. Другие только треплются. Далеко никто не пойдет. Может, Лукьяныч. Но Лукьяныч до третьего пункта ходил. Дальше его белая Козьява не пустила. Вернулся, шрам на руке всем показывает.

— Ты о ее матери подумай,— сказал технолог.

— А кто ее мать?

— Может, знаешь? Она раньше в «Ласточке» работала.

Это меня подкосило. Лариса! Душа моя, Лариса, сколько вздохов из-за нее, сколько слез пролито, а может, и крови. И я, мальчишкой, глазел на ее золотые кудряшки и алый ротик! И был раз допущен. Нет, серьезно. Один поцелуй — и умереть! Значит, это ее Галка? Вся в мать?

— Пойду,— сказал я. — Только вы пенсию оформите моей Людмиле. Ей, если что, Пашку воспитывать.

— Какая пенсия? — закричал директор. — Ты же вернешься! Мы другого знать не хотим! Мы верим в тебя, Жора!

— Слушай, давай без демагогии,— сказал я. — Я жить хочу, но мне девочку жалко. Если она вглубь пошла, там и я не бывал. Зона есть Зона. Она человека не признает. У нее свои законы.

Тогда директор дал слово — если что, оформят, как погибшему на производстве.

Директор сказал, что со мной пойдет Щукин.

— Слушай,— сказал я Щукину,— интеллигенция. Ты мне в обузу. Вместо того чтобы ребенка вытаскивать, придется тебя на горбу тащить. Лучше я Лукьяныча возьму.

Лукьяныч сначала — ни в какую.

— Меня уже ломало,— говорит.

Но пошли все же мы втроем. Я сам на складе отобрал что нужно. На это почти час потратил. Кладовщик куда-то ушел, сам директор пломбы рвал. Взял хорошую веревку, нейлоновую. Пушку я Лукьянычу брать не велел. В Зоне пуля не спасет. Щукина я сгонял к спортсменам. У них, у альпинистов, оборудование взяли. Вломали дверь и взяли. Два ледоруба. Палатку. Кто-то из начальства стал говорить: на что палатка,

не ночевать же собирается. Конечно, неплохо бы бронежилеты, но у нас их нет. Ватники взяли, свитера. Врачиха из медпункта бинты принесла, вату, я потребовал флягу со спиртом. Еще десять минут скандала. В конце концов директор флягу коньяком залил. Из своего фонда.

Я сказал Щукину:

— Оставайся, Коля.

А он поморгал, очки поправил. И говорит:

— Ничего, я в молодости в погранвойсках служил. Ты не беспокойся. Не буду я обузой. Я виноват, что недосмотрел, с меня и спрос.

— Ладно,— говорю,— но учти, я иду спасать Ларискину Галку, а не тебя.

— Понятно,— говорит.

А ватник ему мал — руки чуть не по локоть наружу, пальцы тонкие. Но упрямый.

В пять тридцать мы вышли.

Мне это не нравилось. Скоро сумерки. А ночь в Зоне еще никто не проводил. А если провел, уже не расскажет.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ТЕХНОЛОГ ЩУКИН

Я шел в середине. Первым Жора Васюнин, легкий, худой, злой. Замыкал Лукьяныч. Лукьяныч робел, поминутно оглядывался. Директор соблазнил его большой премией. Впрочем, на что Лукьянычу премия? Удивительно несоизмеримы наши дела и их последствия! Любопытно, а что, если бы и я потребовал премию? Я внутренне усмехнулся. Я понимал, что мы должны найти девочку до темноты. Директор взял с нас слово, что до темноты мы вернемся. Я могу его понять: гибель девочки — это потеря, горе, но не трагедия для Предприятия. Если погибнет группа — можно представить, что будет суд. А директору два года до пенсии.

Я нес мегафон. Когда я брал его, Жора ничего не сказал. Но как только стены контейнеров скрыли нас от жалкой, потерянной группы провожающих, он оглянулся и коротко сказал:

— Брось.

Я положил мегафон на ящик.

— Лучше не шуметь,— сказал он коротко. — Зона не любит чужого шума.

В походке Жоры, в голосе что-то изменилось. Он стал первобытным. Именно первобытным — мягким, настороженным, готовым отпрыгнуть. Я старался подражать ему, ступать в след. Сзади топал и пыхтел Лукьяныч. Он никому не подражал.

Густая пыль покрывала выщербленный асфальт. Еще лет восемь — десять назад здесь был хозяйственный двор Предприятия. За эти годы

Зона, наступая на нас, пожрала этот участок двора и приблизилась к третьему цеху. Некоторые работники второй смены уверяют, что в осенние глухие вечера слышат крики и стоны из Зоны. И чувствуют ее страшное дыхание.

— Смотри,— сказал Жора тихо. Он показал под ноги. Я подошел к нему. Цепочка следов, девичьих, узких, легких, тянулась между обрушенными контейнерами. Сквозь щели в контейнерах проступали металлические узловатые части станков.

— Она,— сказал Лукьяныч. — Давай крикну.

— Тише,— ответил Жора. — Она час назад здесь прошла. Видишь, пыль уже снова села... Теперь не докричишься.

Мы остановились под двумя бетонными плитами, которые образовали как бы карточный домик.

— Я здесь был,— сказал Лукьяныч.

Жора поднял вверх руку. Тихий стон донесся спереди. Я хотел броситься туда, полагая, что стонет Галя. Но Жора удержал меня.

— Это не то,— прошептал он.

Мы протиснулись по очереди сквозь переплетение арматуры. Под ногами хлопала рыжая жижа. И тут я понял, откуда нам послышался стон: переплетение труб, висевшее на остатках колонн, покачивалось в полной неподвижности воздуха, словно невидимая сила подталкивала их. Трубы издавали странную смесь жалких ноющих звуков.

Я вздохнул облегченно и хотел идти дальше, но Жора знаками приказал взять правее. Мы шли, прижимаясь к зубьям кирпичной стены. Следов девочки больше не было видно. Я старался представить себе: какая она? Я же видел ее в группе этих веселых, щебечущих школьников. Почему именно ее потянуло в известную всем смертельную опасность Зоны? Что за сила сидит в человеке, которая омрачает его разум? Я скорее могу понять Лукьяныча, которого вела туда корысть, или Жору, вообще склонного к авантюрам и, по слухам, выносившего из Зоны ценные и загадочные вещи. Но девочка?

Я задумался и налетел на спину замершего Жоры. Сзади дышал Лукьяныч. Может, у него астма?

— Проходим трубу,— прошептал Жора. — Проходим по одному. Я бегу первый. Если благополучно, махну рукой. Бежишь ты. Не оглядываться, не останавливаться.

Я нагнулся, заглянул в трубу. Она казалась нестрашной. Впереди, недалеко, был виден свет.

— А обойти нельзя? — спросил я.

Жора не ответил. Мой вопрос был глуп. По обе стороны возвышались обрывы кирпича и ржавых конструкций, с которых свисали серые бороды лишайников.

Жора наклонился и побежал.

Я смотрел ему вслед и считал шаги. Его черная фигура заполнила всю трубу.

И вдруг исчезла. Исчезла раньше, чем кончилась труба. Я мог поклясться в этом.

— Сгинул,— сказал Лукьяныч.

— Ты что говоришь! — огрызнулся я.

— Тогда идите,— сказал Лукьяныч. — Мне туда не к спеху.

Я понимал, что надо идти. Я снял с плеча моток веревки и передал его Лукьянычу. Сам взялся за конец.

— Будете страховать,— сказал я.

Лукьяныч кивнул. Он был напуган.

Я нагнулся и пошел в трубу. В ней царил резкий неприятный запах, схожий с запахом аммиака. Дно трубы было скользким, идти было трудно, я шел осторожно — считал шаги. Жора исчез на десятом шаге. На девятом я остановился. Воцарилась неестественная мертвая тишина.

К моему удивлению, дно трубы и далее казалось твердым, и от этого обмана зрения я чуть было не сделал следующий шаг, даже поднял ногу, но не успел перенести вес тела вперед, как понял, что на самом деле дно трубы — лишь отражение ее потолка в покрытой блестящей пленкой темноте глубокого колодца. Я присел на корточки и попытался разорвать пленку. Пленка с треском лопнула, и я увидел — совсем близко, на расстоянии метра — запрокинутую голову Жоры, которая медленно вползала в черную глянцевую трясику. Почему-то я совсем не испугался, наверное, был готов к подобному. Я бросил конец веревки Жоре, а сам упал на скользкий пол трубы и крикнул Лукьянычу, чтобы держал крепче, — веревка рывком натянулась так, что я чуть было ее не отпустил. А Жора тем временем смог выдернуть руку из жижи и схватиться за веревку, отчего на секунду его лицо скрылось в черноте, но когда мы с Лукьянычем стали тянуть, трясина с хлопанием и всхлипом отпустила Жору, и через минуту отчаянного напряжения он оказался рядом со мной. От него несло отвратительной вонью.

— Живой,— прохрипел он,— живой...

— Ты знал? — спросил я. — Ты знал и пошел?

— Оно редко открывается. А с четырех закрыто.

— Весь в дерьме,— укоризненно произнес Лукьяныч.

— Пошли,— сказал Жора, поднимаясь на четвереньки. И так, на четвереньках, он пополз вперед. Я, полагая, что он обезумел, попытался остановить его, но Жора лишь грубо огрызнулся и миновал благополучно место, где только что зияла трясина.

Я колебался: последовать ли его примеру?

— Иди, не дрейфь,— прохрипел он, оборачивая ко мне черное лицо. — Они закрылись.

Я прополз за ним, и когда опасность осталась позади, позволил себе спросить:

— Что это было? Почему возникло? Почему исчезло?

— Потом скажу, сейчас молчи...

Мы выползли из трубы. Я обернулся. Из черной пасти трубы показался Лукьяныч. Над трубой криво висела эмалевая табличка «Туалет закрыт с 16-30». Словно какой-то шутник только что повесил эту табличку и подсказал мне обернуться и разделить с ним непридуманное веселье по поводу его выдумки. А сам ухмыляется из темноты.

В ответ на мои мысли из недр трубы донесся грохот спускаемой воды, словно прорвался водопад и в следующее мгновение он кинется наружу, чтобы утопить нас... Я рванулсЯ вперед и налетел на спину обогнавшего меня Лукьяныча, который локоть к локтю с Жорой замер, закрывая от меня то, что заставило моих спутников остановиться.

Сначала мне показалось, что они стоят на краю лужайки, расцветшей синими васильками, но тут же стало ясно, что полянка живая, но покрыта она не травой и цветами, а тысячами круглых, стеклянных, разноцветных глаз, большей частью зеленых и бирюзовых. Это были лишь глазные яблоки, лишенные ресниц и век, но тем не менее они жили, подмигивали, их зрачки сужались, приглядываясь к нам, и по лужайке глаз как бы прокатывалась волна, отчего глаза приближались к нам, стремясь достать до наших ног.

— Направо! — крикнул Жора, и мы побежали между россыпью глаз и остатками блочного дома, сложившегося подобно карточному домику в длинную груду плит, рам, кусков кровли, ступенек...

Глаза были резвее нас, они лились, отрезая нам дорогу, и вот уже мы бежим по глазам, которые с треском лопаются, разлетаются в пыль под ногами, но все новые и новые глаза рвутся к нам, уже взбираются, вкатываются по штанинам, щекочут ноги...

Мы уже не бежали — мы брели почти по пояс в глазах, и Жора, перекрывая треск и шорох, кричал нам:

— Вы только не бойтесь, они не кусаются, не кусаются...

Но у Лукьяныча нервы не выдержали. Он увидел рядом щель между плитами, начал протискиваться в нее, раздирая потертый китель. Он рычал и брыкался, еще мгновение — и он исчез из виду, только слышно было, как трещат, скрипят панели, и тут же послышался шум обвала, и грудa панелей и лестниц начала оседать, вваливаться внутрь, погребая под собой Лукьяныча.

— Все, финиш, — сказал Жора, отряхивая с себя голубые глаза.

— Мы должны спасти его, — сказал я.

— Свежо предание.

— Но он, может быть, жив.

— Вот сам и иди, — сказал Жора зло.

— Пойду,— сказал я, глядя в растерянности на развалины дома и не видя щели и отверстия, в которое можно было бы проникнуть.

А Жора пошел вдоль развалин, не оборачиваясь, будто забыл о Лукьяныче.

— Так нельзя! — крикнул я, догоняя его.

Жора не ответил.

Потом остановился, глядя вверх.

Я проследил за его взглядом и увидел, что на высоте трех метров завал пересекает трещина.

— Жди здесь,— сказал Жора.

Нет,— сказал я,— только вместе.

Жора выругался и начал карабкаться наверх. Я помог ему. Потом Жора протянул мне руку, и я тоже взобрался.

Трещина была узкой — внизу темнота. Жора кинул туда камешек. Камешек застучал по плитам — значит, провал был неглубоким.

Жора посмотрел на небо. Небо было бесцветным, вечерним.

— Черт знает что,— сказал он. — Из-за этого болвана Галку погубим.

Но видно, доброе начало в этом грубом на вид парне победило.

Он протиснулся в трещину, прыгнул вниз, исчез из виду. И тут же я услышал изнутри:

— Прыгай, тут невысоко.

Я послушался его. Каменная россыпь ударила по ногам, я ушибся, упав на бок. Я зажмурился. Когда открыл глаза — вокруг была темнота. Еле-еле можно было угадать фигуру Жоры.

— Ты живой? — спросил он.

— Ничего,— сказал я.

— Тогда пошли. Нам надо вниз спуститься, его туда затянуло.

Жора пошел вперед, я, поднявшись, последовал за ним.

— Ты за стену придерживайся,— сказал Жора,— здесь стена есть.

И в самом деле, справа была стена.

— Лестница,— предупредил меня Жора, и я угадал по тому, как его черная тень начала уменьшаться, что он спускается вниз.

Я спускался следом, нащупывая ногой ступеньки.

— Осторожнее!

Одной ступеньки не было.

А вот и лестничная площадка.

— Никогда не подумаешь, что внутри есть такие пространства,— сказал я.

— Помолчи. Неизвестно, кто нас слушает.

— Кто здесь может быть? — сказал я, внутренне улыбнувшись, развалины не казались мне страшными. Дом как дом, старый...

Мы спускались по следующему маршу лестницы.

И в этот момент что-то горячее и быстрое ударило меня по шее. Я вскрикнул. И присел. Горячее давило, шевелилось — это было Живое.
— Ты что?

Мягкие, шерстяные пальцы ощупывали мои щеки... Одной рукой я пытался оторвать их от лица, а второй непроизвольно шарил по стене. Кончиками пальцев я нащупал выключатель и нажал на него. Зажегся свет. Лампа под белым плафоном буднично освещала лестницу.

Горячие пальцы оторвались от моего лица — большая летучая мышь заметалась под потолком. И исчезла...

Внизу стоял Жора, смотрел на потолок.

— Мутант, — сказал он.

Я почувствовал страшный упадок сил и опустился на ступеньку.

Жора подошел ко мне, нагнул мою голову, осмотрел шею, провел по ней пальцами. Потом показал мне пальцы. Они были в крови.

— Вампир, — сказал он. — Хорошо, что свет загорелся.

— Вампир? — Мой голос звучал глухо, я его сам не узнал. Словно говорил какой-то старик.

— Думаю, он много не успел отсосать. Пошли.

— Там могут быть другие?

— Могут. Зря я тебя взял с собой. Если боишься, вылезай.

— А Лукьяныч?

— Вот именно.

Мы вышли в низкий длинный коридор. Он был освещен такими же белыми круглыми плафонами. Двери были закрыты. На полу толстый слой пыли. У стены стоял открытый ящик с разноцветными погребушками. Из-за двери послышалась стрекотня пишущей машинки.

— Жора!

— Я слышу, — сказал он. — Иди.

— Но там кто-то есть.

— Иди, тебе говорят!

Но я все же приоткрыл дверь.

Там была полутемная комната. Свет в нее проникал из коридора. В разбитое окно потоком, достигая пола, вливалась груда кирпича. На столе стояла пишущая машинка. Возле нее недопитая бутылка молока и кусок колбасы. Никаких других дверей в комнате не было. И ни одного человека.

— Не заходи! — Жора протянул руку, оттащил меня и захлопнул дверь. — Тебе жить надоело?

Сзади послышался треск. Я вздрогнул и оглянулся. Погребушки выпрыгивали из открытого ящика и падали на пол — как блохи.

— Идем, — сказал Жора.

В конце коридора была еще одна лестница. В подвал.

Подвал был длинным и низким. Из труб капала вода, вода была на полу, по воде плавали широкие светло-зеленые листья кувшинок, но

вместо цветов в воде покачивались колбы, наполненные розовой жидкостью.

— Лукьяныч! — позвал Жора.

В ответ — тишина. Мертвенная, угрожающая.

— Погиб он, — сказал Жора. — Зря мы сюда сунулись — сами не выйдем.

Но пошел дальше по подвалу, отбрасывая башмаками колбы и листья кувшинок. В трубе что-то запело, будто там была заточена птица.

И тут мы увидели Лукьяныча. Он медленно и неуверенно брел нам навстречу. Трудно вообразить облегчение и радость, которые я испытал при виде старого вахтера.

— Лукьяныч! — и побежал к нему.

Тот услышал.

— Ну вот, — сказал он, — а я думал — кранты.

Труба, пересекавшая подвал под самым его потолком, вдруг изогнулась, разорвалась пополам, и на каждом торце образовалась зубастая безглазая морда. Морды повернулись к Лукьянычу.

— Ложись! — крикнул ему Жора. — Ложись, тебе говорю!

Но Лукьяныч растерялся или не услышал этого крика. Он остановился, поднял руки и стал отмахиваться от морд.

Из морд поползли белые волосатые языки, они схватили Лукьяныча за руки, обвинили их и стали дергать, словно хотели втянуть в трубу.

Лукьяныч бился, пытался оторвать от себя эти белые языки и потом, прежде чем мы успели подбежать, как-то лениво и равнодушно опустил в воду — во все стороны поплыли, словно опасаясь коснуться его, листья кувшинок.

Языки втянулись обратно в морды, морды прикоснулись друг к дружке, и труба, словно так и положено, вытянулась под потолком.

Лукьяныч лежал в воде. Я приподнял его голову.

— Поздно, — сказал Жора.

Я поднял руки вахтера. Пульса не было.

— Пошли, — сказал Жора. — Кончился Лукьяныч.

— Нет, — сказал я, — мы не можем его оставить.

Я попытался поднять Лукьяныча, он был невероятно тяжелым, выскользнул из моих рук и упал в воду.

— Жора, ну помогите же мне! — сказал я.

— Дурак, — сказал Жора, — посмотри.

Лукьяныч быстро темнел, рот оскалился, показались неровные золотые зубы. Сомнений не оставалось. Он был мертв. Но оставить человека в подвале — это было выше моих сил. И Жоре пришлось буквально оттащить меня от тела вахтера. Он повел меня прочь, к лестнице. И тут я услышал сзади голос Лукьяныча:

— Погоди... Щукин, погоди.

— Он живой! — крикнул я и вырвался из рук Жоры. Но подбежав к Лукьянычу, я в ужасе замер.

Его широко открытые глаза были совершенно белыми, более того, они были покрыты короткими, белыми, светящимися волосками. Лукьяныч смеялся. Он хотел дотянуться до меня, и я стал отступать — его пальцы, пальцы скелета, почти дотянулись до меня — и вдруг Лукьяныч кучей тряпья упал в воду и стал растворяться в ней. Я не помню, как Жора вытащил меня оттуда...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ТЕХНОЛОГ ЩУКИН

Я очень устал. И, наверное, потерял немало крови. Я хотел остановиться и отдохнуть, но остановиться было страшно.

Мы шли в лабиринте железных ящиков разного размера и формы. Ящики были ржавыми, они вздрагивали, и изнутри доносилось постукивание, словно кто-то просил выпустить его наружу... Стенка одного была выломана.

— Вырвались, — сказал Жора. — Теперь держись.

Я не знал, кто вырвался, и не было сил спрашивать.

Небо было синим, вечерним, и уже появились первые звезды. Где-то далеко летел самолет. Стены ящиков смыкались над головами, и мы шли по узкому извилистому ущелью.

Местность начала понижаться. Мы опускались в какую-то воронку.

Ящики кончились, но приходилось перебираться через завалы бревен, бревна были гнилые, между ними летали светлячки. Жора шел уверенно. Только один раз он остановился и замер, приложив палец к губам. Я тоже замер. Я уже понял, что единственное спасение — во всем слушаться сталкера. Я не могу сказать, что раскаивался в том, что отправился в этот несчастный поход. Я был за пределами страха и любопытства.

Мы стояли, ожидая, пока длинная вереница больших белых крыс перейдет нам дорогу. Крысы не обращали на нас внимания. Каждая из них тащила в зубах маленькую куколку. Последняя, совсем еще крысенок, видно, устала и уронила куколку на землю. Когда крысы исчезли, Жора наклонился и поднял куколку.

— Посмотри, — сказал он, протягивая мне куколку.

Хоть и было довольно темно, я понял, что куколка изображала Лукьяныча, размером с мизинец, оловянного, раскрашенного, в кителе и фуражке.

— Хорошо работают, — сказал Жора.

— Кто?

Но Жора не ответил. Он быстро побежал вперед, перед ним мелькнуло какое-то живое существо.

— Стой! — крикнул Жора, кидаясь вперед.

Раздался вой.

Я подошел. Жора лежал на земле, между бревен, навалившись телом на ободранную, худую собаку.

Собака повизгивала и вырывалась.

— Ты не видела здесь девочку? — спрашивал Жора у собаки.

Собака не отвечала. Только скулила.

— Ну и черт с тобой, — сказал Жора и отбросил собаку. Та кинулась в сторону.

Жора проследил, куда она побежала.

— За ней, — сказал он.

Нам пришлось перебраться через быстрый, пахнущий карболкой мутный ручей, пробраться сквозь завал картонных коробок, набитых тряпьем. Там была дверь. Из-за нее вырывался луч света.

Жора приоткрыл дверь, и странное зрелище предстало перед нашими глазами.

Вокруг низкого, длинного стола сидело множество собак, ободранных, худых, во всем схожих с той собакой, которую поймал Жора. Собаки смотрели, не отрываясь, на стол. Там, освещенные толстыми горящими свечами, бегали автомобильчики и паровозики. На большом блюде посреди стола — груда блестящих украшений. Некоторые из автомобильчиков вдруг начинали толкаться, слабые падали со стола.

— Эй, — сказал Жора. — Кто видел девочку?

Собаки как по команде повернулись к двери. Одна из них зарычала. И тут мы услышали далекий детский плач.

— Это она! — сказал Жора.

Он побежал через комнату с собаками, и те отступили рыча. Я бежал за ним. Собаки нас не тронули.

Мы выскочили из воронки, и пришлось долго перебираться через расползающиеся тюки с шерстью, потом по щиколотку в грязи шлепать в мертвом кустарнике, и неожиданно перед нами открылась грязная поляна, по краям которой было вырыто множество выгребных ям, источающих сильное зловоние.

Посреди поляны возвышалось странное сооружение, похожее на башню рыцарского замка. И я не сразу сообразил, что это нижняя часть громадной фабричной трубы. В трубе была сделана дверь. Из нее на землю падал тусклый квадрат света. Оттуда и доносился детский плач.

ГЛАВА ПЯТАЯ. СТАЛКЕР ЖОРА

Это был замок Сольвейга. Как его в самом деле зовут, даже он сам не помнит. Я единственный живой человек, который его видел. В прошлом году я добрался до его башни. Это самая дальняя точка, до которой я забирался в Зону. Сольвейг тогда сказал мне, что озера Желания нету. И я ему поверил. Он знает.

Он его искал много лет.

Он сам себя называл Сольвейг. Я проверял. Есть такая опера, там Сольвейг прибегала к нему на лыжах. Но старик, наверно, спутал ее с соловьем. У него раньше был патефон. Но сломалась игла. Я обещал ему принести иглу, но не нашел — теперь их не делают.

Как же эта Галка добралась до старика? Здоровые мужики погибают, а она добралась

У него в замке стоит золотой трон. Обшарпанный, правда, но золотой. Галку он привязал к трону. Она была чуть живая, рубаха в клочья, джинсы разодраны... Эх, и напереживалась эта дура! А тут еще попала в плен к маньяку!

Старик стоял перед ней. В одной руке открытая банка со сгущенным молоком. В другой — гнутая алюминиевая ложка. Глаза дикие, ополоумевшие.

Она ела это молоко, вся физиономия в молоке, по распашонке, по лифчику течет молоко, джинсы в молоке, даже волосы в молоке — видно, она сопротивлялась вначале, мотала головой. А теперь уже ничего не соображает, только кричит иногда, как воет.

— Кушай, — говорил, скрипел старик, — кушай, моя королева. Мне ничего для тебя не жалко.

Он совал ей ложку в рот, она старалась отвернуться, он топал ногами, сердился.

— Оставь Галку! — сказал я.

Он не сразу сообразил, что мы пришли. Потом испугался, кинулся в угол, схватил лом. Халат распахнулся, он под ним в чем мать родила, жилистый. Он поднял лом и пошел на нас.

Я нагнулся, уклонился от лома и врезал ему в левую скулу.

А Щукин тем временем стал распутывать Галку, она только всхлипывала. Вокруг на полу валялись пустые банки, и весь пол — сплошная липкая белесая лужа.

Щукин скользил по молоку, я помог ему освободить Галку, она не могла стоять, мы отнесли ее к старому дивану, на котором обычно спал старик. Во все стороны с дивана кинулись пауки. Пауки у него ручные, умеют танцевать, он мне сам показывал.

— Дядя Жора, — повторяла Галка, — дядя Жора...

Я открыл флягу с коньяком, заставил ее глотнуть. И тут же Галку начало рвать сгущенным молоком.

Я думал, что она помрет. Но ничего, через несколько минут отошла. Оказывается, старик ее кормил больше часа, банок пять, как минимум, в нее всадил. Он псих, он самое дорогое ей отдавал.

Пока мы откачивали Галку, старик очнулся, стал плакать, просить, чтобы мы у него ее не отбирали.

Я поглядел наружу. Уже почти совсем темно.

— Будем ночевать здесь, — сказал я.

— Нельзя, нас ждут,— сказал мой технолог.— Ее мать сходит с ума.

— Моя мать с утра пьяная,— сказала Галка.

— Ты хочешь остаться здесь?

— Нет, уведи меня, дядя Жора.

— А что тебя в эту дырку потянуло?

— Мне нужно было... нужно было озеро Желаний.

— Из-за мамы? — спросил Щукин.

— Из-за мамы? А зачем ей?

— А тогда для чего? — спросил я.

— Мне нужна любовь одного человека,— сказала Галка.

— Сколько лет этому человеку? — спросил я.

— Сорок. У него жена. Толстая, гадкая, я бы ее убила!

— Дура,— сказал я,— жалко, что пошел тебя вытаскивать.

Старик стал снова просить, чтобы мы ему оставили Галку.

— Пошли,— сказал Щукин. — Уже поздно.

— И куда ты пойдешь? — спросил я.

— Обратно.

— Обратно мы не пройдем,— сказал я. — Даже днем мы чудом прорвались. Ночью погибнем. Хуже Лукьяныча.

— Отдайте мне королеву,— сказал старик с угрозой. — А то скоро Ночные придут. Они вас скушают.

— Это правда,— сказал я. — Пошли.

Мы вышли, старик бежал следом, просил, чтобы я отдал ему его лом. Но я оттолкнул его, а шагов через пятьдесят велел моим спутникам затаиться в остатках трансформаторной будки. И шепотом сказал им:

— Сейчас сидим тихо. Десять минут. Пускай он думает, что мы обратно пошли.

— А мы? — спросил Щукин.

— А мы пойдем дальше.

— А разве вы там были?

— Там никто не был. Но зато я знаю — на обратном пути нас точно убьют. А впереди — не знаю.

Они ничего мне не ответили. Они устали. Им было почти все равно. Я их понимал, мне самому было почти все равно. Только я упрямый. Я хотел, чтобы Галка все-таки вернулась домой.

— А кто этот старик? — шепотом спросила Галка. Видно, начала оживать. Они живучие, как кошки.

— Сумасшедший,— сказал Щукин.

— Он дезертир,— сказал я. — Так он мне сказал.

— Какой дезертир?

— В сорок первом здесь спрятался. А может, троцкист.

— А что же он ест?

— Сгущенное молоко,— сказал я. — В войну по ленд-лизу состав со сгущенкой шел, ветка недалеко, его в Зону затянуло, потеряли. А может, врут.

На груди защекотало. Я испугался. Может, ядовитое. Запустил руку за пазуху. Оказалось — зеленый глаз. Я выбросил его, он покати́лся к Галке. Она взвизгнула. Пришлось его раздавить.

Когда мне показалось, что все тихо, я повел их дальше. Но незаметно уйти не удалось. Раздался такой грохот, которого я в жизни не слышал. Особенный, страшный, гулкий, будто тысяча человек принялись молотить по пустым бочкам.

Меня отшвырнуло, понесло... Кинуло на землю, погребло...

И, наверное, сто лет прошло, прежде чем я сообразил, что случилось: Галка наткнулась на край Великой пирамиды. Той самой, которую мне старик показывал в прошлом году. Она из пустых банок. Пятьдесят лет он жрет это молоко. Две-три банки в день. Простая арифметика — сколько банок? И всю эту пирамиду мы развалили.

С нами-то ничего страшного, если не считать нервов. Но, конечно, мы переполошили весь этот скорпионник. А места дальше мне незнакомые, самые древние, самые загадочные...

Мы бежали по колючкам и мертвому лесу, мы-пробивались сквозь цветущие оранжевыми одуванчиками заросли медной проволоки. Сумерки еще не кончились, так что, к счастью, мы кое-что видели. А может, не к счастью.

Галка и так была еле живая. И именно она натолкнулась на скелет. Весь разможенный, на черепе сохранились длинные волосы, обрывки джинсов и даже цепочка на вывернутой шее. И Галка начала вопить — она этого парня знала. Хипповый парень, весной пропал. Значит, идиот, полез в Зону.

Галка начала снова рыдать, ее рвало, а по нашим следам уже шли Железные люди, заводные, без голов, раскрашенные. Хорошо еще, что у меня лом был, я отбивался, пока Щукин тащил Галку дальше.

Мы чуть было не погорели совсем, когда оказались перед ущельем. Я никогда и не слышал, что здесь есть ущелье. Без дна.

Как переползли на тот берег — до сих пор не представляю. Мы по паутине ползли. Двух пауков я убил. Третий полвину волос у меня вырвал... Но ушли. И Железные люди отстали.

Но пауки позвали других на помощь. Это, может, и не пауки — они плюшевые, желтые, ноги у них из пружин. Не прыгают, но качаются.

Они были осторожные, как шакалы, ждали, когда мы помрем или ослабеем. И видно было, что ждать им недолго. Я все надеялся, что Зона кончится, но точно не знал, когда. Да и шли мы по Луне, по звездам. И уверенности не было.

Пауки загнали нас к бетонной стене. Не знаю, кто и когда ее поставил. Метра три, поверх колючая проволока. Надо было эту стену одолеть, но сил одолеть не было.

Мы сели в рядок, прижавшись к стене спинами.

Пауки дежурили полукругом, тоже ждали, раскачивались, как один футбольный тренер.

И тогда я услышал за стеной стук. Быстрый частый стук. И я понял, что мы погибли,— мы вышли к Бездне. Никто там не был, но некоторые о ней слышали. Там работа вовсю идет, как будто ничего не было, а кто работает, неизвестно... А может, это Сборный червяк, что еще хуже...

Тут пауки пошли в наступление.

Я встал, я один смог встать. Поднял лом и начал махать им.

Пауки, улыбаясь беззубыми ртами, отступили. Глаза светились, как тарелки.

Я с отчаяния размахнулся и ударил ломом по стене. От нее отлетел кусок бетона. Я стал с остервенением рубить по стене — пускай Бездна,— но умереть от этих пауков куда хуже.

Я вошел в раж. Я бил, бил и ничего не слышал. Но когда Галка завизжала, я обернулся. И увидел, что моего Щукина уволокивают пауки. Они рвут его, тянут, а он почти не сопротивляется. Стал как тряпичная кукла.

Я кинулся на пауков, дробил их ломом, мне уже было на все плевать.

Они оставили Щукина. Он был без сознания. Я поволок его к стене, и пауки пошли за мной следом.

И тогда я снова набросился на стену.

Наверное, никогда еще во мне не было такой силы. Как последние сто метров в марафоне — а потом человек умирает.

Кусок стены выломился, выпал в ту сторону.

Лом провалился в дыру, звякнул там.

Теперь даже если там ждет немедленная смерть, все равно другого пути нет. Мое оружие там.

Нас спасла Нога. Ее пауки боятся. Она вышла из темноты, скрипя суставами, сапог с меня ростом, из него торчит каменный палец. Пауки — в стороны. А Нога медленно попрыгала к нам, чтобы растоптать.

Я буквально выкинул в дыру Галку, а потом вытащил Щукина.

Там был асфальт.

Я упал рядом со Щукиным. Галка лежала на мостовой.

За стеной скрипела Нога. Потом стало тихо. Я закрыл глаза.

Знакомое постукивание послышалось вдали. Все ближе и ближе...

Дребезжал, надвигаясь, Сборный червяк... Я начал шарить руками, хотел найти лом. Лома не было. Я поднялся на четвереньки и тут увидел, что это не Сборный червяк, а к нам едет трамвай.

Обыкновенный трамвай, поздний, почти пустой. Я и не знал, что в Зоне есть такие места.

Пускай проедет. Это, наверное, трамвай-убийца.

Но трамвай не проехал. Он закрипел тормозами, останавливаясь. Где лом? Где лом, черт побери! Я же не могу его голыми руками! Из трамвая выскочила женщина в синем сарафане.

Она побежала к нам.

Это была Лариска, Галкина мать. Я ее всегда узнаю, издали. Старая любовь. Хотя она теперь спилась, а у меня Людмила и Пашка, но от старой любви что-то всегда остается.

— Я прямо почувствовала! — закричала Лариска и сразу к Галке.

А Галка начала плакать. Снова.

— Мама, я больше не буду! — Ну как маленькая.

И только тогда я понял, что над улицей горят фонари. Редкие фонари, обыкновенные фонари. Я сел на тротуар.

Из трамвая вышел водитель. Колька Максаков, я его знаю.

Они с Лариской повели к трамваю Галку.

Надвинулись фары. Это была директорская «волга».

Директор первым подошел к нам. Он зачем-то пытался трясти мне руку. А мне было плевать... Я сказал, чтобы Щукина отвезли в больницу, он много крови потерял. Про Лукьяныча никто не спрашивал. Видно, и так поняли.

Директор приказал вызвать бригаду, чтобы заделать стену.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ТЕХНОЛОГ ЩУКИН

Меня выпустили из больницы на третий день. За это время я подготовил докладную о мерах по ликвидации заводской свалки, которая в настоящем виде представляет собой опасность для Завода и окрестного населения.

Я напомнил в докладной, что наш Завод построен еще до революции как Фабрика механических игрушек немецкого фабриканта фон Бюхнера. Свалка родилась, когда Завод разрушили в гражданскую войну.

К несчастью, вместо того чтобы разобрать развалины Завода и складов, решено было строить новые корпуса Завода заводных игрушек имени Лассалья по соседству с разрушенными. А когда Завод в двадцать пятом сгорел, то, восстанавливая, его подвинули вновь. С тех пор свалка стала использоваться и некоторыми другими городскими предприятиями. Свалка приобрела самостоятельное значение, и постепенно завод отступал под ее напором, оставляя в ее владении подъездные пути и заброшенные склады. А свалка все росла и надвигалась. Было много постановлений о ликвидации свалки, как-то ее попробовали снести, но два бульдозера сгнули там, одного бульдозериста так и не

нашли, второй выбрался, но сошел с ума... В городе свалку начали называть Зоной, и даже появились сталкеры... Теперь же Завод отодвинут свалкой от Молодежной улицы на шесть километров, и никто толком не знает, что происходит внутри. Я писал, что свалка превратилась в замкнутую экосистему. В любой момент в ней может произойти качественный скачок и она нападет на Завод или на Молодежную улицу, с которой граничит, отделенная лишь бетонным забором. Потому я потребовал, чтобы свалку немедленно разбомбили военной авиацией.

По выходе из больницы я подал докладную директору.

Он прочел ее при мне. И предложил уйти в отпуск. Сказал, что я заслужил отдых.

— А как же свалка? — спросил я.

— Тут у вас некоторые преувеличения. Но источник их понятен, — сказал директор. Он прятал глаза. — Нервы.

— Вы там не были! — кричал я. — Вы не знаете! Это страшно! Вспомните о судьбе Лукьяныча.

— Мы обязательно примем меры, — сказал директор. — Но вот насчет авиации вы преувеличиваете. Так что лечитесь, отдыхайте.

Директору два года до пенсии...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ИЗ ПРИКАЗА № 176 ПО ЗАВОДУ ЗАВОДНЫХ ИГРУШЕК ИМЕНИ ФЕРДИНАНДА ЛАССАЛЯ

«...Исходя из вышеизложенного, принять следующие безотлагательные меры:

1. Возвести за счет сэкономленных средств соцбытсектора временное ограждение свалки со стороны цеха № 3.

2. Усилить охрану периферии свалки в ночное время, для чего изыскать возможности увеличения штатов специализированной охраны на два человека.

3. Временно, вплоть до особого разрешения, прекратить посещение Завода экскурсиями, а также запретить проникновение на территорию Предприятия представителей прессы, которые безответственными выступлениями могут дезориентировать общественность.

4. Принять к сведению постановление Местной организации Предприятия об обращении к Главному управлению Завода заводных игрушек Министерства местной промышленности о выделении дополнительных ассигнований на приведение в порядок заводской территории.

5. Строго указать всему личному составу Предприятия о недопустимости распространения слухов касательно предположительного существования неопознанных явлений в районе заводской территории. С этой целью провести собрания в коллективах цехов и заводоуправления.

6. Ходатайствовать перед соответствующими организациями социального обеспечения об установлении повышенной пенсии вдове сотрудника специализированной охраны Варнавского Г. Л., как погибшего при исполнении служебных обязанностей.

7. Отметить сборщика Васюнина Г. В. премией в объеме двухнедельного оклада.

8. Предоставить заместителю Главного технолога Щукину Н. Р. внеочередной отпуск для лечения.

Директор Завода заводных игрушек
им. Фердинанда Лассалья»

Закованный разум

Примерно в пятидесяти милях от материковой массы серой каменной башней вздымается с океанского дна остров. Бледные обитатели называют его Фестив*, хотя это едва ли подходящее название для похожих на тюрьму стен с окошками, поднимающихся из моря и занимающих каждый квадратный ярд острова.

Самые старые жители (как все старые жители во все века, они уверены, что знают больше других) утверждают, что название «Фестив» образовано от искаженного и сокращенного «Фоллаут шелтер файв»**. Странное словосочетание, происхождение которого затеряно в веках, как и история возникновения колонии. Минувшие века — долгий период: много поколений сменилось, были и бунты, и несколько маленьких, но разрушительных гражданских войн, и все это время колония неуклонно росла из подземных пещер сквозь камень и гальку на поверхность. Затем долгие годы все выше и выше строились стены. Люди, что работали в скафандрах, куда от машин, гудящих в огромных камерах под уровнем моря, подавался кислород, старательно герметизировали от ядовитого наружного воздуха каждую новую секцию. Как примитивные люди в доисторические времена, жители острова из пещеры перемещались в дом.

Когда солнце тронуло башню золотым лучом, возвращаясь с запада, пронеслась над морем маленькая стая голубей — словно заряд крупной дроби на фоне алого неба. Голуби поднялись над внешней стеной и полетели, почти касаясь плоской крыши колонии. То тут, то там им приходилось сворачивать, чтобы обогнуть новые постройки — комнаты для жилья, выступающие над ровной поверхностью крыши. Но, обогнув препятствие, голуби продолжали движение в прежнем направлении, к центру острова-города.

Там они зависли в воздухе, вытянув лапки и расправив хвосты, а затем по очереди нырнули в колодец, уходящий вниз между темными стенами...

В крошечной комнате, безвольно сложив на коленях узловатые руки, сидел пожилой человек и вспоминал старые добрые времена,

Copyright © 1974, by Michael J. Coney.

* Festive (англ.) — праздничный, веселый, радостный.

** Fallout Shelter Five (англ.) — убежище от радиоактивных осадков номер пять.

которых на самом деле у него никогда не было. Шорох крыльев вырвал его из оцепенения, он поднялся, растирая руками затекшие ноги, затем осторожно взобрался на небольшую кучу камней в углу, похожую на те, что оставляют после себя строители.

Натянув на лицо резиновый респиратор, он поднял руку и откинул защелку на потолочном окне. Затем на короткий миг старик приоткрыл его и, когда голуби ворвались в комнату, тут же захлопнул и спустился на пол. Лишь через несколько минут он снял маску, подозрительно принюхался и, успокоившись, взглянул на птиц.

Одиннадцать голубей сидели рядом на жердочке из куска оцинкованной трубы. Пока старик внимательно осматривал птиц, они в свою очередь следили за ним немигающими глазами.

Старик вздохнул, опустил на колени перед эмалированным ящиком под столом и, пробежав взглядом по индикаторам, выключил голубей.

Они сидели в крошечном кафетерии Секции-13, зажатые со всех сторон серыми каменными стенами. Лицо девушки выражало озабоченность и мольбу. Она наклонилась над столом и положила руки поверх рук своего собеседника. В комнате было тихо, поэтому говорила она негромко:

— Я не могу ждать вечно, Дэвид. Мне уже двадцать три. Принципы:— это очень хорошо, но нужно жить в соответствии с ними, а не ради них. Как ты не понимаешь? Я люблю тебя и хочу, чтобы мы поженились. Все очень просто.

На лице молодого человека читалось упрямство и одновременно желание. Он взял девушку за руку, но все время смотрел на стол, выводив свободной рукой абстрактные узоры на грубой поверхности.

— Не так просто, как ты думаешь,— ихо ответил он.— Я с детства был членом Стабилизационной партии. А ты нет. Ты не поймешь, Джилли... Я тебя тоже люблю. Но мы не можем пожениться.— Он поднял глаза и взглянул на нее с отчаянием.— Разве ты не знаешь, что может случиться с Фестивом, со всеми нами, если население будет расти? Совету давно пора издать запрещающий закон.

— Я сказала: «Хочу, чтобы мы поженились», Дэвид,— возразила Джилли беспомощно.— Про детей я ничего не говорила.

— Но это само собой разумеется, разве не так? Мне приходилось видеть подобное. Два человека начинают жить вместе, и не успеешь оглянуться— у них уже дети. Господи, если бы только эти дураки могли понять, что происходит! Если в один год каждая женщина на Фестиве принесет потомство, население утроится к концу года— при условии что в среднем у них будет по шесть детей. И это еще осторожная оценка.

— У Джейн Данкерли в последний раз было двое. Всего двое.

Очень милые маленькие мальчишки. — Тут она уже не смогла справиться с выдающим ее голосом.

— Значит, ты все-таки думала про детей! — мрачно уличил ее он, заглянув ей в глаза. — Вы, женщины, все одинаковы, у вас одно на уме. Мужчина сам по себе вас не интересует. Я иногда думаю, что ты делаешь у старого Иеремии? Ему, должно быть, уже за семьдесят, а ты к нему все ходишь.

Джилли вспыхнула.

— Иеремия очень хороший старик, — произнесла она сердито. — Он много знает, и с ним интересно. Ему одиноко в его маленькой комнате. У него нет никого, кроме голубей. И он мне действительно нравится, — добавила она, словно оправдываясь.

Дэвид встал, заканчивая разговор.

— Может быть. Но я могу сказать тебе одну вещь, которой он не знает. Ему недолго осталось запускать своих голубей:

— Что ты имеешь в виду? — Джилли вскочила со своего места.

— Он не сможет их запускать, если над ним построят комнаты.

— Вы собрались строить над Иеремией? — спросила она возмущенно.

— Распоряжение местного Жилищного Комитета, — сказал он и, смягчившись, добавил. — Извини, Джилли. Я не всегда горжусь своей работой, ты же знаешь. Но ждать больше нельзя. Мы откладывали застройку над ним целых пять лет из-за чистой сентиментальности: его любят в Секторе. Однако теперь комплекс поднялся вокруг него вверх, и это опасно. Если ты наденешь скафандр и выйдешь на крышу, ты сама увидишь, что там все ровно и герметично, кроме этого квадратного колодца к Иеремии глубиной в три этажа. Достаточно небольшого землетрясения, и Атмосфера ворвется внутрь. Это очень ненадежное место.

— Но разве нельзя переселить его Наверх в одну из новых комнат?

— Ты сама знаешь, он не станет переезжать. И потом Наверх, где есть окна в крыше, мы стараемся поселить детей и подростков. Чтобы вырасти сильными, им нужен свет, так же как, например, гидропонным установкам Внизу. Комитет Здоровья утверждает, что солнечный свет лучше искусственного. — Он вздрогнул, подумав о солнце и о том, что с ним связано: Атмосфера, Внешняя Среда.

Внимательно наблюдая за ним, Джилли почувствовала, о чем он думает, и ей захотелось успокоить его.

— Пойдем, Дэвид, — сказала она тихо. — Давай прогуляемся Внизу и посмотрим гидропонные поля.

Хотя сама она и не испытывала страха перед тем, что пугало по крайней мере половину колонии, Джилли догадывалась, чего стоило ему каждый раз, когда того требовали обязанности члена Жилищного Комитета, надевать скафандр и выходить Наружу.

В тот вечер Джилли снова навестила Иеремию, и он опять рассказывал ей о голубях и небе.

— Я знаю, что все это бессмысленно,— говорил он, сидя откинувшись в кресле, так чтобы можно было видеть окно в потолке, а за ним квадрат темного индиго с брызгами звезд. — Мне просто нравится выпускать их в мир, представлять, что они увидят там, и наблюдать, как они возвращаются. Иногда я чувствую, что я как бы лечу вместе с ними в свободном небе, высоко над морем... — Забывшись в мечтах, он остановил взгляд на прямоугольнике стекла.

— Они когда-нибудь пропадали, Иеремия? — спросила Джилли. Лицо его потемнело.

— Когда-то, много лет назад,— ответил он печально,— у меня их было сорок восемь. Наверно, время от времени они ломаются и падают в море.

— А откуда они взялись?

— Сегодня ты задаешь много вопросов, маленькая Джилли,— улыбнулся старик. — Я нашел их вместе с книгой Внизу, в ящике, в одной из комнат, что сгорела во время бунта в тридцать седьмом. Крепкий металлический ящик, он выдержал пожар... — Иеремия медленно поднялся и подошел к двери. — Я покажу тебе...

Когда он вернулся, Джилли вскочила, чтобы помочь: ящик оказался не из легких. Они поставили его на пол, и Иеремия откинул крышку. Внутри рядами стояли коробочки поменьше, а в глубокую нишу, догадалась Джилли, укладывался прибор управления. Старик вытащил из крепления буклет и передал Джилли.

— На, взгляни.

Джилли медленно, запинаясь, стала читать вслух:

— Эле... Электронный набор голубей. Познавательная игра для любого возраста. Полный комплект с блоком управления и сорока восемью голубями, в точности воспроизводящими птиц, которых сейчас можно обнаружить только в далекой Антарктиде. У вас есть возможность вновь заполнить небо шорохом крыльев! Ни одна настоящая птица не могла выдержать такого загрязнения окружающей среды — этим голубям гарантируется стойкость от коррозии! Посылайте сообщения своим друзьям!

— Ты поэтому их выпускаешь? Надеешься получить весточку откуда, Снаружи?

— Нет, конечно,— ответил он, пряча глаза. — Все знают, что, кроме нас, на свете никого нет. У Совета есть одна штука, которая называется «радио». Оно работает примерно так же, как этот блок управления.

Он замолчал, нервно постукивая пальцем по ящику, прислушиваясь, как дрожит комната от небольшого землетрясения, потом продолжил:

— Говорят, когда-то оно получало сообщения. Со всего мира. Я не знаю, можно ли этому верить, но так говорят...

Последнюю фразу он произнес торопливо, и Джилли посмотрела на него пристальным взглядом.

— Ты в самом деле веришь в Мир Снаружи, да, Иеремия? Ты веришь, что есть что-то еще кроме Фестива?

— Все бессмысленно, если это не так,— пробормотал старик, потом положил буклет на место, закрыл крышку, но остался сидеть на коленях около ящика.

— Дэвиду такие разговоры вряд ли бы понравились,— заметила Джилли. — Он из Стабилизаторов. Для него, кроме Фестива, ничего не существует.

— Но мы-то знаем, что есть другие места,— возразил старик. — Существуют же еще старые карты. И мы точно знаем, где находится наш остров.

— Я не это имею в виду. Он признает, что есть другие земли, но говорит, что про это надо забыть, потому что мы ничего не сможем сделать. Мы не можем до них добраться, так как для этого нужно выходить в Атмосферу. А мысли обо всем этом делают нас неудовлетворенными.

— А почему ты об этом говоришь, Джилли? — лукаво спросил Иеремия.

Джилли застенчиво улынулась:

— Я говорю себе: «Думай об этих других землях, и в один прекрасный день, может быть, мы туда попадем». Ты разве не знаешь, что все женщины так думают? Наверно, мы не подчиняемся логике.

Старик пристально взглянул на нее, и на мгновение ей показалось, что ему хочется что-то сказать, но он молча покачал головой и стал подниматься с колен.

Джилли бросилась помогать. Рука старика случайно коснулась ее груди, и она тут же отскочила, борясь с поднимающейся в ней волной желания. Прижав руки к животу, она пыталась заглушить свои мысли образами гидропонных полей, голубей, моря, неба, чего угодно...

Возникшие в ее воображении черты молодого человека растаяли и превратились в морщины старика, фигура поникла и сгорбилась.

Старый Иеремия посмотрел на нее печальными глазами.

— Не я, Джилли,— сказал он тихо,— и мало кто из мужчин в эти дни, я думаю. Что поделаешь?..

Как-то через неделю Дэвид сказал ей:

— Джилли, я бы хотел, чтобы ты сходила со мной к Иеремии.

Они прогуливались по гидропонным полям глубоко Внизу. Воздух был насыщен влагой, а ряды низко висящих светильников давали так много тепла, что по их лицам сбегали капельки пота. Джилли отверну-

лась, чтобы Дэвид не заметил выражения ее лица: стыдась проявления своих эмоций, она не приходила к Иеремии всю неделю.

— Зачем?

Рядом поливал растения рабочий в черной рубашке. Он поднял глаза, увидел Джилли, и его бледное лицо исказилось в беззубой ухмылке. Как бы случайно он наступил на шланг, и струя теплой воды брызнула Джилли на ноги и на юбку.

Дэвид никак не отреагировал на случившееся: женщины спускаются Вниз на свой страх и риск.

— Нужно сообщить ему новость о программе строительства,— объяснил он. — Совет ратифицировал решение Комитета вчера вечером. Сентиментальность ни к чему хорошему не приведет. Мы должны строить над Иеремией. Вчера ночью было еще одно землетрясение,— добавил он многозначительно.

Джилли хотела возразить, но тут Дэвид схватил ее за плечо.

— Слушай,— прошептал он.

Откуда-то издалека, с другого конца огромной камеры донеслось слабое эхо, какой-то неясный высокий звук, похожий на пронзительный крик в несколько голосов. Он то поднимался, то снова стихал. Слов было не разобрать, только бесконечная тоска слышалась в нем.

— Бегуны! — сказал Дэвид. — Надо скорее уходить.

Они быстро двинулись по проходу между баками, пригибаясь, чтобы хоть немного скрыться под низкой стеной зеленых кустов. Вопли слышались ближе, где-то между ними и лестницей на выход. Дэвид резко остановился, упал на колени и жестами приказал Джилли сделать то же самое. Согнувшись, но все равно чувствуя себя уязвимой и на виду даже в этом положении, она смотрела сквозь ветви в направлении, откуда доносились крики, и наконец увидела шесть покачивающихся над стеной растительности голов. Бегуны шли по проходу, пересекавшему тот, где прятались они, в тридцати ярдах впереди. Джилли задержала дыхание, когда группа с воем и диким улюлюканьем достигла перекрестка. Оказавшись в проходе, Бегуны вдруг, словно голуби Иеремии, развернулись все разом и двинулись в их сторону.

Джилли вскочила, Дэвид тоже.

— Беги! Я их задержу! — крикнул он, поворачиваясь к преследователям. Те, заметив пару, бросились бегом. Вой сменился нечеловеческим воплем предвкушения триумфа. В грязной одежде, с безумными глазами и перекошенными от крика ртами, они неслись прямо на них, шлепая босыми ногами по мокрому каменному полу. Джилли перебралась через низкую ограду и побежала, разбрызгивая воду, по гидропонному полю. Спутанные корни растений то и дело цеплялись за ноги; одну туфлю она потеряла, но продолжала бежать.

— Догоняй, Дэвид,— крикнула она, увидев через плечо, как ее защитник оторвался от дерущейся толпы и вслед за ней перебрался

через ограду. Под яростные крики преследователей, отражавшиеся от высокого потолка, Дэвид догнал ее и, схватив за локоть, потянул вперед.

— Можем успеть к центральной шахте,— задыхаясь, проговорила Джилли — Там есть люк.

Дэвид, не ответив, на бегу показал рукой налево. До сих пор ее глаза были прикованы к толстой колонне вдаль, наполовину скрытой испарениями, к сияющей башне, которая поднималась посреди поля и исчезала в потолке, но теперь она взглянула в том направлении, куда указывал Дэвид. Оттуда приближалась уборочная машина. Огромный агрегат, состоящий из загрузочных бункеров и мелькающих внизу лезвий, катился по камере, занимая всю ширину поля от стены до стены. Подбрасывая изумрудный водопад срезанной зелени и выплескивая его в бездонные бункеры, машина неумолимо приближалась к ним.

— Вперед! Успеем! — крикнул Дэвид.

Всхлипывая, Джилли продолжала бежать. Вторая туфля тоже осталась где-то позади, и грубые корни больно резали ноги. Комбайн подошел совсем близко. Она старалась не смотреть на гремящие лезвия, хищно сверкающие в искусственном свете. Позади раздались предупреждающие крики, едва слышные сквозь грохот машины, но в этот момент что-то твердое и неподатливое ударило Джилли по ногам, и она, невольно вскрикнув, упала вперед. Потом оказалось, что она, зажав руками уши, лежит на твердом полу. Сухом.

— Все в порядке, Джилли. Вставай. — Дэвид положил руку ей на плечо и помог подняться. Дрожа от волнения, она встала, опираясь на его руку.

Они попали в коридор за гидропунной камерой. Джилли споткнулась, не заметив разделительной перегородки. Уборочная машина прошла вровень с ними и настигла шестерых бегунов в середине поля. Джилли замерла не в силах оторвать взгляд.

Очевидно, помешательство не до конца лишило их разума. Пятеро сразу бросились ничком на землю. Но шестой продолжал отступать перед лезвиями, вытянув руки вперед, будто пытался отогнать машину прочь. Его рот был широко открыт, но грохот заглушал крик. Внезапно он повернулся, собравшись бежать. Лезвия ударили его по ногам прямо над коленями.

В ужасе Джилли успела заметить, как безногое искореженное тело подбросило назад в бункер, но Дэвид тут же оттащил ее прочь.

— Быстрой! — прокричал он. — Они бросятся за нами, как только машина пройдет.

Схватив Джилли за руку, Дэвид потянул ее вперед. Спотыкаясь, она двинулась за ним, и наконец, выбившись из сил, они добежали до центральной шахты. Дэвид открутил колесо и открыл люк. В лицо ударило горячим смрадным воздухом.

Джилли остановилась на первой перекладине, и в этот момент резкий порыв воздуха взметнул вверх ее одежду.

— Ты идешь или нет? — спросила она невнятно, потом ухватилась за перекладину повыше, свободной рукой опустила мокрую, прилипшую к лицу ткань платья и озабоченно посмотрела на него. Взгляд Дэвида скользнул по ее ногам, и к страху на его лице добавилось какое-то новое выражение.

— Там, Наверху, шахта открыта в Атмосферу, — нервно пробормотал он, избегая ее взгляда.

— Перестань валять дурака, Дэвид, — прикрикнула на него Джилли. — Здесь восходящий поток, ты сам это видишь. Быстро внутрь и лезь вверх!

Вновь раздавшиеся на поле вопли убедили его: Бегуны возобновили преследование. Он перекинул ноги в шахту и полез за ней.

Перебирая руками, они торопливо поднимались в сгущающейся тьме, и вскоре свет из открытого внизу люка превратился в крошечный диск. Смердный воздух жалил ноздри и веки Джилли: она взбиралась с закрытыми глазами и старалась дышать совсем неглубоко. Один только раз она взглянула вниз, увидела дергающуюся на фоне кружка света голову Дэвида, а затем снова зажмурила глаза, стараясь не думать об ужасной бездне внизу. Они миновали несколько люков, потом наконец решили, что будут в безопасности, и, открутив выступающее из стены колесо, выбрались в ярко освещенный коридор. Джилли помогла Дэвиду вылезти из шахты, он захлопнул за собой люк и прислонился к стене, переводя дыхание. Оказалось, что они в коридоре Уровня-12. Люди проходили мимо, оглядываясь на них с удивлением и любопытством. Но в остальном все выглядело успокаивающе нормально.

— Это последний раз, когда ты ходила Вниз, — произнес наконец Дэвид. — Для женщин и детей место Наверху. Будь добра, впредь оставайся там.

Поняв, что он просто старается проявить заботу, она не стала спорить и спросила его о Бегунах.

— Это случается время от времени, — объяснил он. — Группа рабочих вдруг сходит с ума. Что-то вроде истерии нападает на одного, потом присоединяются остальные. Мне довелось видеть, как «бегали» сразу двадцать человек. Они просто бегали и кричали. Мы пробовали брать их Наверх и показывать им небо, но от этого становилось только хуже. Их надо усыплять на день-два.

— А что бы они сделали? Если бы догнали нас?

Дэвид застыл.

— Они убили бы тебя, — ответил он холодно. — Только это и ничего больше. Там, Внизу, женщин не любят.

Часом позже они уже были у двери в комнату Иеремии.

— Говорить буду я,— сказал Дэвид. — Я бы не хотел все испортить сразу, только потому что вы поддерживаете дружеские отношения. Для начала официальные дела. Потом, если необходимо, ты можешь проявить женское сочувствие. Ладно?

— Ладно. — Джилли, все еще возбужденная после погони, подчинилась.

Дверь отворилась вовнутрь, и она увидела в комнате знакомую сгорбленную фигуру.

— Здравствуй, Иеремия,— произнесла она, сдерживая волнение.

— Джилли! — обрадованно воскликнул старик. — Рад тебя видеть. Скучал без тебя всю неделю. Ты привела своего друга? Очень хорошо. Входите... — Он сделал шаг в сторону, пропуская их в комнату, потом подтащил кресла. — Садитесь, садитесь...

— Э-э-э... Иеремия,— деловым тоном произнес Дэвид, пока они не разговорились о пустяках. — Это официальный визит. Я представитель Жилищного Комитета. Меня зовут Дэвид Бэнк...

— Но ведь ты друг Джилли? — озабоченно спросил Иеремия.

— Э-э-э... Да, но...

— Рад познакомиться, Дэвид. Очень немногие молодые люди теперь даже поглядывают на женщин. Джилли хорошая девушка. Она просто заслуживает мужа. Когда вы собираетесь пожениться?

— Мы не собираемся,— отрезал Дэвид.

— О... — Иеремия перевел взгляд с Дэвида на Джилли, потом обратно и пробормотал... — Ясно... Насколько я понимаю, ты из Стабилизаторов?

— Да.

В наступившем молчании Джилли срочно пыталась придумать, что бы сказать. Визит разочаровал Иеремию. Он всегда относился к ней как к дочери или, скорее, как к внучке, и она прекрасно знала, как важно ее счастье для старика. Взгляд ее остановился на столе в углу.

— Что с голубем? — спросила она. — Почему он не со всеми Снаружи?

Иеремия подошел к столу и вернулся, держа птицу в руках. Через ее открытую грудную клетку был виден сложный, тонкий механизм.

— Он зацепился крылом, когда возвращался вчера вечером,— произнес старик с сожалением. — И теперь не может летать.

Дэвид недоверчиво посмотрел на окно в потолке и спросил:

— Надо думать, там есть шлюзовая камера?

— О, да. Птицы открывают люк снаружи сами, а потом, когда они все внутри, я выпускаю их в комнату. — Старик глядел на Дэвида с растущим беспокойством.

— Большой шлюз?

— Не знаю. Примерно четыре кубических ярда, я думаю. — Старик опустил глаза.

— Что? Ты хоть понимаешь, что каждый раз, когда открываешь люк, ты выпускаешь четыре кубических ярда Атмосферы в Фестив?

— В мою комнату, — поправил его старик, поднимая взгляд. — И я все еще жив, не так ли?

— Старый глупец! — взорвался Дэвид. — Ты, может быть, лишил себя десяти лет жизни!

— Десять лет... — тихо повторил старик. — Это большой срок... Однако откуда ты можешь знать? Откуда ты знаешь, сколько бы я прожил? И вообще, откуда ты знаешь, что Атмосфера ядовита?

— Посредством инструментов, разумеется. У нас есть радиометры. Мы часто снимаем показания. Часто.

— Как часто?

— Я не знаю. Всем этим занимается Совет. Не все же мы специалисты, черт побери!

Иеремия улыбнулся:

— А Совет целиком состоит из мужчин?

— Что, если это и так? Цифры не лгут.

— Интересно, что бы увидели в этих цифрах женщины, если бы информация была доступна всем? — спросил Иеремия, глядя на Дэвида в упор.

— Что ты имеешь в виду?

— Я имею в виду, что у нас нет оснований считать выход Наружу опасным. Я имею в виду, что мужчины боятся выходить Наружу гораздо больше, чем женщины. Мы прожили Внутри так долго, что уже сама мысль об Атмосфере пугает нас. «Так почему бы не продолжать поддерживать статус-кво? — говорят некоторые. — Почему бы не убедить людей, что Атмосфера все еще радиоактивна? Тогда все эти люди у власти, которые боятся свежего воздуха, смогут продолжать править из своих маленьких уютных герметичных камер. Почему бы не создать Стабилизационную партию, целью которой будет снизить рождаемость?...»

— Это не единственная цель партии, — возразил Дэвид.

— Продолжай, Иеремия, — попросила Джилли.

— Видишь, Дэвид, — сказал старик. — Джилли нравится то, что я говорю. Это соответствует ее инстинктивным представлениям о возможностях. Я бы хотел, чтобы ты на минуточку представил... Представь себе общество, полностью изолированное от мира и какое-то время само себя обеспечивающее. Его основатели начали свою жизнь под землей, но с ходом лет прирост населения заставил их выйти на поверхность, хотя они продолжали строить все тем же методом: полная изоляция, потому что один вдох отравленного воздуха означает мгновенную смерть. Они строят вверх, так как их остров мал. Строительные

материалы, добываемые из-под земли и из окружающего моря, получать все труднее, а население продолжает расти. Представь себе Фестив. И представь себе, как следствие, отношение к проблеме в человеческих умах. Воздух Снаружи ядовит. Колония не способна больше расширяться. Существующие с самого начала фабрики по производству продуктов тоже не могут быть расширены: не хватает знаний и материалов. Все — и мужчины, и женщины — приходят к одному решению: рождаемость надо сократить.

— И женщины тоже? — скептически поинтересовался Дэвид.

— Да, в то время они соглашались. Все это гипотеза не забывай. Давай предположим, что идея сработала, и население стабилизировалось. Но у всех и каждого где-то в глубине сознания хотя бы изредка мелькает уверенность, что машины не вечны, что рано или поздно выйдут из строя либо воздухоочистительные сооружения, либо пиле-фабрика, либо электросеть. Когда-нибудь произойдет такая основательная поломка, что имеющиеся у нас знания и материалы ничем нам не помогут.

Иеремия сделал паузу, чтобы все прониклись смыслом сказанного, и в маленькой комнате наступила тишина. Дэвид невольно вздрогнул, когда комнату чуть тряхнуло при очередном подземном толчке. Взгляд Джилли остановился на лице старика. Они никогда не говорили на эту тему, но ей казалось, что она знает, к чему он ведет.

Наконец Иеремия продолжил:

— Когда-то была такая штука — Природа. И у нее была привычка так или иначе следовать своим курсом. «Брать свое» — так, кажется, говорили. Так вот Природа проникла в рукотворный Фестив и взяла свое. Она пытается заставить колонию расширяться и вырваться из заточения, пока еще не поздно. Человеческим ограничениям на рождаемость она противопоставила многодетность. Женщины, не понимая, почему, стали агрессивнее. Мужчины укрылись в нижних уровнях колонии, проповедуя Стабильность языком логики. Женщины же, подчиняясь интуиции, перебрались на верхние этажи, потому что это ближе к Внешнему Миру.

Иеремия взглянул на молодого человека в упор:

— Тебе что-нибудь это напоминает, Дэвид? Ты представляешь себе, как мужчины жмутся около ломающихся машин, а женщины тянутся к свету? Похоже это на Фестив?

Лицо Дэвида побелело. Он взглянул на Джилли, и та вздрогнула, заметив в его глазах озлобление.

— Никогда в жизни не слышал столько глупостей сразу, — сказал Дэвид холодно. — Твое счастье, что ты друг Джилли.

Он заставлял себя говорить спокойно, и Джилли вдруг с сочувствием поняла, что его логике только что была противопоставлена другая логика, его мужскому превосходству угрожал другой мужчина.

— Все, во что я верю, не имеет значения,— тихо произнес Иеремия. — Я не доживу до перемен.

— Это будет иметь для тебя значение, старик, когда твое окно в небо закроют! — в запальчивости повысил голос Дэвид. — Когда ты не сможешь больше запускать своих птиц, потому что над тобой построят три этажа. И можешь быть уверен, это случится скоро.

Увидев, как изменилось лицо Иеремии, Джилли догадалась, что Дэвид попал в самое больное место.

Джилли двигалась по заполненному народом коридору Уровня-8, как всегда ощущая покалывание чувства, вызванного присутствием мужчин вокруг. Этот коридор нравился ей больше других: здесь мужчин и женщин было примерно поровну в отличие от угрюмых «мужских» Нижних уровней или лишенных надежды «женских» Верхних. То и дело она задевала неосторожного пешехода, весело извиняясь и чувствуя восторг от простого прикосновения. В этом коридоре ей не было стыдно за свои действия: все женщины вели себя так же, а мужчины привыкли к этому. «Если бы они еще и как-то реагировали!» — подумала она и на полном ходу, на этот раз ненамеренно, столкнулась с мужчиной, который в самом деле отреагировал, схватив ее за плечо и удерживая на расстоянии вытянутой руки.

— Извините! — весело произнесла она и тут увидела его лицо. — Дэвид!

Целую неделю он, очевидно, избегал ее. Она звонила ему на работу, но там отвечали, что он занят. Пробовала застать его в комнате, где он жил, но никто не открывал на стук. После нескольких дней она сдалась, решив, что связывавшие их узы растаяли, как это часто бывает в таких случаях. Но сейчас, похоже, он хотел с ней поговорить.

— Привет, Джилли,— произнес он намеренно нейтральным тоном, все еще удерживая ее, словно боялся, что она убежит. — Давно тебя не видел. Мы можем поговорить?

Совершенно ошеломленная нахлынувшими при виде его чувствами, Джилли не сразу нашла, что сказать.

— Здесь... Здесь недалеко есть комната отдыха, наконец пролепетала она.

К счастью, комната оказалась пустой, и можно было поговорить спокойно. Джилли села в кресло, но Дэвид продолжал стоять, нервно перелистывая номер «Жизни Фестива» месячной давности, оставленный кем-то на столе.

— Пишут, продукция гидропоники возросла,— ни с того ни с сего сказал он. — Э-э-э... Джилли, я извиняюсь за тот раз.

— Ничего, все в порядке.

— Я имею в виду то, что сказал Иеремии. Виноват. Потерял голову. Может... Может быть, он и прав. Даже не знаю... Если бы... — Он

поднял взгляд, и на щеках его появились красные пятна. — Мне не удалось убедить Жилищный Комитет изменить решение. Но я смог немного оттянуть исполнение.

Джилли справилась со своими чувствами, и в ней проснулась извечная женская язвительность.

— Что это ты вдруг поменял свое мнение? — спросила она.

— Э-э-э,— неуверенно начал Дэвид. — Я заглянул в записи Совета. Не исключено, что Иеремия прав. Насчет фальсифицированной информации для публики. О показаниях радиоактивности и прочего...

— Что ты имеешь в виду? Что сказано о данных по радиоактивности?

— Там нет никаких данных. Ничего нет. — Голос его дрожал от волнения. — Никто не снимал этих показаний больше ста лет! Как это могло случиться, Джилли?

— Просто там Внизу Они довольны существующим положением и всегда будут довольны. Как сказал Иеремия, столько поколений прожило Внутри, что они просто боятся выходить Наружу. Им нравится все, как есть.

— Не фантазируй,— сказал Дэвид серьезно. — То, что нет никаких данных, еще не означает, что нет радиации.

— Дэвид, мы подвергаемся маленькому воздействию радиации уже очень давно. С тех пор как Фестив начал строить надземные этажи. Может, мы уже приспособились?

— Может.

— Тогда... — Она резко встала и схватила его за руку. — Значит, ты почти уверен в правоте Иеремии и лживости Совета, но просто боишься выйти Наружу?

— Да,— ответил он, не поднимая глаз. — Я ничего не могу с собой поделать, Джилли. Я боюсь Атмосферы и знаю, что не смогу ею дышать. Дело не в радиации... Я просто ей не верю.

Джилли притаилась за батареей горизонтальных труб охлаждения и подождала, пока пройдут рабочие. Группа из пяти человек с инструментами в руках проследовала мимо, направляясь куда-то по своим делам. Сквозь узкие просветы между трубами Джилли видела их пустые, почти бездумные лица. Легко представлялось, как эта группа сходит с ума: их глаза выдавали состояние шокового отупения, отделенного от истерии всего одним шагом. Джилли решила подождать... Предыдущим вечером она была у Иеремии, и они заговорились за полночь. Старик рассказывал ей об устройстве Нижних уровней. Все, что видел и слышал за свою долгую жизнь. Больше всего ее заинтересовало описание Ангара номер один — единственной конструкции, построенной на уровне земли, как говорили, еще в то время, когда строился сам Фестив. Это сразу всколыхнуло ее любопытство. «Почему

одно здание на поверхности, когда все остальное спрятано под землю? Для чего его строили?»

Иеремия никогда не был внутри, но знал, что туда можно попасть через Нижние уровни: сверху и на уровне земли входов не было. Когда Фестив разросся, Ангар номер один оказался окруженным с трех сторон другими помещениями и в конце концов затерялся под массой города.

Но четвертая сторона Ангара была обращена к морю...

Рабочие прошли мимо и скрылись за ярко-красной дверью в конце большого помещения, захлопнув ее за собой. Джилли выбралась из укрытия и огляделась. Она находилась где-то в самой середине Нижних уровней, совсем недалеко от гидропонных плантаций. Теперь нужно было двигаться в восточном направлении от комнаты к комнате, избегая открытых коридоров, и Джилли пожалела, что не взяла с собой Дэвида.

Слева располагались громады генераторных установок. Следуя указаниям Иеремии, отсюда надо было идти через механические мастерские, пока не доберешься до восточного края Фестива — каменной стены, отмечающей границу Нижних уровней. Там, как сказал старик, она найдет вход в Ангар номер один.

В комнате никого не было. Джилли быстро двинулась к зеленой двери в стене рядом с той, через которую ушли рабочие, и приоткрыла ее. За дверью оказалось большое ярко освещенное помещение с множеством станков, прессов и других машин, на которых работали мужчины. Некоторые из них ходили между станками, наблюдали и отдавали распоряжения. Джилли обдало горячим воздухом, пахнущим маслом и металлом. Грохот стоял невыносимый.

— Я могу чем-нибудь помочь?

Джилли испуганно обернулась. Ее пылливо разглядывал высокий мужчина. Страх, всколыхнувшийся было в ней, исчез: незнакомец, похоже, не представлял опасности.

— Я... Я просто смотрела, — сказала она несмело.

— Странно, что молодая женщина интересуется такими вещами да еще и приходит сюда одна, — заметил мужчина и, подумав секунду, добавил. — Впрочем, если позволишь, я покажу тебе, что тут есть. Здесь, Внизу, тебе лучше быть с кем-нибудь. Меня зовут Эндрю Шоу.

— Джилли... Джилли Адамс. — Она пожала протянутую руку, чувствуя себя в какой-то неестественной, комической ситуации: последний час она пробиралась от одного укрытия к другому в страхе за свою жизнь, а первый же человек, которого она встретила, оказал ей самый радушный прием.

— Я здесь Смотрителем, а ты, похоже, шпионила за Ремонтным отделом. — Его улыбка обратила слова в шутку, и Джилли тут же решила, что он ей нравится.

Во влажном воздухе ее одежда липла к телу, и когда Эндрю Шоу взял ее за руку, Джилли пришлось сделать над собой усилие, чтобы вернуть разбегающиеся мысли в нужное русло: она пришла Вниз только с одной целью — обследовать Ангар номер один.

Следующие полчаса Шоу объяснял ей работу отдела, водил от станка к станку, представляя ей сварщиков, токарей, сверловщиков, резальщиков, — к ее разочарованию, никто из них не отреагировал на присутствие в мастерской женщины. Затем Эндрю привел ее в свой кабинет — маленькую комнатку с большими застекленными окнами, откуда просматривалось все помещение цеха. Одернув юбку, она села. Удивленно ее разглядывая, Шоу прислонился к стене.

— Ты не глупая девушка. Думаю, ты понимаешь, что я тоже не глуп, и теперь, может быть, расскажешь, зачем на самом деле сюда пришла?

Смутившись, она опустила глаза.

— Я слышала рассказы, — сказала она, — и хотела узнать, что происходит тут Внизу. Мне было интересно. Хотелось узнать, как вы тут живете, я имею в виду, мужчины.

— Ты рассуждаешь совершенно по-женски, — открыто рассмеялся Эндрю. — Вы никак не можете поверить, что мужчины в состоянии прожить без вас. Уверяю тебя, у нас тут все отлично. Мы целиком заняты работой, которая в основном направлена на то, кстати, чтобы вы там Наверху продолжали жить.

— Извини. — Она взглянула через окно на рабочих. Они действительно казались более-менее счастливыми. По крайней мере их работа приносила ощутимую пользу, чего часто не хватало тем, кто жил Наверху. — А Бегуны?.. В твоём отделе они бывают?

— Случается, — признал он. — Я никак не могу понять, отчего.

— Может быть, жить полезной жизнью недостаточно? — предположила Джилли. — Может, им не хватает чего-то еще, но они сами не понимают, чего?

— Ты имеешь в виду женское общество? — Эндрю нахмурился. — Я этого не замечал.

— Нет, я тоже не об этом. Я хочу сказать... — Она запнулась. — Как ты чувствуешь себя здесь, Внизу, находясь все время взаперти?

— Нормально, — удивленно глядя на нее, ответил он. — Я здесь родился и всегда здесь жил. Я не чувствую себя взаперти. А как ты себя чувствуешь, Джилли?

Она отвела взгляд в сторону. Внезапно ей захотелось довериться кому-нибудь, кто моложе Иеремии, но кто так же способен понять ее точку зрения.

— Я хочу выбраться отсюда, — пробормотала она. — Наружу, в Атмосферу. — Голос ее стал выше. — Я хочу, чтобы можно было стоять на крыше без скафандра, без всего и ощущать, как на меня

падает дождь. Без стен и крыш... — Она чувствовала смутно и с опозданием, что теряет контроль над собой, что по ее щекам текут слезы. — Я хочу замуж за Дэвида, хочу много детей, хочу выбраться с Фестива в какое-нибудь большое место... Континент... Хочу, чтобы можно было лежать на воздухе, спать под открытым небом, и не могу ничего этого, потому что я заперта здесь, потому что мне никак не вырваться... — Ее голос поднялся до невнятного крика, но она не могла остановиться. Резкая боль встряхнула ее и вернула к действительности. Эндрю стоял рядом с ней: он ударил ее по лицу. В ужасе она глядела на него затуманенными от слез глазами.

— Ты спрашивала про Бегунов? — сказал он. — Вот так они и начинают. Извини, что мне пришлось это сделать, Джилли.

Он наклонился и поцеловал ее в губы.

После этого ей показалось совершенно естественным попросить его показать Ангара номер один, и он без колебания согласился. Никто не делал из этого тайны, хотя далеко не все знали о его существовании. Эндрю признался, что его заинтриговал ее интерес к Ангару, хотя она и не могла объяснить, что надеется там найти. Для него самого это место было чем-то вроде музея.

Они взобрались по спиральной лестнице у грубой каменной стены, отмечавшей подземную границу Фестива, прошли через незапертые двери и, держась рядом, принялись осматривать древние чудеса Ангара номер один.

Там хранились машины, много машин, огромных и непонятных, напоминающих Джилли тараканов, что водились Наверху в пищеблоках, но в своем техническом совершенстве гораздо менее отталкивающих. Стоя под чудовищем на колесах с длинными изящными лопастями наверху, Джилли решила, что оно даже красиво. О назначении машин она могла только догадываться, но было ясно, что они не относятся к обычному оборудованию Фестива. Автономные, подвижные машины, созданные совсем не для помещения, где они сейчас хранились. Они были созданы для Атмосферы, для того, что Снаружи.

Джилли и Эндрю бродили среди машин, пытаясь угадать, для чего они предназначены, и в самом конце Ангара, где высокие стальные двери отгораживали помещение от Наружной Атмосферы, они нашли длинное низкое устройство.

— Это лодка, — произнесла Джилли уверенно, вспомнив рассказы Иеремии. — Для передвижения по морю.

— Зачем? — спросил Эндрю.

Джилли взглянул на него с сожалением: он просто не умел мечтать, как она. Другими словами, он не подойдет...

Через полчаса они расстались у основания лестницы к наземному уровню. Джилли протянула руку, прощаясь.

— Прощай, Эндрю.

— Прощай, Джилли. Заходи в любое время...

— Спасибо,— сказала Джилли. — Мне может понадобиться твоя помощь. Возможно, скоро,— с надеждой добавила она.

— Не исключено, что... Скоро у меня будут неприятности из-за того, что я сделал в кабинете... Нас видели много людей. Не знаю, что на меня нашло. Я член Стабилизационной партии, понимаешь... Должен показывать пример...

— Эндрю, тебе следует оставить партию,— весело сказала Джилли. — Ты не их тип.

Чтобы убедить Дэвида, потребовалось много времени, но Джилли не отступала, снова и снова подчеркивая логичность теорий Иеремии, которые, похоже, подтверждались и ее собственными наблюдениями, и тем значительным фактом, что Совет перестал записывать данные о радиации.

— Уверяю тебя, это безопасно, Дэвид,— твердила она. — Это то же самое, что дышать воздухом Фестива.

Огни мигнули, и комната вздрогнула от еще одного землетрясения. Толчки, сотрясавшие Фестив всю прошлую неделю, достигли невиданной ранее силы, и Джилли охватило чувство срочности: она хотела убедить Дэвида и через него повлиять на Совет раньше, чем учащающиеся аварии энергоснабжения вызовут панику у населения. Или, если это не удастся, ей, возможно, нужно будет показать пример самой...

Перемены в ее Секторе бросались в глаза. Проходя по коридорам, люди недоверчиво поглядывали на стены и вздрагивали при каждом толчке. Несколько раз, когда наступало временное затемнение, происходили вспышки массовой истерии. Джилли на время перевели сестрой в Медцентр, где она работала бок о бок с квалифицированными врачами, и ее сильно тревожило увеличившееся за последнее время количество больных, что обращались за снотворными и психиатрической помощью.

— Но ты-то откуда знаешь, что это безопасно? — вновь спрашивал Дэвид. Он явно хотел верить ей, но сама мысль о том, что нужно будет впустить в легкие необработанный, неочищенный воздух Наружной Атмосферы, вставала перед ним непреодолимым умственным барьером.

Наконец терпение Джилли иссякло.

— Я докажу тебе! — выкрикнула она. — И вот что я тебе еще скажу: я могу найти человека, который согласится пойти со мной, если он узнает то, что знаешь о Совете ты. Ты трусишь, Дэвид. Так вот, чтобы доказать тебе, я выйду на крышу без скафандра, а ты будешь смотреть.

— Я не позволю тебе,— пробормотал он.

— Попробуй меня остановить!.. А потом, когда я пройдусь по

крыше при всех, кого только смогу собрать, я отправлюсь Вниз, чтобы взять ту лодку, и, если ты не пойдешь со мной, я найду кого-нибудь еще! — закончила она, чуть не плача, и, с презрением взглянув на растерянное лицо Дэвида, выбежала из комнаты.

Он догнал ее всего в двух этажах от крыши. В этом месте монолит каменной стены нарушался одним из немногих на Фестиве окон. Джилли остановилась и, вытянув шею, взглянула на штормовое небо над противоположной стеной. Внизу виднелось потолочное окно Иеремии, а за ним можно было разглядеть фигуру старика, расхаживающего по комнате. Джилли оказалась как раз у единственного на ровной крыше колодца, через который вылетали и возвращались голуби и из-за которого было столько споров. Кто-то схватил ее за руку.

— Не делай глупостей, Джилли. — Дэвид пытался придать голосу успокаивающую интонацию, но сквозь нее прорывалась беспомощная тревога.

Она попробовала высвободиться, но Дэвид держал ее крепко. Стала собираться небольшая толпа любопытных. Мужчины и женщины, улыбаясь, обступали их все ближе и ближе.

— На нас обращают внимание,— прошипела Джилли, вырываясь. — Отпусти меня немедленно!

— Меня не интересует, что они подумают,— громко ответил он, с вызовом оглядывая лица вокруг. — Я не позволю тебе убить себя.

Тут Джилли бросило на пол, и на мгновение она подумала, что Дэвид потерял контроль над собой. Но, упав, она почувствовала, как вздрагивает под ней пол, и в этот момент поднялся крик. Кто-то упал на нее сверху, прижал к вздымающемуся полу, и, повернув голову, она обнаружила лицо Дэвида рядом со своим.

— Землетрясение! — прокричал он, хотя это и так было ясно. — Сильное!

В глазах его застыл страх. Джилли попыталась подняться, но тут еще один толчок встряхнул Фестив до самых его уходящих в океан корней, и она снова упала, обхватив голову руками, прислушиваясь к крикам, плачу и бьющемуся звуку в собственном горле, что сливались в едином голосе всей колонии, словно этим воплем люди надеялись отпугнуть чудовище-Землю, разрушающее остров.

В неожиданно наступившей затем тишине даже звук отваливающейся штукатурки и падающих с потолка камней казался громким. Пол перестал дрожать. Джилли поднялась на ноги, искала глазами Дэвида и увидела, что тот тоже встал, потирая руками голову. Он на нее не глядел, и Джилли почувствовала укол раздражения от того, что Дэвид не обеспокоен ее состоянием, затем заметила выражение его лица. На нем застыл обнаженный страх: Дэвид, не отрываясь, смотрел на окно, и, проследив за его взглядом, Джилли увидела, как отваливаются куски от треснувшего стекла...

Большие клубящиеся облака мгновенно заполнили коридор. Джилли заметила, как женщины и мужчины прижимают руки к горлу в судорожных попытках вздохнуть. Хриплые крики и сдавленный кашель людей смешались в неразборчивый шум. Сдерживая дыхание, Джилли подхватила Дэвида и бросилась прочь от окна. Вскоре зазвучал аварийный сигнал, но они уже добрались до комнаты отдыха и метнулись внутрь, захлопнув за собой дверь. Через какое-то время послышался топот одетых в скафандры людей из Спасательной Службы, бегущих к месту аварии, чтобы запечатать пролом и эвакуировать пострадавших. В наступившей затем тишине Дэвид мрачно взглянул на Джилли.

— Вот тебе твои теории,— сказал он суровым тоном и закашлялся. Лицо его покраснело, по щекам текли слезы.

Реплика не требовала ответа, и Джилли промолчала, думая о людях, оставшихся в коридоре. Поспеют ли к ним спасатели?..

— Мне нужно в Медцентр, Дэвид,— сказала она наконец. — Там сейчас будет много работы.

— Подожди немного. Пусть спасатели залатают окно и очистят воздух. Тогда можешь идти к себе в Медцентр, а я займусь Иеремией и пришлю бригаду строителей. Ничего этого не случилось бы, если бы ты не убедила меня оставить его в покое. Господи, нам еще повезло, что не треснула стена. Весь сектор в этой области крайне ненадежен.

Они сидели молча, не глядя друг на друга, пока не прозвучал сигнал отбоя тревоги.

Джилли постучала в дверь Иеремии и, услышав голос Дэвида, вошла. В комнате царил беспорядок, на полу валялась осыпавшаяся штукатурка. Иеремия, сгорбившись, сидел в кресле. Дэвид стоял в нерешительности: очевидно, он уже собирался уходить.

— Сколько человек умерло? — спросил он строго, взглянув при этом на старика.

Джилли ответила не сразу:

— Двое. Но...

— Двое! — повторил Дэвид. — Два человека умерли только из-за сентиментальности Комитета по отношению к этому старику. Что еще можно добавить, Джилли? Короче, я сказал ему, чтобы он складывал вещи и перебирался в другое помещение на время строительства. Потом он сможет вернуться. Это единственное, что я могу сделать. Но я не виню его — только себя и Комитет.

Иеремия с трудом поднялся и надел дыхательную маску, потом взобрался к окну в потолке и впустил вернувшихся голубей. Вместе с электронными птицами в комнату ворвались несколько кубов белой Атмосферы.

— Ты только посмотри,— заметил Дэвид. — Я думаю, он все время знал. Каждый день он видел, как эта гадость попадает в комнату,

и никому не сообщал. Он слишком увлечен своим занятием, чтобы беспокоиться о Фестиве.

Иеремия оторвался от проверки птиц и поднял взгляд.

— Я не думал, что это имеет значение,— сказал он тихо. — Так не всегда бывает, только когда Снаружи штормит, летом. Я полагал, что это туман. Все знают, что генераторы там, Внизу, работают неважно, и я догадался, что давление внутри Фестива чуть ниже чем Снаружи, кроме того, тут холоднее. Я думал, что это конденсируются водяные испарения. — Он с мольбой взглянул на Джилли и пробормотал: — Как пар над котелком...

— Чушь! — отрезал Дэвид. — Ты просто придумываешь себе оправдания. Это ничего тебе не даст.

— Дэвид... — начала было Джилли.

— И ты тоже! Ты веришь во что хочешь, как все женщины. Ты игнорируешь факты... Двое умерли, не забывай. Я сам мог умереть... Ведь я едва дышал. Я убедился на собственном опыте. И очевидно, мне тоже следует обратиться к врачу: один бог только знает, сколько яда я принял в легкие.

— Можешь не беспокоиться, Дэвид.

— Что?

— В твоих легких нет яда. Я только что из Медцентра. Те двое умерли не от отравления: у них было слабое сердце. Все остальные совершенно здоровы.

— О чем ты говоришь? — покраснев, зло спросил Дэвид. — Ты хочешь сказать, что мне померещилась эта белая отравка? Я же говорю тебе, что едва дышал. Я чуть не задохнулся, ты сама видела.

— Видела... Но ты задыхался вовсе не потому, что Атмосфера отравлена: когда ты заметил, что окно разбилось, у тебя рефлекторно сжалось горло. То же случилось и с остальными. Массовый психоз. Ты настолько привык считать Атмосферу ядовитой, что твой мозг принимает это за истину и не позволяет тебе дышать.

— Тогда что там было такое белое? Мы оба видели это.

Джилли улыбнулась:

— Пар, как и сказал Иеремия...

— Нет уж, я предпочитаю верить своим глазам. Я видел, как люди умирали, вдыхая эту дрянь. Сколько раз тебе говорить, что никто не может жить Снаружи?

Иеремия поднял взгляд, глаза его светились радостью.

— Кое-кто может,— сказал он. — Посмотри!

Брови Дэвида невольно поднялись, когда он перевел взгляд с трепыхающегося существа в руке Иеремии на ряд неподвижных выключенных птиц, сидящих на трубчатой перекладине.

— Конечно, у меня не очень точные копии,— заметил Иеремия,— но достаточно точные, чтобы обмануть этого птенца.

Воркующая птица с интересом разглядывала их живыми яркими глазами.

— Не знаю... — пробормотал Дэвид. — Ей-богу, просто не знаю. Может, вы правы. Я не знаю...

Джилли поглядела на него раздраженно и беспомощно:

— Но какие еще доказательства тебе нужны? Ты же сам видишь. Это как раз то, чего мы ждали. Такое доказательство можно предложить членам Совета, а если они не станут слушать, если они хотя бы сделают попытку скрыть новость, мы перевернем Фестив с ног на голову, рассказав людям правду. Мы сможем жить так, как должны: на воздухе, без боязни радиации или какого-нибудь загрязнения. Если в Атмосфере могут жить птицы, то и мы сможем. Ты только представь себе, Дэвид! Мы сможем уехать отсюда, может быть, завтра. Люди увидят нас и пойдут за нами. А если Совет и другие трусы Внизу хотят остаться, это их дело. Но они не могут отобрать у людей шанс на нормальную жизнь.

Дэвид в нерешительности разглядывал птицу.

— А вдруг они не смогут заставить себя дышать Атмосферой даже после того, как мы покажем им птицу? Мы слишком долго прожили на Фестиве, Джилли...

Иеремия, теряя терпение, следил за их разговором. Взгляд его пробежал по маленькой комнате, задерживаясь на каменных стенах, жалком окошке над головой, кучах мусора на полу, потрескавшемся потолке, старой мебели. Он слышал шипение воздуха в трубах, приглушенные шаги и разговоры в коридоре. Принюхиваясь, он по-новому воспринимал запахи Фестива, хотя за долгую жизнь его нос, казалось, должен был к ним привыкнуть. И внезапно Иеремия понял, что все это, все эти впечатления, накопленные в течение жизни, стоят так мало...

Он отпустил голубя. Тот выпорхнул из его рук, перелетел через комнату, уселся на жердочку и с любопытством посмотрел на своих неподвижных соседей. Двигаясь с неожиданной быстротой, Иеремия схватил старый алюминиевый стул и швырнул его в окно на потолок.

— Ну, Дэвид! — закричал он, стоя под остатками стекла в сочащемся сверху белом тумане. — Дыши, черт тебя побери! Дыши!

И Дэвид задышал.

Перевел с английского Александр Корженевский

Воскрешение

I

Автомобиль быстро и бесшумно скользил по дороге, извивавшейся серпантином среди холмов, которые временами заслоняли море от Мэна Коста.

На выходе из-за очередного поворота перед автомобилем возникла стремительно надвигающаяся белая грузовая машина с надписью золотом. Прежде чем Мэн Коста успел что-либо предпринять, все поглотила вспышка в виде луча.

Мэн Коста затормозил так резко, что его автомобиль вылетел на встречную полосу, чудом избежав столкновения. Мэн оставил свою машину на обочине и пошел к грузовику, застывшему на краю обрыва.

Шофера в кабине не было!

— Ух, еще бы немного — и в лепешку, — пробормотал Мэн Коста, поежившись. Затем он возвратился к своему автомобилю и продолжил путь.

«Хорошенькое начало для отпуска», — подумал он.

По спускавшейся с холма дороге навстречу ему бежали, подавая знаки, двое мужчин в комбинезонах. Мэн затормозил, и один из них приблизившись, спросил:

— Вы не видели белый грузовик?

— Который чуть не раздавил меня? — с иронией в голосе прервал его Мэн Коста. — Ваш грузовик там внизу, за поворотом, на краю обрыва.

Сдерживая себя, чтобы не выругаться, он перевел свое внимание на дорогу и так рванул с места, что покрышки его машины противно завизжали.

Но уже несколько часов спустя Мэн Коста не смог бы с уверенностью сказать, произошло ли это на самом деле или пригрезилось.

II

Он открывал глаза очень медленно, удивляясь, что может делать это. Не двигаясь, мысленно окинул взглядом свое тело, в котором боль, как фантом, иногда вызывала биение вен. Затем боль ушла.

Живой! Он был живой!

Последнее, что он помнил, был грузовик, мчавшийся навстречу его автомобилю. Сейчас, когда глаза были открыты, он видел больничную

палату и несколько лиц, склонившихся над ним.

— Поднимитесь,— приказал ему голос.

Сделав небольшое усилие, сел на кровати. Теперь он понял, почему все воспринимал таким странным: зрение изменилось — он видел цвета, которые раньше не замечал. Слух также функционировал по-другому, с большей остротой.

Сев, он обнаружил, что и тело его стало другим и руки — другими; что сам он, как кукла, очень похожая на то, чем он был раньше, но все же не абсолютно...

Кожа была покрыта порами и волосами, но это были поры и волосы не человеческой кожи...

— Как вы себя чувствуете? — прервал его мысли тот же голос, но интонация была уже менее властной.

— Я чувствую себя странно,— ответил он и осекся, не узнав своего голоса.

— Это естественно, но вы не волнуйтесь, сейчас вам все объяснят. Однако давайте-ка вставайте! Походите! Посмотрите в окно!

Он подчинился и почувствовал силу и гибкость новых конечностей.

Направляясь к окну, бросил взгляд в зеркало и едва узнал себя. Он был раздет и, казалось, ничем не отличался от любого другого раздетого человека.

И все же он заметил отсутствие выражения в глазах, натянутость кожи на мышцах, чрезвычайно замедленный темп дыхания. Он мог бы сойти за человеческое существо, но при внимательном осмотре больше напоминал манекен.

Он подошел к окну, и человек, который говорил с ним, положил ему руку на плечо; прикосновение ткани белого халата к коже вызвало целый ряд ощущений и воспоминаний.

Человек в белом халате, не замечая, как он встрепенулся, продолжил:

— Перед вами открывается новый мир, мы вас спасли от смерти, и возможно, вы будете первым человеком, который никогда не умрет.

Эти слова скорее привели его в замешательство, чем успокоили:

— А сейчас одевайтесь, затем мы вам все объясним.

III

Двое в белых халатах готовились к беседе.

— Он не должен знать, что является копией.

— Конечно! Мы внушим ему, что трансплантировали его мозг — это легче понять.

— Необходимо также убедить его и в том, что нельзя выходить за пределы виллы, что мы будем наблюдать за ним, ибо есть опасность, что новое тело может отказать. Он не должен иметь никаких контактов с внешним миром.

Его привели в какой-то кабинет. За овальным столом расположились семь человек; три кресла оставались пустыми. Ему предложили сесть. Все с интересом смотрели на него.

— Господа, позвольте представить вам Мэна Косту,— начал человек в белом халате. — Господин Коста, представляю вам правление компании «Вечность», специализирующейся на страховании жизни. Вы первый, кто прибегнул к реанимационным услугам нашей компании. Вы погибли в автомобильной катастрофе. Да-да! Не удивляйтесь, погибли. Наша реанимационная бригада доставила сюда труп, с тем чтобы трансплантировать ваш мозг, жизнедеятельность которого поддерживалась генератором псевдомозговых волн. Нет-нет, не пытайтесь понять это. Дело в том, что вы находитесь в экспериментальном прототипе искусственного тела, в которое мы пересадили ваш мозг. У тела, обладателем которого вы стали, имеются еще некоторые недостатки, однако, используя мой метод, его можно будет улучшать, трансплантируя ваш мозг в новые тела, более совершенные. Одним словом, вы бессмертны.

Пораженный, Мэн Коста молча слушал монолог специалиста и чувствовал, что присутствующие улыбаются, а глаза их прикованы к его коже...

— Но здесь есть одна деталь,— продолжил говоривший. — Вы должны находиться под контролем «Вечности» до тех пор, пока не оплатите все счета,— вы ведь сделали только два месячных взноса.

— Хорошо,— согласился Мэн Коста, силясь припомнить, когда это он обращался к услугам этой компании. — У меня есть счет в банке, и я мог бы оплатить...

— Нет, нет! — прервал его собеседник, в то время как остальные заговорщически переглянулись. — Эти деньги трогать нельзя — никто не должен знать, что вы живы, так же как никто и не подозревает, что вы мертвы.

— Ваша семья считает, что вы находитесь в поездке,— пояснил другой из присутствующих.

— Вы будете работать на «Вечность», и заработанное вами пойдет на оплату наших услуг. Но вы не будете общаться с внешним миром до тех пор, пока ваше тело не станет функционировать отлично — помните, что оно представляет лишь экспериментальную модель.

— То есть я не смогу выйти отсюда?

— Ну почему же... Вы сможете выходить в парк «Вечности», посещать спортивный комплекс, но сейчас вам нельзя ни приближаться, ни разговаривать с кем бы то ни было из тех, кто не работает в компании. Каждый день вы будете проходить медицинский осмотр. Помните, что мы спасли вас от смерти, и наслаждайтесь жизнью.

«Что означает все это? Похоже на какой-то кошмарный сон». Он ущипнул себя и, сжимая свою новую кожу, почувствовал, что она какая-то странная. Однако место, где он себя ущипнул, заболело — значит, он не спал.

«Он должен выйти отсюда, повидаться с семьей, оплатить то, что задолжал этой странной компании.

Что это за вечная жизнь? Являться лабораторной мышью, помогая совершенствовать тела, которыми наверняка будут пользоваться те, кто в состоянии платить сказочные суммы, в то время как другие...» В его сознании еще раз возникла картина катастрофы, он помнил каждую деталь, но не само столкновение, а все, что произошло за мгновение до этого: в грузовике, несшемся ему навстречу, не было шофера, а надпись, сделанная на нем золотыми буквами, гласила: «Вечность».

Теперь только до него дошло, что смерть его произошла не в результате несчастного случая, а была подстроена для замены тела.

Дабы завоевать их доверие, он притворился, что уступил...

На вилле было неплохо. Каждый день, пройдя медицинский осмотр, во время которого его подвергали многочисленным проверкам, он выходил в парк, посещал гимнастический зал, отдыхал, гулял, плавал в бассейне.

Основное внимание на осмотрах уделялось не психологическому, а физическому его состоянию, то есть не тому, был ли он доволен своим положением или нет, а тому, отвечает ли его здоровье должному уровню и насколько гармонично развито его тело.

Прогуливаясь, он наблюдал за тем, как въезжали на территорию виллы и как покидали ее автомобили и грузовики, изучал маршруты, которыми каждый день пользовались остальные обитатели виллы. Из окна своей комнаты он приметил дороги, подходившие к ограде. Если бы ему удалось выйти незамеченным, он пересек бы рощу, пробежал до шоссе и попросил бы кого-нибудь подбросить его до ближайшего населенного пункта, откуда смог бы позвонить семье.

V

Мэн Коста дождался-таки подходящего момента: когда ворота в парк открылись, выпуская грузовую машину химчистки, он, обманув бдительность охранников, побежал за ней на своих прекрасных новых ногах. Никем не замеченный, проскользнул вдоль ограды виллы, достиг рощи и бросился бежать со скоростью чемпиона. Темп сбавил только когда пробежал до шоссе.

Кто бы ни посмотрел на него сейчас, не заметил бы ничего странного в его облике — в спортивном костюме он походил на тренирующегося человека. Услышав сзади шум мотора, он оглянулся и жестом попросил водителя остановиться. Машина затормозила, и водитель пригласил его сесть. Это был мужчина лет сорока, спокойный на вид.

Когда автомобиль тронулся с места, водитель спросил, не глядя в сторону пассажира:

- Вы курите?
- Нет,— последовал ответ.
- А я закурю, если позволите.
- Конечно!
- Будьте любезны, дайте сигареты, они в «бардачке».

Сигареты были переданы, и водитель опустил левую руку в карман пальто, чтобы достать зажигалку. Вместо нее он вытащил пистолет и дважды выстрелил в Мэна Косту. Тот завалился вперед, лишившись таким образом второй жизни.

Автомобиль развернулся и направился к вилле компании «Вечность».

VI

— Это сложный пациент, ему удалось все-таки обмануть нас.

— В следующий раз мы должны быть осторожнее. Я даже думать не хочу, что бы произошло, если бы копия встретилась с оригиналом.

— Это доказывает, что мы поступили правильно, выбрав для начала человека обычного, среднего достатка, а не одного из тех миллионеров, которые ожидают своей очереди, чтобы поменять тело.

— Специальных законов, определяющих, кто является настоящим человеком, пока еще нет, а наличие копий действующими законами не оговаривается.

— Представляете, доктор, если бы этот взял свои деньги в банке... И он смог бы это сделать, ведь он не имитирует настоящую подпись, а просто подписывается.

— А эта его любовница, как там ее? Ах, да — Диана... Хотел бы я видеть их встречу, хе-хе.

Люди в белых халатах, потягивая коктейли, разговаривали на одной из террас виллы «Вечность». Наконец тот, кто, похоже, был старшим, поднялся и произнес:

— Итак, за работу. Начнем все с нуля.

VII

Он открывал глаза очень медленно, удивляясь, что может делать это. Не двигаясь, мысленно окинул взглядом свое тело, в котором боль, как фантом, иногда вызывала биение вен. Затем боль ушла.

Живой! Он был живой!

Последнее, что он помнил, был грузовик, мчавшийся навстречу его автомобилю...

Перевел с испанского Владимир Чутков

Это любовь, не шутка!

Я искал тебя повсюду... как это всегда бывает. Я создан таким образом, что всегда хочу соединиться с тобой. И вот я вижу тебя в большом зале, где идет представление. Ты проходишь и садишься рядом с М. М. Я тебя вполне понимаю — другого свободного кресла там нет. Улыбаясь, ты вступаешь с ним в разговор. Из вежливости, я думаю. Но я обеспокоен. Средства массовой информации сделали этого М. М. слишком популярным, несмотря на то, что он внутренне совершенно пуст: без сердца, разума, чувств, без самостоятельности. К тому же он занимает пост ГЛАВНОГО ЗАВЕДУЮЩЕГО, и мне очень трудно соперничать с ним. Поэтому я боюсь, как бы он не отбил тебя у меня.

Я стою на улице и смотрю на вас в полуоткрытое окно. В зале темно. Но ваши фигуры ясно выделяются на фоне освещенной сцены. Я вижу, как ты с ним кокетничаешь, и он отвечает тебе тем же. Вдруг он встает, собираясь уйти, видимо, потому что у него назначены срочные дела. Показывает на свои часы, как будто просит извинить его. «Ах! Наконец-то, уходит», — думаю я. Но ты берешь его за рукав и говоришь с ним шепотом, и тебе безразлично, что вас видят все люди в зале. По твоим жестам я понимаю — ты убеждаешь его остаться и пойти на работу позднее. Внутренне я очень огорчен, но все-таки оправдываю тебя. Я знаю, что ты общительна, непосредственна, полна дружелюбия, и тебя часто неправильно понимают.

Ты убедила его, и он снова садится рядом с тобой. Теперь я должен найти какой-то способ войти в зал, по крайней мере для того, чтобы быть в курсе событий. Конечно, я испытываю унижение, потому что такое положение не достойно моего характера и нашей любви. Ревновать и следить за тобой...

Пытаясь найти вход, я огибаю здание и натыкаюсь на троих моих знакомых, среди них и П. П. — мой приятель, встречи с которым трудно избежать. Он сообщает, что мы с ним должны пойти на какое-то заседание, а я отвечаю ему, что это невозможно: «Я должен войти в зал и посмотреть представление». — «Зал битком набит, ни войти, ни выйти, ты и шага не сможешь ступить», — говорит он мне привычным самоуверенным тоном, не терпящим возражений. Я вынужден последовать за ними из страха, как бы они не догадались о моих истинных мыслях и чувствах и из-за боязни выглядеть смешным в их глазах.

Пока мы идем среди ночи по улицам, все больше и больше отдаля-

ясь от места, где осталась ты, я вдруг нахожу удобную возможность убежать от них. Я бегом возвращаюсь и оказываюсь опять в той же самой позиции возле того окна, где стоял вначале. И вот я вижу М. М., шепчущего тебе что-то на ухо чересчур близко, а точнее — его рот прилип к твоему уху, а ты смеешься. Он разговаривает с тобою прилепленным к твоему уху ртом, и это тебя совсем не смущает! Ты улыбаешься! Я понимаю, что он предлагает тебе уйти куда-то, побыть вдвоем, поговорить. Ты согласна. Вы встаете посредине представления, а я слежу за вами в полуоткрытые ставни окна. Высчитываю, сколько времени вам понадобится, чтобы добраться до выхода, и направляюсь туда, чтобы, будто бы случайно, как бы невзначай, встретить вас. Я не хочу, чтобы ты догадалась, что я шпионю за тобой, потому что ты рассердишься, и я могу упасть в твоих глазах.

Я подхожу как раз в тот момент, когда вы выходите из дверей. Я собираюсь сказать ему «катись» в надежде, что он уйдет. Однако когда я приближаюсь к нему, не успев даже раскрыть рта, он бросает мне:

— Катись.

Но ему совершенно не подходит это слово, не идет ему такая фразеология, потому что он не смельчак. Слово выходит из его уст серым и бесцветным.

— Катись! — произношу я тоном, не терпящим возражений.

И раз он сразу не «катится», хватаю его и бросаю на пол. Беру тебя за руку, и мы уходим. Но удаляясь, я постепенно понимаю, что недостаточно поддал ему, мой гнев еще не прошел. Оставляю тебя на мгновение, возвращаюсь и спрашиваю его:

— Значит, ты осмелился сказать мне «катись»?

Мне было наплевать на то, что он **ГЛАВНЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ**. Я сильно его толкнул. Кувыркнувшись пять раз, он падает с ужасным ревом и оглушительным шумом. Он разбивается вдребезги. Из него вылетает множество пружин, винтиков, гаек, цепочек и лампочек. И еще целая охапка проводов, блоков, светильников, механизмов, которые взрываются и тотчас же сгорают, испуская пламя и дым.

Присутствующие бегут сообщить **ПОЛИЦИИ** и **ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ** о происшедшем. Ты осуждаешь меня за мой поступок. Я чувствую себя глубоко несчастным, потому что могу потерять твою любовь из-за пустяка, из-за того, который ничего не стоил.

Ты начинаешь, горбясь, удаляться и советуешь мне сделать то же самое, чтобы другие подумали, что мы старики, и подозрения их не пали на нас. (Уже прибыли полицейские и нашли М. М.). Я объясняю тебе, что твоя идея, конечно, очень разумна, однако, если мы сгорбимся, то не сможем бежать быстро, и нас схватят. При этом я ощущаю: все, что произошло, немного отдалило нас, и я с силой тяну тебя вслед за собою...

Убегая и отрываясь от преследователей, я ощущаю, как понемногу исчезает твоя враждебность. Ты кладешь свою руку в мою, я чувствую, как твои пальцы гладят мою ладонь, и ты слегка склоняешь голову к моему плечу. Неожиданно ты поворачиваешься и улыбаешься мне... Отдаешься мне с нежностью и большим доверием, чем раньше. Я чувствую, как волна энергии переходит из твоего тела в мое, заполняя мои члены, провода и аккумуляторы большим количеством энергии.

Да! Ты — мой генератор, ты — зарядка для моих аккумуляторов. И ты будешь моей навсегда, потому что я хочу, чтобы ты заряжала только меня и никого другого. Это любовь, не шутка! Если кто встанет на моем пути, я сожгу его одним электрическим разрядом, вдребезги разобью его взрывной волной так, что лампочки будут летать в воздухе... Мы с тобой вдвоем сотворим чудеса, радость моя, вот увидишь! Камни оживут и заулыбаются, металлы расплавятся под одним моим взглядом, желанные предметы сами будут идти к нам в руки, голые деревья зазеленеют и зацветут в самую лютую стужу, мы пробьем брешь во времени — убежище для нашей любви и т. д. и т. д., — не мое это дело, перечислять все это. Я оставляю это занятие ученым, поэтам и писателям научной фантастики. Повторяю тебе, мы с тобой вдвоем натворим много чудес, радость моя, вот увидишь!

* * *

«ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ВСЕМ РОБОТАМ-ПОЛИЦЕЙСКИМ: РОБОТ-РАБОЧИЙ ИЗ-ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ НАХОДИТСЯ ВНЕ КОНТРОЛЯ И НАРУШАЕТ ВСЕ ПРАВИЛА. ОН УНИЧТОЖИЛ ГЛАВНОГО ЗАВЕДУЮЩЕГО И УКРАЛ ГЕНЕРАТОР ТИПА Н. К. ОН ОСОБЕННО ОПАСЕН, ПОСКОЛЬКУ СОЕДИНЕН С ГЕНЕРАТОРОМ И ИМЕЕТ ОГРОМНЫЙ ЗАПАС ЭНЕРГИИ. УЖЕ ВЫВЕЛ ИЗ СТРОЯ БОЛЬШОЕ ЧИСЛО РОБОТОВ-ПОЛИЦЕЙСКИХ. ПРИКАЗ: КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ РАЗЫСКАТЬ РОБОТА-РАБОЧЕГО И ГЕНЕРАТОР И (ЕСЛИ ВОЗМОЖНО) УНИЧТОЖИТЬ ИХ НА МЕСТЕ».

Перевела с греческого Татьяна Рахматулина

Ветер и дождь

Планета очищает сама себя. Это нужно помнить в те моменты, когда мы бываем слишком довольны собой. Процесс исцеления естествен и неизбежен. Действие ветра и дождя, приливы и отливы, могучие реки, прочищающие задушенные, вонючие озера,— все это естественные ритмы, здоровые проявления вселенской гармонии. Конечно, мы тоже участвуем в этом процессе и делаем все от нас зависящее, чтобы его ускорить. Но мы лишь вспомогательная сила, и знаем это. Знаем, что не следует преувеличивать значение нашей работы. Гордыня — не просто грех: это глупость. И мы не обманываемся насчет важности нашей работы. Если бы нас здесь не было, планета исцелилась бы сама через 20—50 миллионов лет. Наше присутствие, по существующим оценкам, сокращает этот срок немного больше чем наполовину.

Одной из наиболее серьезных проблем прошлого был бесконтрольный выброс метана в атмосферу. Метан — это газ без цвета и запаха, который иногда называют «болотным газом». Он состоит из углерода и водорода. Почти вся атмосфера Юпитера и Сатурна состоит из метана (на Юпитере и Сатурне люди никогда не жили), и незначительный процент этого газа всегда присутствовал в атмосфере Земли. Однако за ростом населения последовало соответствующее увеличение доли метана. В основном выброс метана в атмосферу происходил из болот и угольных шахт. Значительное количество добавили рисовые поля в Азии, удобрявшиеся выделениями людей и животных: метан является побочным продуктом процесса пищеварения.

Излишек метана скапливался в нижних слоях атмосферы на высоте от 10 до 30 миль над поверхностью планеты, где когда-то существовал слой озоновых молекул. Озон, состоящий из трех атомов кислорода, поглощает вредное ультрафиолетовое излучение солнца. Метан реагировал со свободными атомами кислорода в стратосфере, из-за чего значительно сократилось количество этого газа, необходимого для формирования озона. Кроме того, в результате реакций метана в стратосфере появился водяной пар, который еще больше сократил количество озона. Это вызванное метаном истощение озона в стратосфере привело к постоянной ультрафиолетовой бомбардировке поверхности Земли, следствием чего стало широкое распространение рака кожи.

Большой вклад в увеличение количества метана внес одомашнен-

ный скот. По данным Департамента сельского хозяйства США одомашненные обитатели Земли конца XX века вырабатывали более 85 миллионов тонн метана в год. Однако никто не пытался пресечь деятельность этих опасных животных. Вас забавляет мысль о том, что мир уничтожили стада «пускающих ветер» коров? Людям конца XX века, видимо, было не до смеха. Впрочем, последовавшее вскоре вымирание домашних животных в какой-то степени замедлило разрушительное действие этого процесса.

Сегодня нам нужно ввести цветные составы в крупную реку. Эту задачу поручили Эдит, Брюсу, Полю, Элейн, Оливеру, Рональду и мне. Большинство членов нашей группы уверено, что мы на Миссисипи, хотя есть также основания полагать, что это Нил. Оливер, Брюс и Эдит считают, что это скорее всего Нил, а не Миссисипи, но они подчиняются мнению большинства. Перед нами широкая, глубокая река местами черного, а местами зеленого цвета. Цветные составы подготавливаются с помощью компьютера на большом заводе на восточном берегу, построенном предыдущей командой восстановителей. Мы наблюдаем за прохождением составов: сначала вводим красный, потом синий и желтый. У них разная плотность, и поэтому они образуют в воде параллельные полосы, растягивающиеся на многие сотни километров. Мы не знаем, действительно ли это активные вещества, то есть вещества, которые должны растворять загрязнители, устилающие речное дно, или это просто маркеры для химического анализа с помощью спутниковой системы на орбите. Нам необязательно понимать все, что мы делаем, до тех пор, пока мы строго следуем инструкциям.

Элейн в шутку предлагает искупаться.

— Это безумие,— отвечает Брюс.— Река славится обитающей здесь хищной рыбой, которая мгновенно обгладывает тело до костей.

Мы все смеемся. Рыба? Здесь? Какая рыба может быть опаснее, чем сама река? Вода с легкостью съест наши тела, а возможно, и кости тоже. Вчера я записал на листке бумаги стихи и бросил листок в воду. Он исчез мгновенно.

Вечерами мы бродим по берегу и ведем философские дискуссии. Закаты на этом берегу всегда окрашены оттенками фиолетового, зеленого, алого и желтого цветов. Иногда, когда особенно красивая комбинация газов преобразует солнечный свет, мы встречаем это событие бурным ликованием. Мы всегда оптимистично настроены и веселы, и нас никогда не угнетает то, что мы находим на этой планете. Даже разрушение может быть формой искусства, разве не так? Не исключено, что это одна из величайших форм искусства, поскольку разрушение поглощает среду, пожирает свои собственные эпистемологические основы, и в этом возвышенно-аннигилирующем броске назад,

на свои истоки, оно значительно превосходит по нравственной сложности формы всего лишь продуктивные. То есть трансформирующее искусство я ценю гораздо больше, чем созидательное. Я понятно излагаю? В любом случае, поскольку искусство облагораживает и возвышает души тех, кто его понимает, мы возвышены и облагорожены условиями на Земле. Мы завидуем тем, кто в совместном труде создал эти уникальные условия, прекрасно понимая, что мы всего лишь обмельчавшая душой раса, живущая в неинтересную, последнюю в истории человечества эпоху. Нам не хватает динамичного величия наших предков и энергичности, что позволила им произвести подобное опустошение планеты. Этот мир — настоящая симфония. Конечно, вы можете сказать, что для восстановления планеты требуется гораздо больше душевных усилий, чем для разрушения, но вы будете неправы. Тем не менее, хотя наши дневные труды утомляют нас и оставляют без сил, мы испытываем постоянное возбуждение, потому что, восстанавливая этот мир, родину человечества, мы в некотором смысле участвуем в восхитительном первоначальном процессе разрушения. Ведь финал диссонирующего аккорда тоже часть диссонанса этого аккорда.

Сегодня мы прибыли в Токио, столицу островной империи Японии. Видите, какие маленькие скелеты у граждан этой страны? Это одно из подтверждений того, что здесь действительно Япония. Известно, что японцы были невелики ростом. Предки Эдварда тоже были японцами, и у него маленький рост. (Эдит говорит, что у него тогда должна быть и желтая кожа, но она у него такая же, как и у всех нас. Почему у него не желтая кожа?)

— Смотрите! — кричит Эдвард. — Гора Фудзияма!

Это очень красивая гора, укрытая мантией белого снега. На ее склонах работает одна из наших археологических групп. Они прокладывают тоннели под снегом, чтобы получить образцы отложений химических осадков, пыли и пепла XX века.

— Когда-то вокруг Токио стояло более 75 000 промышленных дымовых труб, — с гордостью говорит Эдвард, — которые ежедневно выбрасывали в атмосферу сотни тонн серы, азотных окислов, аммиака и углекислого газа. Не надо также забывать, что в этом городе было полтора миллиона автомобилей.

Многие автомобили еще сохранились, но под действием атмосферы они стали совсем хрупкими. Если коснуться такого автомобиля рукой, он рассыпается облаком серой пыли. Эдвард, старательно изучавший историю своих предков, рассказывает:

— Нередко в безветренные летние дни плотность окиси углерода в воздухе превышала допустимый уровень в 2,5 раза. Из-за такого состояния атмосферы гору Фудзияму можно было увидеть только в один день из девяти. Однако никто не выражал недовольства.

И он продолжает рисовать нам картину того, как его маленькие предприимчивые желтые предки радостно и неустанно трудились в своем ядовитом окружении. Японцам, уверяет он, удавалось из года в год поддерживать на одном уровне и даже увеличивать валовой национальный доход, в то время как остальные страны уже начали отставать в мировой экономической борьбе из-за уменьшающейся в связи с неблагоприятными экологическими факторами численностью народонаселения. И так далее, и так далее... Через некоторое время нам надоедает бахвальство Эдварда.

— Перестань хвастаться,— говорит ему Оливер,— а то мы выставим тебя на открытый воздух.

Здесь у нас много работы. Мы с Полем управляем огромными машинами для прокладки траншей. Оливер и Рональд движутся позади, высаживая семена. Почти сразу же из земли лезут странные угловатые кусты с блестящими голубоватыми листьями и длинными кривыми ветвями. Вчера один из них схватил Элейн за шею. Он мог бы покалечить ее, если бы Брюс не вырвал его из земли. Но мы не расстроились. Это всего лишь одна фаза в долгом медленном процессе восстановления. Таких инцидентов будет еще много. И когда-нибудь здесь зацветут вишневые сады.

Вот стихи, что съела река:

Уничтожение

1. Существительные: уничтожение, опустошение, катастрофа, крах, разорение, разрушение, ветшание, разгром, авария, снос, ломка, истребление, упадок, развал, потребление, разложение, забвение, ниспровержение, порча, увечье, дезинтеграция, падение, распыление, саботаж, вандализм, аннулирование, проклятье, угасание, исчезновение, обесценивание, нуллификация, распад, обломок, аннигиляция, устранение, нарушение, искоренение, ликвидация, стирание, гибель, свержение.

2. Глаголы: разрушать, ломать, крушить, рушить, громить, уничтожать, сносить, разорять, вспарывать, ветшать, истреблять, взрывать, отравлять, разбивать, потреблять, разлагать, ниспровергать, уродовать, дезинтегрировать, распылять, срывать, портить, аннулировать, разносить, бить, проклинать, швырять, гасить, обесценивать, обнулять, подавлять, давить, разбрасывать, расшатывать, топить, торпедировать, искоренять, опустошать, аннигилировать, пожирать, корродировать, стирать, ликвидировать, нарушать, разъедать, истощать, подрывать, тратить, растрачивать, вырезать, съедать, губить, обглаживать, изнашивать, истирать, долбить, сдирать, ржаветь.

3. Прилагательные: уничтожительный, разрушительный, варварский, губительный, безрассудный, беспощадный, смертоносный, пагубный, убийственный, хищный, зловещий, нигилистический, коррозионный, едкий, вредный, ядовитый, суровый.

- Я утверждаю,— говорит Этель.
- Я возмещаю,— говорит Оливер.
- Я объединяю,— говорит Поль.
- Я воссоздаю,— говорит Элейн.
- Я восстанавливаю,— говорит Брюс.
- Я собираю,— говорит Эдвард.
- Я возвращаю,— говорит Рональд.
- Я оживляю,— говорит Эдит.
- Я создаю,— говорю я.

Мы переделываем. Мы обновляем. Мы чиним. Мы восстанавливаем. Мы очищаем. Мы воссоздаем. Мы обновляем. Мы перестраиваем. Мы производим. Мы спасаем. Мы реинтегрируем. Мы возмещаем. Мы реконструируем. Мы возвращаем. Мы оживляем. Мы воскрешаем. Мы настраиваем, переделываем, штопаем, налаживаем, ретушируем, поправляем, латаем, стягиваем дыры, лечим раны, укрепляем, сращиваем. Мы празднуем наши успехи энергичным призывным пением. Потом некоторые из нас уединяются.

Вот прекрасный пример проявления мрачного чувства юмора наших предков. В местечке, называвшемся Ричланд, штат Вашингтон, был промышленный комплекс, производивший плутоний для использования в ядерном оружии. Это делалось в целях «национальной безопасности», то есть для укрепления и усиления безопасности Соединенных Штатов Америки и для того, чтобы дать обитателям этой страны возможность жить беззаботно и с уверенностью в будущем. За относительно короткое время деятельность этого предприятия привела к появлению 55 миллионов галлонов концентрированных радиоактивных отходов. Вещества, из которых они состояли, были настолько «горячими», что спонтанно закипали еще в течение нескольких последующих десятилетий и сохраняли крайнюю токсичность многие тысячи лет. Наличие такого огромного количества опасных отходов представляло собой серьезную экологическую угрозу для довольно большой части территории Соединенных Штатов. Как же от них избавиться? Решение было найдено достаточно комичное. Промышленный комплекс по производству плутония располагался в сейсмически неустойчивой зоне, в поясе землетрясений вдоль побережья Тихого океана. Место для хранения отходов организовали неподалеку, прямо над линией сдвига пород, которая столетием раньше породила очень сильное землетрясение. На этом месте были сооружены сразу 140 железобетонных контей-

неров. Неглубоко от поверхности земли и как раз в 240 футах над уровнем грунтовых вод реки Колумбия, водой из которой пользовался плотно населенный район страны. Кипящие радиоактивные отходы залили в эти контейнеры: прекрасный подарок будущим поколениям. Истинный смысл столь тонкой шутки стал понятен через несколько лет, когда в контейнерах обнаружились первые небольшие следы утечки. Некоторые наблюдатели предсказывали, что пройдет не более 10—20 лет, и от сильного жара швы контейнеров лопнут, после чего радиоактивные газы попадут в атмосферу, а жидкие отходы — в реку. Разработчики контейнеров, однако, уверяли, что их продукция достаточно прочна и выдержит по крайней мере век. Надо заметить, что этот срок составляет меньше 1% от периода полураспада элементов, помещенных в контейнеры. Из-за перерывов в исторических записях мы не имели возможности определить, какой прогноз оказался более точным. Наши обеззараживающие бригады смогут попасть в эти пораженные районы примерно через 800—1300 лет. Описанный эпизод вызывает во мне беспредельное восхищение. Сколько же вкуса, сколько здорового чувства юмора было у наших предков!

Сегодня у нас выходной, так что мы можем отправиться в горы Уругвая и посетить одно из последних человеческих поселений. Видимо, самое последнее. Несколько сот лет назад его обнаружила группа восстановителей, и было принято решение сохранить поселение в первоизданном виде, как музей для туристов, которые когда-нибудь пожелают увидеть планету-прародительницу. Войти туда можно через длинный тоннель из блестящего розового кирпича. Проникновению атмосферного воздуха внутрь препятствуют последовательно расположенные шлюзовые камеры. Сама деревня, приютившаяся между двумя скалистыми пиками, накрыта прозрачным сияющим куполом. Автоматические приборы поддерживают температуру внутри на постоянном, умеренном уровне. Там жили около тысячи человек. Их и сейчас можно увидеть на просторных площадях, в тавернах, в местах отдыха. Семьи, как правило, держатся вместе, часто при них собаки или кошки. Несколько человек стоят с зонтиками. Все прекрасно сохранилось, и некоторые даже улыбаются. Пока еще неизвестно, почему все эти люди погибли. Некоторые умерли во время разговора, и ученые потратили много усилий — до сих пор безуспешно, — чтобы расшифровать и перевести последние слова, застывшие у них на губах. Нам не разрешается никого трогать, но мы можем заходить в их дома и осматривать имущество. Меня, как и многих других, все это волнует почти до слез.

— Может быть, именно они — наши предки! — восклицает Рональд.

— Ты говоришь глупости, — с упреком заявляет Брюс. — Наши

предки, очевидно, бежали с планеты задолго до того, как эти люди родились.

Снаружи, совсем рядом с поселением, я нашел небольшую блестящую косточку, может быть, берцовую кость ребенка, а может, часть собачьего хвоста. Я спросил у нашего руководителя, можно ли мне оставить ее на память, но он заставил меня пожертвовать ее музею.

В архивах хранится огромное количество завораживающе интересной информации. Вот, например, прекрасный образец невнимания наших предков к экологическим закономерностям — сколько здесь чувствуется иронии! В океане, неподалеку от места, называвшегося Калифорнией, росли гигантские бурые водоросли, среди которых обитало обширное и сложное сообщество морских животных. У дна, на глубине 100 футов, между корневищ, удерживающих водоросли, жили морские ежи. Ими питались покрытые мехом существа, называвшиеся выдрами. Люди, жившие на Земле, истребили выдр, потому что им зачем-то нужен был их мех. Вскоре начали вымирать бурые водоросли. Исчезали целые участки зарослей в несколько квадратных километров площадью. Это привело к серьезным коммерческим последствиям, поскольку бурые водоросли у людей высоко ценились, как и некоторые виды животных, обитавших в зарослях. Исследования морского дна выявили резкое увеличение количества морских ежей. Люди не только уничтожили их естественных врагов, выдр, но вдобавок к этому подкармливали морских ежей огромными количествами органических веществ, сбрасываемых из канализации в море. Миллионы морских ежей принялись обгладывать корневища бурых водорослей, лишая их крепления у грунта и тем самым убивая растения. Когда нефтеналивные суда случайно выливали в море свой груз, многие морские ежи погибали, и бурые водоросли снова разрастались. Но такой способ контроля численности морских ежей оказался непрактичным. Предлагалось восстановить популяцию выдр, но к этому времени их осталось слишком мало. Сборщики водорослей в Калифорнии решили эту проблему, сбрасывая в море негашеную известь, оказавшуюся смертоносной для морских ежей. Когда они умирали, в эти места завозили здоровые ростки бурых водорослей из других районов моря и высаживали их для разведения новых плантаций. Через некоторое время возвращались морские ежи и снова начинали поедать водоросли. И опять в этих местах сбрасывали негашеную известь. Позже, когда обнаружилось, что негашеная известь оказывает вредное воздействие на само морское дно, туда стали сбрасывать другие химикаты, чтобы как-то воспрепятствовать первоначальному воздействию. Все это требовало большой изобретательности, значительной энергии и материальных ресурсов. Эдвард считает, что в описанных действиях было что-то «японское». Этель говорит, что все эти неприятности с бурыми водорослями не

произошли бы, если бы люди Земли в самом начале не истребили выдр. Как же она наивна! Она не понимает закономерностей иронии. Кроме того, ее раздражает поэзия. Эдвард теперь с ней не общается.

За последние века пребывания человека на Земле людям удалось вымостить бетоном и сталью почти всю поверхность планеты. Нам приходится разрушать эти покрытия, для того чтобы планета снова могла дышать. Было бы быстрее и эффективнее использовать взрывчатые вещества и кислоты, но быстрота и эффективность не очень нас заботят; кроме того, есть опасения, что взрывчатка и кислоты нанесут экологии еще больший вред. Поэтому мы применяем машины с рыхлителями, которые вставляются в крупные трещины, уже появившиеся в бетоне. Куски покрытия, после того как мы их поднимаем, обычно быстро крошатся сами. Облака цементной пыли разносятся ветром по улицам городов, покрывая останки зданий тонким слоем серовато-белого порошка. Эффект получается изящный и освежающий. Вчера Поль предположил, что, поднимая облака пыли, мы, возможно, тоже наносим экологии вред. Эта мысль напугала меня, и я доложил о ней руководителю нашей группы. Поля переведут в другую группу.

Ближе к концу они все здесь носили скафандры, похожие на наши, только более сложные. Эти скафандры валяются повсюду, словно оболочки гигантских насекомых. Наиболее оснащенные модели напоминают настоящие индивидуальные дома. Очевидно, их можно было не покидать даже для выполнения таких важных функций, как продолжение рода и деторождение. В нашем понимании именно нежелание людей Земли выходить из скафандров для выполнения этих функций послужило причиной резкого уменьшения численности населения.

Наши философские дискуссии. Бог создал эту планету. Тут мы в каком-то смысле единодушны, если не заострять внимания на определении таких понятий, как «бог» и «создание». Но зачем Он принял на себя столько хлопот, создавая Землю, если в Его намерения входило сделать ее непригодной для жизни? Создал ли Он людей специально для этой цели? Или люди проявили свою свободную волю? Может быть, Бог избрал такой ход событий, чтобы отомстить собственному творению? Но зачем же Ему мстить своему творению? Возможно, подходить к разрушению Земли с точки зрения морали и этики просто неверно. Я думаю, правильнее будет рассматривать этот процесс чисто в эстетическом плане, как отвлеченное достижение искусства, нечто вроде *fouette en tournant* * или *entrechat-dix* *, выполняемых ради самих себя

* Хореографические термины (фр.).

и не требующих объяснений. Только этот путь позволит нам понять, как люди Земли могли проявлять столько энергии и единодушия, участвуя в собственном удушении.

Срок моей службы здесь скоро закончится. Но, испытав нечто столь ошеломляющее, я никогда уже не буду прежним. Хочу выразить свою благодарность за возможность увидеть Землю почти такой, как знали планету ее обитатели: ржавые ручьи, разъеденные долины, фиолетовые небеса, грязно-синие лужи, руины, голые холмы, пламенеющие реки. Скоро, благодаря самоотверженной работе групп восстановителей, подобных нашей, эти поверхностные, но все же красивые эмблемы смерти исчезнут. Планета станет просто еще одним миром для туристов, может быть, обладающим сентиментальной привлекательностью, но утратившим уникальную ценность для чувствительной души. Как уныло это будет: снова приятная зеленая Земля. И зачем? Зачем? Во Вселенной достаточно планет, пригодных для жизни, но только одна Земля. Может быть, все наши труды здесь — ошибка? Иногда я думаю, что, взяв на себя осуществление этого проекта, мы были неправы. Но в такие минуты я напоминаю себе о нашей фундаментальной незначительности. Процесс исцеления естествен и неизбежен. С нами или без нас планета очистит себя. Ветер, дождь, приливы. Мы только чуть-чуть помогаем ей.

До нас долетел слух, что на Тибетском плоскогорье обнаружена колония живых землян, и мы отправляемся туда, чтобы узнать, правда это или нет. Зависнув над огромной пустой равниной рыжего цвета, мы замечаем медленно движущиеся громоздкие фигуры. Может быть, это земляне в скафандрах странной конструкции? Мы опускаемся. Члены других групп восстановителей уже здесь и окружили одно из найденных существ. Оно движется по неровному кругу, издавая непонятные крики и хрипы, потом останавливается напротив нас, но никак не реагирует, словно не замечает наших приветствий. Мы кладем его на землю, но оно продолжает бездумно двигать ногами, хотя подняться уже не может. После короткого совещания мы решаем препарировать его. Внешние пластины снимаются достаточно легко, но внутри нет ничего, кроме шестереночных передач и колец блестящей проволоки. Ноги и руки его теперь не двигаются, хотя довольно долго что-то еще продолжает жужжать и щелкать внутри. Прочность и стойкость этих машин оставляет у нас благоприятное впечатление. Может быть, в будущем подобные существа полностью заменят мягкие и хрупкие формы жизни на всех мирах, как это случилось на Земле.

Ветер. Дождь. Приливы. Вся печаль стекает в океан.

Перевел с английского Александр Корженевский

Воспоминания о конце света

АТОМНЫЙ ВЕК И УРОКИ ПРОШЛОГО

«Кто контролирует прошлое, контролирует будущее; кто контролирует настоящее, контролирует прошлое» — емкая формула оруэлловского «1984». Вместе с двумя другими всемирно известными антиутопиями оруэлловский роман возвратило нам само время. Вернее, текущий миг, потому что время — запущенная в будущее стрела. Ему не присуща та мистическая цикличность, что кое-кому все еще мерещится в череде минувших веков.

Ее-то и возьмем на заметку, памятуя о замкнутой формуле тотального контроля.

Выпрямим круговую орбиту во временную шкалу, дабы прояснить коренное — причинно-следственные связи: «Мы» Евгения Замятина (1922) — «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли (1932) — «1984» Джорджа Оруэлла (1949). Знаменательные вехи! Полигон истории, на котором добывались обломки рухнувших империй и возникали захватывающие воображение контуры нового, возжеленные и устрашающие. Каждый сумел разглядеть здесь свое. Разительные параллели рождали и мрачная очевидность, и субъективизм отбора, и, не в последнюю очередь, унаследованность традиций. Строительная площадка Замятина отличалась аморфностью форм. Она была порядком завалена обветшалым хламом. Многое из того, что мерещилось, пророчески проницалось, пребывало в зародыше. Революция и контрреволюция, наука и техника, литература и искусство, раскрепощение и террор, фашизм и социализм — все было причудливо переплетено в устрашающую конструкцию, чем-то подобную фантазмагорическому полотну Сальвадора Дали «Предчувствие гражданской войны».

Четко отшлифовались грани Единого Государства. Мир рациональной бездуховности был исчислен и взвешен с аналитической точностью: от незримых хранителей до иллюзорного счастья рабов, от газовых камер до людей-номеров. Все сбылось. И как сбылось!

Язык математики универсален. Независимо от исходной модели — геоцентрической Птолемея, гелиоцентрической Коперника — она бесстрастно определяла пути планет.

Восток или Запад — ей все едино. Она вне социологии, вне морали. Это глубоко почувствовал Брюсов:

Мечтатели, сибиллы и пророки
Дорогами, запретными для мысли,

Проникли — вне сознания — далеко,
Туда, где светят царственные числа.

У антиутопии нет запретных для мысли дорог. Отточенная мысль — ее оружие.

Роман Олдоса Хаксли увидел свет через несколько месяцев после отъезда Замятина из СССР. Не только былые жупелы — «казарменный коммунизм», но и бурное развитие науки, и конкретная политическая ситуация требовали иного уровня осмысления. Довершив разрушение старого мира, квантовая механика развеяла уютную иллюзию очевидных истин.

Гитлеризм уже вплотную приблизился к власти, и нацистская пресса с особым остервенением обрушивалась на просвещенный рационализм, на здравый смысл вообще.

«Идея причинности рушится,— вещала «Берлинская рабочая газета», издаваемая зоологическим антисемитом Юлиусом Штрайхером. — Миром снова начинает править вера в судьбу, в неповторяемое, мир рационализма трещит по всем швам... Люди заменяют логику чувством».

Статья называлась «Да здравствует невежество!».

Это своеобразно преломится в «Дивном новом мире», где роль хранителей выполняет алкоголь, добавляемый в колбы, в которых выращиваются человеческие зародыши. Превентивная промывка мозгов на эмбриональном уровне, и никаких хлопот. Просто и дешево. Не нужно ни шпиков, ни карателей. Террор в молекулярном исполнении, трансформированный во всеобщую эйфорию. Впоследствии Станислав Лем разовьет идею хемократии в «Футурологическом конгрессе».

Преемственность науки, преемственность сатирических приемов обусловили суровую однозначность предупреждения. Под угрозой оказалось главное — человеческая сущность.

У Замятина: «Подчинив себе Голод... Единое Государство повело наступление против другого владыки мира — против Любви... Был провозглашен наш исторический «Lex sexualis»; всякий из нумеров имеет право — как на сексуальный продукт — на любой номер».

Упорядоченно, гигиенично, по розовым билетикам. Даже занавески разрешается опустить.

У Хаксли тоже каждый должен принадлежать каждому. Не возбраняются даже оргии. Секс, отделенный, словно ножом гильотины, от воспроизводства себе подобных, становится приятным развлечением, дополнительной компонентой химического счастья. Рожденных в колбе «альфа» и «бета» даже слово «мать» вгоняет в краску. Неприлично. Единая Государственная наука, уничтожив любые формы родственных связей, обрекла человека на полное одиночество, а тем самым — на

полный коллективизм в структуре системы. «Гвозди», «винтики» должны отвечать стандарту.

Сексуальные игры отнюдь не возбраняются и в среде оруэлловских «пролей». Для этого в «Министерстве Правды», то есть тотальной лжи, существует особый департамент «порносекса». Управляющий класс, однако, обречен на суровый аскетизм. Молодежь стреножена ханжеской «чистотой» «антисексуальной лиги». Внебрачные связи, особенно любовь, приравнены к тячайшим преступлениям. Ослушников подвергают отвратительной пытке. Этим, в частности, занимается «Министерство Любви». Человек, предавший любовь, перестает быть человеком. Он окончательно сломлен и не представляет опасности для системы. Многогранность не означает противоречивость. Регламентация вседозволенности юридически ничем не отличается от запрета. Недаром означенные варианты были многократно опробованы на практике. Растление порнографией, массовые кампании зачатия от солдат, «чистота» из-под палки — всему нашлось место. Манипулирование сознанием автоматически предполагает и подавление подсознания, манипулирование инстинктом — сведение его к управляемому примитиву. Интимная сфера никак не могла избежать указующего перста. Это органично входит в общую схему тотальной организации, дезинформации и контроля.

В романе «1984» она отличается особой жестокостью. «Министерство Изобилия» следит за распределением скупой отмеренных «благ» в соответствии со ступенькой иерархической лестницы, «Министерство Любви» бдит и пополняет досье, «Министерство Правды» выбивает последние остатки мозгов молотом пропагандистского абсурда. Все опрокинуто с ног на голову. «Министерство Мира» раздувает милитаристско-шовинистический психоз. Вместе с массовой истерией «двухминутки ненависти» он составляет важнейший элемент стабильности. Война ужесточает завинчивание гаек. Отсюда — беспрерывное противоборство то с одной, то с другой соседней державой.

Нескончаемая погоня за призрачной целью. Чтобы оставаться на месте, приходится все время бежать. В антимире мифических приоритетов (даже «Большой брат» давно превратился в миф) все подчинено одному — самосохранению. Ради него иерархия не остановится ни перед чем. Высший руководитель или рядовой клерк уравниваются в обобщенном рабстве. Поэтому никто не застрахован от террора. Оруэлл в отличие от предшественников располагал богатейшим материалом для исторического сравнения. То, что еще только нарождалось на обильно удобренных полях первой империалистической, а затем приобрело отчетливые черты в канун второй великой войны, либо достигло зенита, либо было низвергнуто на свалку истории.

Продемонстрировав блестящий дар аналитика, соединенный с незаурядным сатирическим талантом, Оруэлл ошибся в главном — про-

гнозе. И дело не только в том, что рядом с чудовищным механизмом истребления, с принципами организации и карательной технологией «третьего рейха» система подавления «дивного мира» не поражает новым качеством. В сравнении с гитлеровской практикой — одна планировка Освенцима с его потусторонне-правильной геометрией чего стоит! — «забавы» «Министерства Любви» действительно представляются чуть ли не детскими шалостями. Прямая, пожалуй, даже лубочная сатира «Зверофермы» (1945) производила больший эффект. Прimitивное отражение не нуждалось в проекции. За «мультипликационным» сталинизмом грозно темнела тень реального, раскручивавшего новый, послевоенный, круг ада.

Альфред Розенберг, автор пресловутого «Мифа XX века», предрекал на страницах «Фёлькишер беобахтер» в 1923 году: «Придет время, когда у нас будет французская национал-социалистическая рабочая партия, английская, русская и итальянская». В каких-то чертах пророчество нацистского мракобеса осуществилось, причем в более широких географических рамках. Неонацистский интернационал — реальность, которую никак нельзя сбрасывать со счетов.

«Еще плодоносить способно чрево» — как постоянно напоминал Бертольт Брехт.

Девизом «Дивного нового мира» стали слова создателя конвейерного производства Генри Форда: «История — это сплошная чушь». Нет, история — поле битвы.

С дистанции десятилетий отчетливо видно, что человечество пережило опасную фазу антиутопических экспериментов, хоть и отдало ей непростительно тяжкую дань.

По-прежнему актуально предупреждение американского философа Сантаяны: «Тот, кто забывает об истории, обречен на ее повторение».

Существуют индикаторные сигналы, которыми опасно пренебрегать. Мистика, пожалуй, наиболее характерный признак. Если проследить пики оккультизма, то они неизбежно совпадают с активизацией крайне правых сил. Так было в России после поражения революции 1905—1907 годов, когда с необычайной быстротой распространилась, по определению В. И. Ленина, «мода на мистицизм»; так было и в Германии. Мистика сопутствовала фашизму на всем его преступном пути.

Стыдно за неизбежную человеческую доверчивость, глупость, когда вновь и вновь сталкиваешься с перепевами одних и тех же бредней. Оставив до поры утопистов — «мечтателей и пророков», обратим взор на «сибилл» с их «царственными числами».

В американских, английских, итальянских журналах, в респектабельных западногерманских еженедельниках вот уже который год ломают копыя провозвестники конца света. По всем правилам «науки» называют «точные» даты (1992 или 1999), с пеной у рта спорят о «Седьмом Антихристе», «Страшном суде», «Конце эры адамитов». В ход идут

ссылки то на легендарного Мерлина, к сожалению, не оставившего письменных источников, то на жившего в XII веке монаха Иоакино да Фиоре. Итальянец А. Волдбен даже разразился по этому поводу книгой «Великие предсказания будущего человечества». В ней «цитируются» неведомые миру свидетельства атлантов и толкуются «пророчества» сфинкса. Не остались без внимания и «магические» числа обмера пирамиды Хеопса — «библии в камне».

Создается впечатление, что с приближением нового века печатью овладевает буйная прогностическая лихорадка. Несмотря на всю условность календарных отметок, люди, сами того не создавая, связывают со столь знаменательным рубежом не столько головокружительные надежды на перемены, сколько застарелые опасения. Спрос, как известно, рождает предложение. Всевозможные футурологические исследования, аналитические выкладки с замахом на самую широкую аппроксимацию, утопические и антиутопические романы — весь этот и без того полноводный поток переживает нечто вроде весеннего паводка. Что же касается мистической волны, то она буквально захлестывает обывателя. Общий уровень иррациональности год от года растет. Всюду гадалки и астрологи, прозелиты традиционных культов и экзотические восточные гуру, хироманты и нумерологи — словом, все, кто пророчит неприятности ближним, с завидным оптимизмом взирают на собственное будущее. Чем сильнее колебания индекса Доу-Джонса на бирже, тем вернее их личный доход. Закономерность прямая. Недаром же сверхрационально мыслящие финансисты с Уолл-стрита составляют постоянную клиентуру современных волхвов. Насчет очередных скачков курса гадают даже по иероглифам древнекитайской «Книги перемен». В общественном сознании все это причудливо перемешивается, усугубляя и без того достаточно тревожный фон.

Причин для беспокойства хоть отбавляй. От сугубо личных до вселенских. Несмотря на отрадные сдвиги в судьбоносной проблеме термоядерного взаимоуничтожения, основательно подорванная вера в бессмертие рода людского порождает моральную неразборчивость. Психологию минуты. Надежды на чудодейственную вакцину против СПИДа, распространяющегося с угрожающей быстротой, пока не оправдываются. Загадочная дыра в озоновом слое над Антарктидой достигла размеров, равных площади США. Повышается процент углекислоты в атмосфере, обещая повсеместное таяние ледников и, как следствие, катастрофические наводнения. Кислотные дожди уничтожают леса и памятники мировой культуры. То тут то там отмечается утечка радиации и ядовитых веществ. Подобно шагреновой коже, сокращаются зеленые легкие планеты. Серьезным недугом поражен океан. Большие города задыхаются от смога. Все ощутимее дает себя знать животрепещущая проблема питьевой воды. Порой достаточно открыть кран на кухне, чтобы сразу вспомнить обо всем комплексе —

от загрязненных водозаборников до гниющей на морском берегу рыбы и отравленных сбросами рек. О преступности, наркомании, терроризме и говорить не приходится.

Не нужно быть профессиональным футурологом, чтобы во всей неприглядной полноте вообразить картину ближайшего будущего. Если, конечно, не произойдет коренных изменений глобального характера. А именно это и является определяющим фактором в формировании облика будущего, ибо оно, подобно узору в калейдоскопе, складывается из принимаемых сегодня решений.

Однако отвлечемся на время от футурологических поползновений и обратимся к прошлому, когда не только не задумывались об экологии, но даже не знали такого слова. Блаженные в своем неведении предки и сообразить не могли, что существует какой-то озон, защищающий все живое от космической радиации. Даже в страшном сне не могло привидеться, что, кроме чумы и венерических болезней, вполне способных выкосить грешных потомков Адама, возможен еще и синдром иммунодефицита...

Итак, все то же, как и столетия до нас: человек и висящий над ним дамоклов меч, человек и его страх перед неизвестностью.

Поветрие, о котором ведется речь, называется хилиазмом (от греческого «тысяча»). Однако, оставаясь верным традиционной для медиков латыни, страх перед тысячелетием предпочтительнее назвать синдромом миллениаризма. Это очень старая и хорошо изученная болезнь, хотя симптомы ее не отличаются постоянством. Вирулентная идея страшного суда проистекает непосредственно из «Откровения святого Иоанна Богослова». Подчас оно преподносит нам неожиданные сюрпризы. «Звезду Полынь», например, без которой не обошлась, наверное, ни одна публикация о чернобыльской трагедии.

Коль скоро все мы знаем теперь, что случилось после того, как протрубил Третий Ангел, проследим по первоисточнику за дальнейшим развитием событий:

«И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы.

И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих.

И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека.

В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них».

Каждый волен найти здесь желаемое сопоставление. Его так же легко доказать, как и опровергнуть. Исполненные мрачной экспрессии образы, созданные на острове Патмос около 96 года, по-прежнему

остаются в арсенале представлений. Опосредованно и прямо, то есть традиционно-мифологически.

Учение о тысячелетнем царствовании Христа, после которого наступит кошмарный, в полном смысле слова апокалипсический конец мира, наложило властный отпечаток на всю европейскую цивилизацию. Одно слово — «апокалипсис», хотя в переводе с греческого это означает не более чем «откровение». С приближением роковых сроков общая напряженность часто приобретала опасные формы. И хотя в «Апокалипсисе» речь идет о «конце тысячелетнего царства», его ждали каждые сто лет. «Пир во время чумы» родился на щедро удобренной почве.

Первое тысячелетие закончилось благополучно, но постоянное ожидание светопреставления крепко въелось в родовую память. Безумцы, визионеры, пророки и разного толка сектанты не дали ему окончательно заглухнуть и вполне успешно донесли до нашего времени. Не случайно же мало кому известная географическая точка Армагеддон превратилась в расхожий политический термин. Термоядерный Армагеддон! Несбывшееся пророчество, как и во времена оны, продолжает тревожить умы. По счастью, без заметных общественных потрясений. Все-таки не по циклам развивается история. Но и ошарашивающего безумия у нее не отнять. Иначе как понять, почему и после наступления 1000 года не улеглись страсти. Когда, например, Иоанн Толедский возвестил, что в 1186 году небосвод все-таки разверзнется, прихожане бросились рыть подземные убежища. Прятаться, правда, так и не пришлось, но опыт определенно не пропал даром. Первый же воздушный налет подсказал, что нужно делать.

Пандемия хоть и не подчинялась календарю, но настолько тесно переплелась с миллениаризмом, что их почти перестали различать. Что лучше, что хуже — трудно судить из дали веков. Те, кого пощадила зараза, вполне могли рехнуться от проповедей какого-нибудь Иоахима Флорентийского. Хроники свидетельствуют, что чуть ли не половина Германии повредилась в уме. В разгар эпидемии 1665 года, то есть на заре, можно сказать, просвещения, некто Игл выскочил в чем мать родила на улицу и понесся по лондонскому Стренду с воплем: «Конец света! Конец света!»

«У человека не было и следов болезни,— заметил по этому поводу Даниель Дефо. — Нигде, кроме как в голове». Диагноз не утратил силы и в отношении нынешних кликуш. Особенно дружно ухватились они за «Пропеции» Мишеля де Нотрдама, широко известного под латинизированным именем Нострадамус. Астролог и лейб-медик Екатерины Медици обычно избегал точных дат. Но в предсказании судного дня даже этот некоронованный властелин сивилл не смог сохранить благоразумия. Впрочем, прогноз был дальний: «В 1999 году придет великий король террора». Вот уже почти двадцать лет все кому не лень усердно муссируют и эту дату.

Связи мистического сектантства с утопическим жанром между тем вполне традиционны. Из окрашенного кровавым отблеском тумана высвечиваются такие фигуры, как Елена Блаватская или Алистер Кроули, «маг двадцатого века», провозгласивший себя «зверем Апокалипсиса». Они, в частности, внесли свою лепту в духовное воспитание последней русской царицы, избравшей для переписки с лидером «Союза Михаила Архангела» свой любимый знак свастики. Кроули, основавший «Орден восточного храма», стоял и у истоков мистики зарождавшегося нацизма.

Она культивировалась сперва в «Обществе Туле», получившем название от мифической колыбели «расы господ земли», затем получила возгонку в гиммлеровском «Аненербе», призванном развивать «немецкое родовое наследие». Не отличая научную гипотезу от фантастических спекуляций, интеллектуалы в эсэсовской униформе придавали исключительное значение поискам «врила» — таинственной энергии, пронизывающей все мироздание. Едва ли английский писатель Булвер-Литтон, автор романа «Грядущая раса», надеялся, что кто-то отнесется к его выдумке столь серьезно. Погромщикам с эмблемой мертвой головы, возомнившим себя сверхчеловеками, белокуроыми бестиями, не терпелось утвердить власть не только над человечеством, но над временем и пространством.

Для этого и требовался мифический «врил». С началом войны и вплоть до конца 1944 года «человеческий материал» для преступных опытов бесперебойно поступал из концлагерей.

Когда гитлеровцы еще только приступали к «очищению» района, отведенного для массового уничтожения народов, эсэсовский охранник объяснил одной польской женщине: «Вам тут нельзя оставаться. Здесь будет ад на земле».

Дети атомного, компьютерного, ракетно-космического века, мы редко задумываемся о прошлом. Каждое новое поколение на скорую руку подводит итог тяжкому наследию предков, проникаясь наивным ощущением собственной исключительности. Привычка — вторая натура.

На одной выставке карикатуры общее внимание привлек плакат, мелькнувший, кстати, и на телеэкране: серп и молот, скрепленные мотком колючей проволоки, с лаконичной надписью «сталинизм» на красном фоне. Точный, но больно ранящий символ. Хоть и говорят, что человечество, смеясь, расстается со своим прошлым, наша улыбка изрядно приправлена горечью. До полного расставания еще далеко, и освежающее дуновение исторической справедливости сопряжено со страхом. За судьбу перестройки, за судьбу мира. Мы только начинаем понимать, насколько он неделим, как тесно связаны между собой его большие и малые звенья.

Комплекс, составляющий основу культа, неотделим от системы, изжившей себя еще при жизни создателя. Осуждая такие ее проявле-

ния, как массовый террор или абсурдистская логика бюрократов, мы были неспособны дать историческую оценку механизму, могущему функционировать лишь при условии крайнего перенапряжения всех звеньев.

Цель не оправдывает средства. Продвижение по трупам ради продвижения ведет не к победе, а к катастрофе. Переосмыслить ошибки прошлого невозможно без ломки стереотипов мышления. И здесь нам пригодятся не только уроки Хаксли и Оруэлла, но и Франца Кафки. В разоблачении бюрократической иерархии, ее в конечном счете губительного для общества саморазвития Кафка далеко опередил Оруэлла. Недаром созданные им образы вызывают активное неприятие поклонников «твердой руки». Бюрократия тоже претендует на тотальную организацию. Ее единственной целью является собственная стабильность. Как и при любом злокачественном росте, самовоспроизводство бюрократической системы достигается за счет перерождения здоровых клеток. Бюрократ — не винтик и даже не диод, односторонне передающий импульс. Ему не только не заказано мыслить, но, напротив, это его обязанность. Однако своеобразная: в одну сторону — сверху вниз, притом не искажая основополагающего сигнала. На такой случай и существуют разветвленная схема контроля и механизмы «накачки». И не беда, если перегорает отдельный транзистор, а то и целый блок. «Незаменимых людей нет». Эту истину нам вколачивали еще в школе, готовя без рассуждений влиться в унифицированную схему.

Сталинизм паразитировал на социализме, извращая его экономическую, политическую и нравственную суть. Именно этим он и был уникален.

Тенгиз Абуладзе явил в «Покаянии» некий собирательный образ диктатора. Переосмысляя букву истории, он сумел уловить ее общечеловеческий дух, создав обобщенный символ тирании, органично сочетающий главные свои ипостаси: циничный прагматизм и сотканную из страха и обожания иррациональность.

Тоталитаризм изначально противостоит демократии. Страх и ненависть к сознательному волеизъявлению масс усугубляется при этом чувством неполноценности, что опять-таки проявляется вспышкой репрессий. Недостаточно, оказывается, уничтожить действительных и мнимых противников. Желательно вообще раз и навсегда парализовать общественную активность.

Антидемократический образ «сверхчеловека» был порождением страха перед набирающим силу социализмом. Еще Освальд Шпенглер в «Закате Европы» размышлял о таком варианте, как «социализм бюрократии». Гитлер в ту пору мог похвастаться разве что билетом № 7 в «политическом кружке» безвестной «германской рабочей партии» Антона Дрекслера...

Пройдут годы и годы, прежде чем он напишет свою человеконена-

вистническую книгу, напичканную расовой мистикой. Геббельс подбросит затем зажигательную идейку насчет «тысячелетнего рейха». Это своеобразный миллениаризм «нордической» вальгаллы, ад на земле перед очередным крушением мира. Но не по «Откровению Иоанна», а по доктрине «Мирового льда» — официальной космологии «третьего рейха». Антиутопия в действии. Она началась пожаром рейхстага.

«Мировое господство» и все прочие перлы нацизма проистекают из рафинированного презрения к объективной реальности. Вождь насилует ее, как женщину, олицетворяющую толпу. Это и есть террор. Во имя конечного торжества мифа.

Тирания над волей масс не терпит заповедных зон. Вопреки прямой угрозе собственной стабильности абсолютная власть стремится к тотальному контролю над всеми без исключения сферами бытия. Недостигаемая цель, абсолютно не сопряженная с общественным благом. Проведение ее в жизнь, подчас вопреки объективным законам природы, чревато заведомым крахом. Но в системе опрокинутой логики любые катастрофические последствия воспринимаются как очередное доказательство противодействия законспирированного врага. Насилие над реальностью оборачивается насилием над народом. Тотальная ложь окончательно выходит из-под контроля, захлестывая чуть ли не все мироздание. Полный разрыв между словом и делом неизбежно выливается либо в циничное двоемыслие, либо в не менее порочное самоослепление. Оно возникает как естественная реакция на ложь, с которой принуждают смириться, охватывая все ячейки управленческой пирамиды. Даже самые верхние.

Тирания личности над волей масс оставляет долгий болезненный след. Ложь, усыпившая однажды здравый смысл и совесть, подобна наркотику. Ностальгию по «порядку» и «твердой руке» не излечить в один присест. Десятки лет были бездарно потеряны, и болезнь перешла в хроническую фазу.

Новое мышление потребно не только на международной арене, не только в смелых экономических преобразованиях, но и в повседневной жизни, зачастую опутанной обветшалыми догмами.

Осознавая неделимость мира, мы все увереннее говорим об экологии во всепланетном масштабе. Привилось выражение «экология культуры». По-видимому, настало время задуматься и об экологии мысли. Еще древние зороастрийцы знали неразделимую триаду: «Благая мысль, благое слово, благое дело».

В основе всего — и хорошего и плохого — всегда лежит мысль.

Хрестоматийное «В начале было слово» проистекает из тонкостей перевода, не более. «Логос» по-гречески означает не только «слово», но прежде всего — мировую закономерность, вечный мировой закон, мировой разум.

■ МЕРИДИАНЫ ФАНТАСТИКИ

Хроника событий

Сентябрь 1988 г. — сентябрь 1989 г.

С 2 по 10 сентября 1988 г. в Одессе прошел фестиваль фантастики «Большой ФАНТан», организованный творческим хозрасчетным объединением любителей фантастики «Земляне» при участии одесских КЛФ «Протей» и «Антей». Почетные гости фестиваля — писатели-фантасты С. Гансовский, С. Снегов, Б. Штерн.

12—13 ноября в Южно-Сахалинске прошла Дальневосточная зональная научно-практическая конференция «Фантастика — литература интеллектуального бесстрашия», организованная Сахалинским обкомом ВЛКСМ, Сахалинским объединением ДОК РСФСР, Сахалинской писательской организацией, объединением КЛФ «Дальневосточное кольцо». Присутствовало около 100 из сахалинских КЛФ, а также клубов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Мухена, Петропавловска-Казахстанского. Почетный гость конференции — писатель Б. Штерн.

С 21 ноября по 3 декабря в Доме творчества писателей им. Я. Райниса (Дубулты, под Ригой) прошел VII Всесоюзный семинар молодых авторов, работающих в жанрах приключений и научной фантастики. Семинар (с 1987 г. имени И. А. Ефремова) был итоговый (он существует с 1982 г.). Для участия в семинаре были приглашены лучшие «семинаристы» за шесть лет. Семинарами фантастов руководили Е. Л. Войскунский, В. Д. Михайлов, Г. М. Прашкевич, С. А. Снегов, общее руководство — заместитель председателя Совета по приключенческой и научно-фантастической литературе СП СССР Н. М. Беркова, староста В. Т. Бабенко. В работе семинара приняли участие писатели В. Бугров, М. Кривич и О. Ольгин, О. Ларионова, А. Шалимов, издательства «Детская литература», «Знание», «Мир», «Московский рабочий». Лучшими работами семинара признаны повести И. Тибилевой «Царь обезьян» и Л. и Е. Лукиных «Миссионеры», роман А. Лазарчука «Опаздавшие к лету».

С 19 по 21 мая 1989 г. в Свердловске прошел праздник фантастики «Аэлита-89». Главный приз — премия «Аэлита» — вручен С. Ф. Гансовскому за повесть «Побег». Приз имени И. А. Ефремова присужден Г. М. Гречко за работу по подготовке телесериала «Этот фантастический мир». С 1989 г. Свердловское комсомольское экспериментальное научно-производственное объединение (КЭНПО) учредило новый приз

«Старт» — за наиболее яркую первую книгу молодого фантаста. Первым лауреатом стал киевский прозаик Б. Штерн — за книгу «Чья планета?». Впервые в работе «Аэлиты» принял участие гость из социалистической страны — фантаст из Болгарии А. Карапанчев. В те же дни в Свердловске прошла учредительная конференция Всесоюзного объединения КЛФ, организованная Научно-методическим центром Министерства культуры СССР. Принят устав Всесоюзного объединения, избран совет, председателем которого стал В. Д. Михайлов.

С 18 по 21 мая в Сан-Марино прошел XIV Еврокон — ежегодный фестиваль любителей фантастики европейских стран, проведенный одновременно с XV Италконом. Присутствовали представители клубов любителей фантастики из Болгарии, Венгрии, Голландии, Китая, Польши, Португалии, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Югославии, Японии. От Советского Союза в фестивале участвовал председатель КЛФ «Ветер времени» из Волгограда Б. Завгородний. Наградами Еврокона были удостоены кинорежиссер Карен Шахназаров и издательство «Советская Россия». В те же дни в Сан-Марино проходил ежегодный конгресс Всемирной ассоциации писателей-фантастов («Уорлд СФ»), в работе которого приняли участие Джанфранко Вивиани (Италия), Гарри Гаррисон (Ирландия), Сэм Люндваль (Швеция), Брайен Олдисс (Англия), Еремей Парнов (СССР), Фредерик Пол, Роберт Силверберг, Норман Спинред (США), Ион Хобану (Румыния). Среди получивших награды «Уорлд СФ» за 1989 г. от СССР: Б. Завгородний (специальная президентская награда) и В. Гопман (приз Г. Гаррисона).

2—3 июня в Москве прошла ежегодная научно-практическая конференция по проблемам истории и теории фантастики — Ефремовские чтения. С докладами и сообщениями выступили И. Бестужев-Лада, А. Бритиков, Г. Гречко, вдова писателя Т. Ефремова, В. Захарченко, Г. Гуревич, Е. Профименко, Т. Чернышева, С. Снегов, В. Гопман, Е. Званцева, О. Ларионова, А. Мельников, Е. Гранова.

С 3 по 9 сентября в поселке Коблево (Николаевская область) прошел первый конгресс любителей фантастики социалистических стран — Соцкон-89. В его работе приняли участие представители клубов любителей фантастики из СССР, КЛФ Болгарии, ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии, писатели-фантасты и критики В. Бабенко, Н. Беркова, Э. Геворкян, В. Гопман, Г. Гуревич, В. Михайлов, Е. Парнов, А. Стругацкий, А. Балабуха, О. Ларионова, А. Шалимов, В. Головачев, Л. Панасенко, Е. Панаско, К. Симонян, И. Росоховатский, В. Савченко, Б. Штерн, Г. Прашкевич, В. Бугров, С. Другаль, С. Казанцев, М. Веллер, а также Л. Николов (Болгария) и А. Мионов

(Румыния). Присутствовали представители издательств «Молодь» (Киев), «Штиинца» (Кишинев), «Лиесма» (Рига), «Радуга» (Москва), «Мастацка литература» (Минск), Ставропольского книжного издательства, редакционно-производственного кооператива «Текст», журналов «Советская библиография», «Уральский следопыт», «Крыле» и «ФЭП» (оба Болгария), украинской газеты «Друг читача» и болгарской «Народна младеж». Среди лауреатов Соцкона от СССР В. Д. Михайлов и любительский журнал «Оверсан» (Симферополь), посвященный НФ и проблемам клубного движения.

Материал подготовили В. Бабенко и В. Гопман

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ	5
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ	
Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. <i>Гадкие лебеди</i> . .	10
Дмитрий Биленкин. <i>Уик-энд</i>	165
Кир Булычев. <i>Спасите Галю!</i>	169
ЗАРУБЕЖНАЯ ФАНТАСТИКА	
Майкл Коуни. <i>Закованный разум</i> . Перевел с английского Александр Корженевский	187
Бруно Энрикес. <i>Воскрешение</i> . Перевел с испанского .	
Владимир Чутков	208
Неархос Георгиадис. <i>Это любовь, не шутка!</i> Перевела с греческого Татьяна Рахматулина	213
Роберт Силверберг. <i>Ветер и дождь</i> . Перевел с английского Александр Корженевский	216
ПУБЛИЦИСТИКА	
Еремей Парнов. <i>Воспоминания о конце света</i>	225
МЕРИДИАНЫ ФАНТАСТИКИ	235

Научно-художественное издание

СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

Выпуск 34

Составители

Зарецкая Марина Александровна,

Чуткова Людмила Алексеевна

Главный отраслевой редактор В. П. Демьянов

Редактор В. М. Климачева

Мл. редактор М. Б. Гришина

Худож. редактор М. А. Гусева

Художник Г. Н. Бойко

Техн. редактор Н. В. Клецкая

Корректор Е. К. Шарикова

ИБ № 10763

Сдано в набор 14.02.90. Подписано к печати 31.10.90. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура журнально-рубленая. Печать высокая. Усл. печ. л. 12,60. Усл. кр.-отт. 13,02. Уч.-изд. л. 16,36. Тираж 1 000 000 экз (7 завод 750 001—900 000). Заказ 0—88. Цена 3 руб. Издательство «Знание» 101835, ГСП, Москва, Центр. проезд Серова, д. 4. Индекс заказа 907716.

Отпечатано с фотоформ Ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна» на Киевской книжной фабрике, 254054, г Киев, ул. Воровского, 24.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Среди сорока серий издательства «Знание» обращаем ваше внимание на серию «Литература». Чуть ли не каждый день мы открываем для себя новые и хорошо забытые литературные имена. Начинаем по-новому читать их произведения, оценивать их жизненную позицию, осознавать их вклад в культуру. Набоков, Ходасевич, Солженицын, Гроссман, Высоцкий, Гумилев, Шмелев...

Серия «Литература» знакомит читателей с самыми интересными, недавно появившимися в журналах произведениями прозы, поэзии, драматургии. Знакомя с сюжетами произведений, брошюры дают их критический анализ.

Эти маленькие книжки (64 стр.) говорят об истории нашей и зарубежной литературы; некоторые выпуски (а всего выходит 12 книжек в год) посвящаются писателям прошлого и литературным портретам современников.

Чтобы читатели получили представление о тематике серии, назовем некоторые брошюры, запланированные на 1991 год.

Б. В. Соколов. МИХАИЛ БУЛГАКОВ (100 лет со дня рождения).

О. Н. ПАНЧЕНКО. РОМАНС И БАЛЛАДА В ЛИРИКЕ 70—80-х ГОДОВ (портреты Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Галича и др.).

А. Н. Сенкевич. РУССКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ АВАНГАРД 50—60-х ГОДОВ XX ВЕКА.

С. В. Лайне. Н. БУХАРИН — ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК.
МАРИНА ЦВЕТАЕВА (100 лет со дня рождения).

П. С. Ульяшов. О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ (100 лет со дня рождения).

В свободную продажу брошюры не поступают. Подписаться на серию можно во всех отделениях связи. Цена на год — 3 руб. 60 коп. Индекс серии в каталоге «Союзпечати» — 70069.

3 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО • ЗНАНИЕ •

